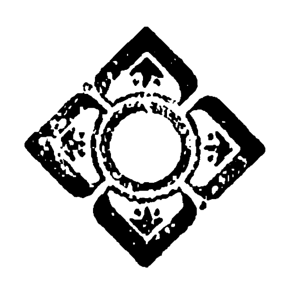
Н. Д. ТЕЛЕШОВ

РАССКАЗЫ ПОВЕСТИ ЛЕГЕНДЫ

Н. Д. ТЕЛЕШОВ

РАССКАЗЫ ПОВЕСТИ ЛЕГЕНДЫ



Художник В. И. Софронов

МОСКВА
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ
· 1983 ·

Р2
Т31

Текст печатается по изданию: Телешов Н. Д. Избранные сочинения в 3-х т. М., Гослитиздат, 1956.

Составитель и автор вступительной статьи А. Л. Трегубов

Т $\frac{4702010100-173}{М-105(03)83}$ 130—83

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Н. Д. ТЕЛЕШОВА

Свою последнюю, шестидесятую, книгу Н. Д. Телешов закончил словами: «Оглядываясь на далекое мое прошлое, на долгий пройденный путь, я вижу, как много значительного дала мне литература, с которой неразрывно связана вся моя жизнь... быть русским писателем — есть великое счастье в жизни».

Он имел право так сказать о себе. Всем своим творчеством, честным отношением к литературе и искусству Н. Д. Телешов утверждал демократические, революционные, гуманистические идеалы, верно служил Родине, своему народу. Как писатель он сформировался в эпоху 90—900-х годов, был активным участником бурной литературно-эстетической борьбы, активно участвовал в общественно-политической жизни, выступая в строю писателей-демократов во главе с М. Горьким.

Мысленно прослеживая жизненный путь Н. Д. Телешова, поражаешься тому, как много может вобрать в себя одна человеческая судьба, если человек живет активно, все свои знания и талант отдает борьбе за счастье народа.

Н. Д. Телешов начал свой творческий путь в эпоху расцвета русского критического реализма, представленного замечательными творениями А. Н. Островского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, а закончил, когда уже сформировалась советская литература, основоположником которой стал М. Горький.

Место писателя в литературе, его личный вклад в духовную культуру можно понять лишь в свете общих проблем литературно-художественного развития, отношения художника слова к общественно-политической жизни. Это значит ответить на вопросы: с кем писателю было по пути, о чем писал, для кого, а главное — во имя чего творил? Телешов писал о народе и для народа. Пристальное внимание к жизни народа, вера в его огромные потенциальные силы была характерной чертой всего творчества писателя.

Н. Д. Телешов является автором многих превосходных художественных произведений. О его рассказах и повестях тепло и проникновенно отзывались Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький, Л. Андреев, И. Бунин, А. Серафимович, А. Луначарский и др. Высоко оценивала его произведения и современная ему прогрессивная критика.

Последнее издание рассказов, повестей и легенд Телешова было осуществлено в 1956 году. Верный своему принципу — тщательно работать над словом,— он еще раз просмотрел тексты ранее написанных произведений. Это было последнее, наиболее полное прижизненное издание его сочинений в трех томах.

Николай Дмитриевич Телешов родился 10 ноября 1867 года. Умер 14 марта 1957 года. Всю свою долгую жизнь он прожил в Москве. Окончив Московскую коммерческую академию в 1884 году, юноша Телешов в том же году напечатал в московском журнале «Радуга» свое первое стихотворение «Покинутая». За ним — еще несколько, а затем в других небольших журналах стали появляться очерки и рассказы. Так рано начался творческий путь Н. Д. Телешова, продолжавшийся более семи десятилетий.

Время, когда Телешов вступил в литературу, было сложным и противоречивым. Мрачные годы, наступившие после разгрома царизмом народников, отрицательно сказались на всем общественном развитии, в том числе на литературе и искусстве. «Друзья народа» стали ренегатами, вошли в моду теория «искусство для искусства», проповедь «малых дел», безгеройности. На этой почве позже выросли декаденты всех оттенков, яростно боровшиеся с реалистической революционно-демократической литературой.

О начале своего литературного пути Телешов в «Записках писателя» говорил так: «...я был еще молод и верил только в очень высокое». В сборнике стихов поэтов-самоучек «Искреннее слово» (1886 г.) он писал:

...Я пойду за счастьем, но пойду за новым.
И знамена гордо разверну.

...В юности ль горячей, на краю ль могилы,—
Но достану счастье смелой я рукой.

Работа над сборником, вспоминал Телешов, доставила много «неведомых до того времени мук, но также и неведомых наслаждений». Однако сборник успеха не имел: продали не более двухсот из шестисот экземпляров. Остальные роздали самим авторам «на предмет уничтожения», так как в газетах всех участников «жестоко изругали».

Становлению Телешова как писателя, вхождению в большую литературу способствовало его сближение с журналом «Детское чтение», который редактировал видный русский педагог и публицист Д. И. Тихомиров.

По субботам у Тихомировых, людей «очень приветливых и доброжелательных», собирались писатели и художники, критики и актеры — люди талантливые, деятельные, ощущавшие потребность в живом общении. Телешов вспоминал об этом: «Общественная жизнь, административные сюрпризы, вопросы литературы — все здесь имело свои отклики, и так как в беседах участвовали представители лучших в то время журналов и газет, то все это было интересно и нередко значительно и ценно».

Как писатель Телешов сформировался под благотворным влиянием произведений Гоголя, Чернышевского, Некрасова, Тургенева, Короленко.

В ранних рассказах («Петух», «Мещанская драма», «Именины»,

«Счастливый день», «Дуэль», «Чужой человек» и др.) у Телешова преобладают мотивы осуждения затхлости мещанского быта, морали хапуг. Он показывает ранимость и беззащитность людей гуманных и добрых, умеющих ценить красоту жизни. Однако жизнь жестоко и беспощадно развенчивает идеалы и губит их носителей. Четко проявилась и другая тенденция его творчества — пристальное внимание к жизни простого народа. Писатель изображает и представителей интеллигенции, предавшей идеалы борьбы за светлое будущее. Герой рассказа «Перемена» свою «философию жизни» выражает так: «Что за охота мне бегать... в худых сапогах, во имя какой-то идеи?.. я хочу спокойствия и независимого положения». Эта же тема воплотилась и в рассказе «Подруга».

Герои ранних произведений Телешова еще не протестуют против угнетающей их действительности. Они осуждают ее как аморальную, недостойную человека. В рассказах много описательности, преобладает так называемый бытовизм.

Известно, что А. П. Чехов всегда был внимателен к молодым писателям. Существенную помощь оказал он и молодому Телешову. И хотя Телешов уже опубликовал ряд оригинальных произведений, Чехов в 1894 году настойчиво посоветовал ему предпринять поездку за Урал, «перешагнуть границу Европы»... «Сколько узнаете, сколько рассказов привезете! Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах, совсем как в пушкинские времена, и клопы вас будут заедать... Но это хорошо... Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, среди простого народа, а то ничего интересного не услышите».

Чехов хорошо сознавал смысл своей рекомендации: за четыре года до этой беседы он сам совершил поездку на Дальний Восток и уже выпустил предельно честную и социально насыщенную книгу «Остров Сахалин». А перед поездкой, когда издатель Суворин отговаривал Антона Павловича, Чехов ему ответил: «...Сахалин — это место невыносимых страданий... Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждений, варварски... и нужно пожалеть только, что еду туда я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе».

Показать пороки царского самодержавия, угнетение народа, его страдания на пределе человеческих возможностей сумел и Телешов, увидев «страшную жизнь наших переселенцев».

Цикл переселенческих рассказов — это вступление Телешова в большую литературу. После журнальных публикаций рассказы и повести этого цикла он издает в трех первых сборниках («На тройках», 1895 г., «Повести и рассказы», 1896 г., «За Урал», 1897 г.).

Рассказы и повести «Самоходы», «Елка Митрича», «Домой», «Хлеб-соль»», «Нужда» и другие, исполненные в добротной реалистической манере, отразили важнейший социальный момент российской действи-

тельности. В пореформенную пору «освобожденное» крестьянство все более нищало и уже не могло себя прокормить. Царские власти стали огромными массами переселять крестьянские семьи из центральных губерний на вольные сибирские земли.

Бедствие приняло столь широкий размах, а горе и страдания народа были так безмерны, что сердце каждого честного человека наполнялось жалостью к этим обездоленным людям и гневом к тем, кто все это допустил. Скученность в пересыльных бараках, болезни и эпидемии, поборы чиновников уносили тысячи жизней, доводили людей до отчаяния. Одни любой ценой (впрягаясь вместо лошадей, тащили на себе скарб — «Самоходы») шли на вольные земли, другие, изверившись, потеряв все имущество, возвращались домой («Домой»).

Телешов нашел среди этих людей разнообразие типов крестьян, которые олицетворяли русский народ, его лучшие качества: гуманность, стойкость в борьбе с нуждой и лишениями, способность к самопожертвованию. Мечта о лучшей доле дает им силы искать счастье, верить в него. Именно эти качества Телешов и запечатлел в своих произведениях. Он никогда не сбивается, несмотря на ужасающие картины жизни, на натуралистическую описательность, далек от слезливой сентиментальности. Это подлинно реалистическое, мастерское воспроизведение жестокой действительности. Тема народа по сравнению с его ранними произведениями здесь получила свое дальнейшее развитие.

Запоминается образ старика Устиныча и вся страшная человеческая «тройка» из рассказа «Самоходы» (1894 г.); своими лучшими душевными качествами раскрывается сторож переселенческого барака Митрич, решивший устроить для детей-сирот праздник — елку, «какую видывал у богатых людей» («Елка Митрича», 1897 г.); глубоко человечен образ Неизвестного, «третий раз убежавшего с каторги», который ценою своей свободы спасает от смерти больного, потерявшего родителей мальчика Семку («Домой», 1898 г.). Паромщик Еремей уже задумывается о смысле жизни, он не хочет кормиться за счет нищих переселенцев и мечтает найти такое место, чтобы собрать весь «народ православный», «всю Россию» и узнать, «куда правда девалась» («Хлеб-соль», 1900 г.). Герои рассказа «Против обычая» (1894 г.) уже способны постоять за себя, за старинный и гуманный обычай — выставлять на ночь на улицах или в заимках пищу и одежду для беглых ссыльных. Судебному заседателю Волынцеву не удалось искоренить этот акт «беззакония». Выпороли его ремнем ссыльные, а вешать не стали, хотя и полагалось за нарушение старинного обычая: боялись мести всем мужикам. Вступает в борьбу, хоть и по-своему, против тирании и юный чуваш Максимка: ценой своей жизни он решил наказать купца Курганова «сухой бедою». У темного угнетенного народа существовало поверье: если повеситься в комнате своего обидчика, тот от угрызений совести лишится покоя и счастья на всю жизнь («Сухая беда», 1897 г.).

Традиция изображать народную жизнь в русской реалистической литературе давняя. Однако Телешов нашел свои краски, и его повести и рассказы стали явлением оригинальным. Он — мастер малой формы, стиль его лаконичен, идейная направленность произведения четко определена. Ему присуща сдержанная, лиричная манера письма. И потому столь важную роль в его прозе выполняет пейзаж. Писатель любит изображать весну как пору пробуждения жизни, ее надежд. Картины природы (Сибири, Центра, Кавказа, Поволжья) даются им в мягкой лаконичной манере. Что-то чеховское усматривается в неброских пейзажных красках.

Произведения этого цикла высоко оценивались демократическим читателем, критикой и писателями. Не обходила их вниманием и свирепая царская цензура. Так, например, на рассказе «Хлеб-соль» цензор начертал: «Запрещается за коммунистические настроения». Относительно рассказа «Против обычая» цензор тоже выразил свое неудовольствие: «Рассказ этот признается совершенно неудобным и неподходящим».

Удивительной и долговечной оказалась судьба согретого теплым лиризмом рассказа «Елка Митрича», который высоко ценил М. Горький. «Нет ли у Вас еще «Елки Митрича» в отдельном издании? — писал он Телешову из Нижнего Новгорода в декабре 1900 года. — Эту вещь здесь часто читают на публичных чтениях, ребятишки ее очень любят и были бы рады получить ее в подарок». Горький устроил новогоднюю елку для одной тысячи ребят — «трущобных жителей», которым вручали эту книгу.

Рассказ «Елка Митрича» был в числе первых изданий для детей, которые предприняла молодая Советская Республика. Он длительное время входил в школьные хрестоматии, многократно издавался в сборниках и выпускался отдельно, переведен на несколько иностранных языков.

Не только в этом, но и в других рассказах, где действуют дети, Телешов показал себя большим знатоком детской психологии, умеющим проникновенно, без сентиментальности, раскрыть душу ребенка, оттенить духовную чуткость взрослых, согревающих теплом своих сердец обездоленных детей. «Отличительной чертой рассказов автора, — писал демократический журнал «Путь», — служит простота, искренность и правдивость того, о чем он рассказывает и пишет. Всюду проглядывает у него любовь и гуманные отношения... к людям... Читая... прекрасный рассказ («Елка Митрича») вы невольно испытываете чувство уважения к... одинокому старику, у которого такое большое, полное любви сердце, не истощенное ни старостью, ни нуждой».

Повесть «На тройках» (1892 г.) — первое крупное произведение писателя, положительно встреченное Горьким. В нем поставлены острые социальные проблемы русской жизни. Ярко показано хищное, разгульное купечество.

Повесть, в отличие от других произведений Телешова, имеет острую фабулу. Хорошо переданы сама атмосфера быстрой езды, смена впечатлений, прекрасны картины природы.

Будущий ураган словно выносит прожигателям жизни свой суровый приговор. «И где-то тут же открылся над ними полевой суд: миллионы писцов бойко шуршали перьями по бумаге, а гонцы разносили экстренные приказы и тащили кого-то на казнь. Глухо звучала с одной стороны победная музыка, а с другой — доносилось тихое похоронное пение»...

Впервые в этой повести, как в «Сухой беде» и в других произведениях, Телешов показал жизнь трудящихся угнетенных национальностей — чувашей, татар, евреев и др. Он отказался от экзотики и обнажил социальные корни их нелегкой жизни, столь же тяжкой, как и у русского народа. Так возникла в его творчестве тема интернационализма.

Добрые слова о повести «Сухая беда» дошли до Телешова уже в наше время. Высоко оценивая воспитательное значение этой повести, один из читателей в 1945 году написал ее автору: «Рассказ изумителен. Вы очень тонко и верно проследили душу Максимки, интуитивно проникли в святая святых темного, забитого человека. Спасибо Вам за рассказ, за то, что с вершин русской литературы очень человечно и тепло посмотрели на наш народ». Рассказ живет и ныне, когда чуваши в единой семье советских народов строят свое светлое будущее. В 1982 году на сцене республиканского Театра юного зрителя в Чебоксарах поставлена пьеса по мотивам рассказа Н. Д. Телешова. На сцене для нового поколения воссоздаются картины жизни закабаленного чувашского народа в дореволюционной России, трагические судьбы чуваша Максимки и русской девушки Фени.

В истории литературы имя Н. Д. Телешова занимает видное место еще и потому, что он явился организатором московского литературно-художественного кружка «Среда», в котором были объединены лучшие писательские силы. В создании этого объединения московских писателей была велика личная заслуга Николая Дмитриевича. Исключительная доброжелательность, личное обаяние «притягивали» к нему людей творческих, неординарных. Заседания «Среды» проходили большей частью на квартире писателя. Возник кружок в 1899 году. В том же году Телешов в Нижнем Новгороде познакомился с М. Горьким. Горький сразу же оценил этот кружок: «Как хорошо вы это устроили и живете, как надлежит писателям, по-товарищески. Чем ближе будем друг к другу, тем труднее нас обидеть. А обижать писателей теперь охотников много»... И Горький, бывая в Москве, всегда посещал телешовские «Среды».

Активными участниками «Среды» были И. А. Белоусов, братья И. А. и Ю. А. Бунины, Н. И. Тимковский, А. С. Серафимович, Скиталец,

Л. Н. Андреев, В. В. Вересаев, А. И. Куприн, С. А. Найденов, Е. Н. Чириков, Б. К. Зайцев и др. На заседаниях «Среды» бывали также А. П. Чехов, В. Г. Короленко, П. Д. Боборыкин, Н. Н. Златовратский, Ф. И. Шаляпин, В. И. Качалов, И. И. Левитан, А. Я. Головин, издатели, журналисты, врачи, адвокаты.

На «Средах» обычно читали свои неопубликованные произведения сами авторы, и затем начиналось обсуждение. В 1902 году Горький привез в Москву свою пьесу «На дне». Первое чтение происходило на «Среде». Практически почти все произведения участники кружка до опубликования читали на «Средах» и порою выслушивали нелицеприятную критику. Такова была традиция.

Вместе с тем на «Средах» всегда была обстановка доброжелательности, заинтересованного внимания к собратьям по перу. «Я попал на «Среду», — писал Серафимович, — когда возвратился из царской ссылки в Мезень. Здесь я встретил столько ласкового товарищеского внимания со стороны учредителя «Среды» Н. Д. Телешова и ее членов, что сибирский мороз стал оттаивать».

Телешовские «Среды» объединяли почти всех крупных русских писателей той поры. Различны были их таланты, стилевые и творческие манеры, мировоззренческие установки, но активное неприятие «свинцовых мерзостей» российской действительности в предреволюционные годы, когда разгорелась острая идейная борьба, сближало писателей. Сближало их и обостренное внимание к страданиям народа. «Ваши «Среды», — писал впоследствии М. Горький Телешову, — имели очень большое значение для всех нас, литераторов той эпохи».

Участников «Среды» объединяли не только чисто творческие задачи, но и активные общественные выступления. Они писали петиции, протесты, выступали выразителями общественного мнения.

Так, например, Горький в феврале 1901 года из Нижнего Новгорода обратился к Телешову с просьбой «заступиться за киевских студентов», которых царское правительство на основании «Временных правил» отдало в солдаты за участие в забастовке. Горький просил сочинить петицию об отмене этих правил. «Умоляю — хлопочите. Некоторые города — уже начали».

Вся прогрессивная Россия была возмущена этой позорной акцией царизма. В. И. Ленин в статье «Отдача в солдаты 183-х студентов» (Искра, 1901, № 2) заклеймил позором царских сатрапов и призывал молодежь ко всеобщей забастовке.

Участники «Среды», особенно в ее начальный период, не имели четко выраженной идейной и эстетической программы. Однако Горький стремился литературно-творческим диспутам придать политическую направленность, выдвигая на обсуждение злободневные вопросы. «Помню, — пишет И. А. Белоусов, — горячие беседы М. Горького, когда он рассказывал о движении среди рабочих».

Горьковская концентрация воли и энергии в борьбе с прогнившим царизмом, его страстная непримиримость к эксплуатации, унижению человека, несомненно, оказывали благотворное влияние на жизненные позиции честных писателей и, конечно, участников телешовских «Сред».

Одновременно с письмом к Телешову по поводу киевских студентов Горький обращается и к В. Я. Брюсову, упрекает его, что тот занимается лишь Ассаргадоновыми надписями, Клеопатрами и «прочими старыми вещами». А в жизни, говорит он, «отдавать студентов в солдаты — мерзость, идиотская мера обожравшихся властью прохвостов». Горький сетует на Бунина: почему «талант свой, красивый, как матовое серебро, он не отточит в нож и не ткнет им куда надо»?

Н. Д. Телешов откликался на призывы Буревестника революции и в общественном, и в творческом плане. Он участвует во многих вечерах, альманахах и сборниках, которые М. Горький затевал один за другим с благотворительными и различными культурно-просветительными целями. В 1902 году была издана «Книга рассказов и стихов», составленная из произведений участников «Среды». Горький активно содействовал ее выпуску. Вырученные от продажи сборника деньги были переданы в 1905 году бастовавшим почтово-телеграфным работникам.

Участники «Среды» гневно выступили против дикого разгула царских палачей. По поводу расправы полиции над демонстрантами в декабре 1904 года они составили протест, в котором говорится: «Группа московских писателей, выражая как свои чувства, так и чувства сознательной части общества, глубоко возмущенная этими зверствами московской администрации, высказывает насильникам свое отвращение и во всеуслышание заявляет, что эта действующая по произволу жестокая и грубая администрация лишний раз подтвердила, что существующий режим более терпим быть не может». Протест подписали Н. Телешов, Е. Чириков, Л. Андреев, Скиталец, И. Белоусов и др.

Высшим взлетом творческой и общественной активности участников «Среды» стали годы, когда Горькому удалось объединить писателей вокруг издательства «Знание».

Деятельность горьковского книгоиздательского товарищества «Знание» продолжалась с 1900 по 1912 год и явилась замечательной страницей в истории отечественной литературы начала XX века. Вокруг издательства, выпускавшего собрания сочинений писателей, серийные дешевые издания для народа, а главным образом в знаменитых сборниках «Знание» концентрировались лучшие писательские силы той поры, что было отмечено В. И. Лениным.

По инициативе М. Горького издательство выпускало «дешевую библиотеку» (вышло свыше 150 названий). Это были отдельные произведения писателей-«знаньевцев», а также (в 1905 г.) марксистские брошюры, в том числе «Манифест Коммунистической партии», «Анти-Дюринг» Энгельса, работы А. Бебеля, Р. Люксембург, Ф. Меринга и др.

15 брошюр этой серии было конфисковано, а против М. Горького и издателя К. Пятницкого возбуждено судебное преследование.

Именно в 1905 году В. И. Ленин, опираясь на фундаментальные положения марксистской теории о революционном преобразовании общества, а также обобщая богатый опыт партийной печати, современного ему литературного процесса, сформулировал основополагающий принцип развития нового искусства — принцип партийности литературы.

В. И. Ленин в качестве определяющих мировоззренческих принципов новой литературы и нового типа писателя рядом поставил «идею социализма» и «сочувствие трудящимся».

Идея социализма глубоко и всеобъемлюще оплодотворила творчество М. Горького, и потому он стал основоположником новой социалистической литературы. Сочувствие трудящимся было характерной мировоззренческой и литературно-эстетической особенностью писателей-демократов, активно содействовавших приближению буржуазно-демократической революции, в недрах которой уже зарождалась революция пролетарская во главе с рабочим классом.

Писателем-демократом в самом полном и глубоком значении этого понятия был и Н. Д. Телешов.

Издательство «Знание» в короткий срок выпустило отдельными томами произведения почти всех участников «Среды». Сборником Н. Д. Телешова, его составлением, занимался сам Горький в сентябре 1902 года. А в феврале следующего года книга вышла в свет, и Горький пожелал ей солидного успеха, «работать на пользу родной стороны и нового ее читателя».

В это же время, то есть в марте 1903 года, Горький писал Телешову о составе первого «Сборника товарищества «Знание». В сборнике, увидевшем свет в 1904 году, были напечатаны: Л. Андреев. «Жизнь Василия Фивейского», И. Бунин. «Чернозем» и стихи, В. Вересаев. «Перед завесой», Н. Гарин-Михайловский. «Деревенская драма», М. Горький. «Человек», С. Гусев-Оренбургский. «В приходе», А. Серафимович. «В пути», Н. Телешов. «Между двух берегов».

Выход сборника явился событием в литературно-художественной и политической жизни России. Всего же с 1903 по 1913 год вышло 40 сборников, в которых публиковались все участники телешовских «Сред», а также и другие художники слова, демократы и гуманисты.

О сборниках заговорила вся читающая Россия. А с другой стороны, обострились идейные атаки антинародной декадентской критики.

Искреннее, глубокое, деятельное сочувствие рабскому положению трудящихся сплотило вокруг Горького всех тогдашних писателей-реалистов. В их число входил и глубоко гуманный, чутко воспринимавший страдания народа Н. Д. Телешов.

Взгляды Телешова на роль литературы в обществе приобрели более четкую политическую направленность. В его произведениях усиливается

социальный протест. Телешов уже прямо и открыто говорит о необходимости народной борьбы против самодержавия.

Стали более разнообразными жанровые и стилевые особенности его произведений. Он написал легенду «О трех юношах» (1901 г.), где отчетливо прослеживается влияние горьковских ярких и смелых легенд. Трое юношей Селим, Шахан и Алибек предпочли погибнуть, но спасти свой народ, погибнуть во имя счастья, добра и красоты. Они верили, что народ восстанет против античеловеческой тирании аллаха. Несмотря на условность этой легенды, ее основная направленность — вселить надежду на скорое избавление от гнета и произвола, царящих в жизни.

Жизнь вечна, утверждает автор, и ее символом является восходящее солнце. Чехов назвал эту легенду «прелестной вещью». Горький тоже высоко ценил легенду и включил ее во второй том избранных сочинений Телешова, изданный «Знанием» в 1908 году.

Тема революционного обновления жизни, великой миссии русского народа, исключительно талантливого и самобытного, его пробуждения раскрыта Телешовым в ряде рассказов («Между двух берегов» — 1903 г., «Черной ночью» — 1904 г.). Оба рассказа высоко оценивал М. Горький.

В рассказе «Между двух берегов» писатель вкладывает в уста норвежца, хорошо познавшего Россию, проникновенные, искренние слова: «Какие громадные возможности у вас впереди! Сколько у вас всюду и всяких самородков: то глыба магнита, то медь, то самородок золота чуть не в обхват, а то самородки-люди, один другого интереснее, один другого значительней — мечтатели, мыслители, поэты, изобретатели, и все это, все они от земли, от корней самого народа!.. Да, страна ваша покажет в будущем всем небывалый пример!» А ссыльный Щеголихин недвусмысленно замечает: «Нам только толчок нужен!.. Знаете, как на бильярде: кием по шару,— крепкий удар: трах! — и дело сделано». «Проснитесь же, русские люди!» — так призывно заканчивается этот рассказ.

Тема пробуждения народа оригинально решена в рассказе «Черной ночью».

Олицетворением мрачной российской действительности является дремучее захолустье, где люди были степенные, «знали толк в дьяконах, колоколах и облачениях, ели по средам и пятницам капусту... жили лет по девяносто». Жизнь казалась незыблемой, извечно установленной. Только Вася — человек тихий, «не то дурачок, не то простачок» — не мог согласиться с тем, что вся жизнь проходила так, «без последствий». Он никогда «не видывал в людях порыва, страсти, ужаса или радости». И колокола тоже звонили «бесстрастно».

Однажды осуществилась его мечта: темной ночью поджег он пустовавший дом и ударил в набат... И увидел он, как люди пробудились

и бросились тушить пожар. Горели дома, сгорела и колокольня. Вася погиб, но пробудил всех людей к активным действиям.

Этот рассказ Телешова А. В. Луначарский назвал «умной вещью».

События революции 1905—1907 годов Н. Д. Телешов непосредственно отразил в рассказе «Петля» (1905 г.) и повести «Крамола» (1906 г.)

В рассказе «Петля» даже околоточный надзиратель, тридцать восемь лет верно служивший отечеству и престолу, под впечатлением революционных выступлений «задумался» и решил искупить свою вину перед родиной. Прямо в полицейском участке он повесился перед картой России, оставив записку: «Да здравствует свобода, господин пристав».

М. Горький, внимательно следивший за творчеством Телешова, писал: «Вот так ловко! У вас полицейский, и тот не вынес: повесился от существующего режима... подразнить таким примером кого следует — очень, пожалуй, полезно. Эта ненадежность оплота кое для кого заноза теперь подходящая».

Телешов рассказал Горькому о другом замысле — написать про черную сотню и вывести попа, который громит эту черную сотню и уходит в крамолу. Горький поддержал это намерение. Так была написана повесть «Крамола».

Теперь герои Телешова — социально активные личности, они выступают за освобождение отдельного человека не только с гуманистических позиций, а борются за свободу угнетенного народа, против самодержавия. В творчестве писателя усиливается публицистическое начало, характерное для всех «знаньевцев».

Вот, например, как начинается рассказ «Петля»: «Все мрачное и тяжкое, что нависло тучами над страной в течение долгих лет, еще более сгустилось и придавило жизнь; дышать становилось нечем. Одни сознавали все это, другие еще не сознавали, но и они начинали чувствовать, что в жизни что-то неладно, что жить так, как теперь живут, долго нельзя... Петля затягивалась все туже».

Первая русская буржуазно-демократическая революция потерпела поражение. Реакционеры и ренегаты ополчились с новой силой на передовую революционную и демократическую литературу. В этих условиях ряд участников «Среды» и «знаньевцев» не удержался на прежних активных жизненных позициях. Горький, находясь за рубежом, сурово осуждал своих бывших соратников, когда их лира издавала «неверный звук». Прекратился выпуск сборников «Знание». Наступило смутное время в литературе и искусстве. Такой чуткий художник слова, как И. А. Бунин, писал об этом времени: «...мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию — называвшуюся разрешением «проблемы пола», и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то «мистический анархизм», и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и до-

шло до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь?»

Н. Д. Телешов остался на прежних реалистических и демократических позициях. Он осуждает ренегатство (сказка «Цветок папоротника»), утверждает право человека на счастье, на жизнь, где есть взаимопонимание и родство душ, где искусство облагораживает людей и делает их чище и богаче («Верный друг»), отстаивает моральную чистоту, мудрость народа, его великое предназначение — творить жизнь, достойную свободного человека, а не раба («Косцы», «Верный друг», «Иная душа» и др.). В ряде рассказов звучит тема родины; ее прекрасные пейзажи как бы подчеркивают несовместимость родной природы с тусклым обывательским миром («Золотая осень», «Весна-красна», «Мама»).

Отчетливо прослеживается в творчестве Н. Д. Телешова своеобразная богоборческая тенденция, начавшаяся еще в легенде «О трех юношах», затем продолженная в «Цветке папоротника», рассказах «Ночлег», «Катя-вожак» и др. Он подчеркивает пагубное влияние церкви на человеческую жизнь. Божество в этих произведениях олицетворяет собой тиранию, злое начало.

В отдельных рассказах писателя все же проскальзывали мотивы уныния, пессимизма («Уха», «Первый шаг», «Тени»). Случались и творческие паузы. В письме И. Бунину в 1911 году Телешов сообщал: «Потому я не пишу вообще... что нечего мне стало сказать. Ничего интересного не стало. Все как будто осталось позади меня, позади моего взгляда, и гляжу я теперь куда-то в пустыню, или в черную ночь».

Однако не эти паузы и нотки уныния были определяющими в мировосприятии писателя. Это, скорее, являлось следствием удушающей атмосферы, господствующей реакции.

Кроме того, и «Среда», которой так много душевных сил отдал Телешов, с 1909 года стала иной: более многолюдной, пестрой. И собиралась она теперь не на квартире Телешова.

Телешов явился одним из организаторов в 1912 году «Книгоиздательства писателей» в Москве, выпускавшего сборники «Слово» взамен прекратившихся сборников «Знание». Но в условиях идейных шатаний и разброда вести эти дела было очень трудно.

Затевая то или иное издание, Телешов всегда обращался с просьбой к М. Горькому участвовать в нем. Горький же всегда отстаивал чистоту идейных принципов. Так, например, он отказался участвовать в сборнике «Друкарь» (1909 г.), доход от которого намечалось направить на постройку инвалидного дома для работников печати. Горький отвечал Телешову с Капри, что цель сборника хорошая. «Но идти к этой цели купно с людьми, которых не уважаю, которые мне кажутся авантюристами,— не мог бы».

«Мне было приятно узнать,— говорит Горький,— как Вы относитесь к современной литературной разрухе, и — горестно, что Вы низко оце-

ниваете себя... Эх, Н. Д.,— надобно работать, надо любить! И для того, и для другого есть у Вас средства, в душе есть силы — что же Вы?» Так Горький старался поддержать добрым словом и советом своих соратников по борьбе.

В годы начавшейся империалистической войны Телешов издавал с благотворительными целями сборники «в пользу раненых воинов», выступал против бессмысленного и жестокого кровопролития. На антивоенную тему им написан ряд рассказов («Мина», «Во тьме», «Дни за днями» и др.).

После Великой Октябрьской социалистической революции писатель включился в строительство новой культуры. Он работал в Наркомпросе, с 1923 года до конца своей жизни был организатором и бессменным директором Музея Московского Художественного театра, театра, который зарождался на его глазах. С 1925 года Николай Дмитриевич являлся председателем «Общества Чехова и его эпохи», немало содействовал изучению и пропаганде его творчества.

В творческом плане писатель снова обращается ко времени революции 1905—1907 годов и пишет большую повесть «Начало конца» (1933 г.), как бы заново раскрывая для нового читателя революционное пробуждение человека, вызревание его классового самосознания. А еще раньше — в 1921 году — им написана повесть «Тень счастья», идеи и образы которой сходны со многими ранними произведениями.

Современный читатель хорошо знает и высоко ценит ставшую популярной книгу Телешова «Записки писателя». Это уникальные мемуары, в которых отражен огромный исторический период: юноша Телешов в 1880 году присутствовал на открытии памятника Пушкину в Москве, а заканчивается книга событием 1955 года — литературная общественность отмечала 85-летие со дня рождения И. А. Бунина.

Особенность «Записок писателя» в том, что эта книга является своеобразной художественной летописью литературно-общественной жизни Москвы. Телешов пишет только о тех фактах и событиях, свидетелем и активным участником которых он был сам, рассказывает о людях, с которыми лично общался. Это — писатели, актеры, издатели, художники, ученые, общественные деятели. Более 320 имен в этих мемуарах, большинство упомянутых там людей — слава и гордость не только отечественной, но и мировой культуры.

Отдельные очерки Телешов посвящает М. Горькому, А. П. Чехову, Л. Н. Андрееву, много говорит о Льве Толстом. Тепло и проникновенно вспоминает о соратниках по литературной борьбе — И. и Ю. Буниных, А. Серафимовиче, Скитальце, А. Куприне, В. Вересаеве, Д. Мамине-Сибиряке, о литературных спорах и течениях в искусстве, о зарождении и становлении Московского Художественного театра, о быте и нравах старой Москвы. Но при всем том на каждой странице книги ощущаешь удивительную скромность ее автора. О себе Телешов говорит очень ску-

по. Такова эта книга, над которой писатель работал более тридцати лет, до последних дней.

Уместно заметить, что именно М. Горький, прочитав в журнале «Красная новь» первые наброски, поддержал Телешова в его намерении создать книгу мемуаров. И Телешов упорно трудился, публикуя отдельные очерки. Вульгарно-социологическая критика встретила мемуарные материалы Телешова неодобрительно. Так, газета «Вечерняя Москва» опубликовала в 1931 году статью «Белоэмигрантская контрабанда под флагом литературных воспоминаний». К чести писателя, его не сломили недружелюбные выпады, и он продолжал работать.

Теперь эта книга в нашем строю. Она вошла в золотой фонд советской литературы.

Заслуги Н. Д. Телешова были высоко отмечены Родиной. В 1938 году ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета».

В 1950 году на вечере в честь дня рождения Н. Д. Телешова было прочитано приветственное письмо Союза писателей СССР, в котором отмечалось: «Ваше имя было тесно связано с передовыми кругами русских писателей, продолжателей славных традиций демократических сил нашей литературы, представителей критического реализма, высоко несших знамя борьбы за близкую и понятную народу литературу, проникнутую идеями демократизма и свободолюбия. В тяжелые годы реакции, после 1905 года, когда нашу литературу окутали гнилые туманы мистицизма и символизма, Вы оставались верным этим прекрасным традициям... Основанный Вами в конце прошлого века кружок «Среда» стал объединяющим центром здоровых сил нашей литературы... «Среды» навсегда останутся в истории литературы как очаг передовой литературной мысли своего времени...»

В канун нового, 1955 года Н. Д. Телешов выступил по радио, адресуясь к юности, словно вручая ей эстафету: «Мне, старому русскому писателю, радостно видеть, как небывало расцвело искусство нашей Родины... С большой радостью приветствую я рост нашей талантливой творческой молодежи... приветствую миллионы милых, юных читателей... чудесных новаторов — строителей новой, радостной, невиданной жизни... Большие победы даются только большим трудом».

Эти проникновенные слова выразили счастье человека, которому довелось увидеть воплощенные идеалы, за которые он боролся как писатель всю свою жизнь.

И пусть этот сборник рассказов, повестей и легенд, в которых отразились характерные особенности нескольких исторических эпох, будет данью памяти известному советскому писателю, активному строителю нашей культуры — Николаю Дмитриевичу Телешову.

А. Л. Трегубов

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТИ

ПЕТУХ

Захар Фомич лежал на постели в теплом халате и туфлях и, закинув за голову руки, глядел в потолок.

— Матреша! — сказал он старческим разбитым голосом.— Что-то на дворе Дружок лает: верно, стучится кто в калитку. Я давно слушаю. Лает.

— Сдурился и лает,— просто ответила Матрена, появляясь в дверях.— Кого теперь нелегкая принесет!

— Пошла бы взглянула: у нас ведь колокольчик оборван.

— Добрый человек в такую пору не пойдет.

Однако она накрылась платком и вышла. Захар Фомич тоже поднялся. Надел сапоги, поглядел на себя в зеркало, увидел в нем круглое бритое лицо с морщинами и складками, с седыми волосами, зачесанными по-старинному на висках к бровям, и только успел подумать: «Лет десяток авось еще протяну», как в прихожей заскрипела дверь и басистый голос ласково спросил:

— Могу ли на минуточку побеспокоить?

Гостям всегда бывал рад Захар Фомич, а потому приветливо ответил, идя навстречу:

— Милости просим. Добро пожаловать.

В комнату вошел очень высокого роста, сухопарый и сутулившийся человек, с огромными веселыми глазами и седыми усами, висевшими книзу, как у Шевченко. Скинув только калоши и не снимая пальто, он густым басом заявил:

— А я собственно за вами, Захар Фомич.

— Входите, садитесь, чайку сейчас попьем,— приветствовал его хозяин.

— Про охоту вашу хочу спросить: голуби ваши как поживают? Турманы ваши как кувыркаются? Козырные как погуливают?

— Все по-хорошему, благодарю вас. Молодежь вывелась — отличные голубочки, сердце радуется!

— Курочки как поживают?.. Помнится, петух у вас был великолепный... Знатный петух!

— И петух живет,— с удовольствием улыбнулся Захар Фомич.— Неужели петуха моего помните?.. Да войдите же, пожалуйста. Садитесь.

— Таких петухов как не запомнить,— пробасил Травников, садясь и распахивая на груди пальто.— На бои-то ходите?

— На какие бои?

— На петушьи бои. Неподалеку от вас, почти по соседству. А я как раз туда пробираюсь. Любопытно. Дай, думаю, зайду к Захару Фомичу по дороге, может быть вместе отправимся. Дело любительское. Неужели никогда не бывали? А я постоянно хожу. Денег наиграл там цельную кучу.

— Что ж там? — полюбопытствовал Захар Фомич и хоть слыхал, что в этих боях происходит какая-то травля, какое-то зверство, но не очень доверял слухам и рассуждал — что дерутся же петухи на дворе, что ж особенного, если на них играть вздумали?

— Как вам сказать,— задумался Травников.— Так не расскажешь. Ставят на пари: чей возьмет верх, тому и выигрыш,— вот и все. А любопытно. Пройдемтесь-ка, Захар Фомич: поглядели бы, обо всех любителях услыхали бы, у кого петухи знаменитые... Я себе там зашиб денежку.

— Ну, какую там денежку.

— Честное слово! В прошлую зиму каждый раз выигрывал. Пойдемте, Захар Фомич, одевайтесь-ка! — неожиданно предложил Травников, взглядывая на часы.— Как раз к началу попадем.

Захар Фомич нахмурился.

— Это рядом почти. На полчасика. Посидим, чайку попьем...

— Нет,— ответил старик.— Там, говорят, сидеть тошно. А я ведь, знаете, всякое создание люблю, птицу люблю. Как я там буду? Как буду глядеть?

— Вот какой вздор! Кто сказал — сидеть тошно? Ничего не тошно, а даже весело и все равно как в цирке: такой же круг на полу, а вокруг него барьер, а за барьером скамейки — колесом в два яруса. Интересная, заманчивая штука. Всегда спасибо говорить будете.

— На полчасика, говорите?

— Самое большее. Одевайтесь-ка, не теряйте золотого времени.

Вздыхая и сомневаясь, Захар Фомич все-таки оделся, сказав Матрене, что скоро вернется, положил в карман кошелек — на всякий случай, и вышел с Травниковым на улицу. Идти было действительно недалеко, и вскоре они остановились у дверей трактира.

— Пожалуйте, Захар Фомич!

Они прошли грязной и дымной комнатой, наполненной людьми, потом свернули налево, где было просторнее и светлее, и сели за столик.

— Здесь почище,— сказал Травников,— эта зала для уважаемых.

В «уважаемой» — так называлась эта комната — сидела уже большая компания за общим столом. Дико здесь казалось Захару Фомичу, но он скоро освоился и начал вглядываться в людей и прислушиваться к беседе. Травников объяснял ему:

— Длинноволосый — это фельдшер. Пустой человек, больше пьет на чужие... А рядом — бритый — это кондитер, огромные дела делает. Петух у него был,— вот, я вам скажу,— петух! Непобедимый! Наполеоном звали... сколько призов взял. Теперь околел.

Вокруг беседа между тем позатихла. Но почти сейчас же явился откуда-то трактирщик, низкорослый, юркий и не столько толстый, сколько крепкий, налитый здоровьем человек, с бегающими глазами, с глянцевитой лысинкой и небольшой, выстриженной вроде пряника, бородкой. Войдя, он остановился почти на пороге. Улыбаясь, подпирая руками бока и растопырив ноги, он развязно обратился к окружающим, уверенный в силе своего слова:

— Что ж, господа хорошие, разговариваете мало и тихо? Скучно так сидеть. Беседа веселит соседа!

Улыбка его стала еще шире и благосклонней, красноватые пухлые щеки упруго надулись, как резиновое литье, и из-за тонких губ показались белые частые зубы. Поиграв серебряной цепочкой, окружавшей его воловью шею, спускавшейся по всей груди до половины живота, он оправил конец розовой рубахи, которая виднелась под широким пиджаком, закрытая до горла высоким жилетом, и подсел к столу.

— Петушок ваш как здравствует? — обратился он к фельдшеру.

— Ничего, поправляется. Уж очень его потрепали жестоко; насилу залечил,— ответил фельдшер,— хорошо, что сам в лекарствах толк понимаю, а то бы не жить! — и сейчас же заспорил с кем-то о своем петухе.

Разговор оживился, и довольный трактирщик, громко засмеявшись на какую-то глупость, быстро исчез.

— Однако уж десять часов,— проговорил тощий рыжеволосый человек, похожий на лисицу, доставая часы.

— Ваши неверны,— возразил фельдшер.— У меня без четверти. Мои по университетским, самые правильные.

— Почтамтские вернее,— заметил ко́ндитер.

— Ну, нет-с, извините! — авторитетно заявил фельдшер, с важностью ученого запрокидывая голову и выставляя словно напоказ свой маленький круглый и розовый носик.— Почтамтские совсем иное дело. В университете ученый народ заведует этим,— понимаете? Астрономы заводят часы: астрономы! А в почтамте кто?.. Просто чиновник.

— Да и тот небось пьяный! — острит кто-то и одиноко хохочет над своей остротой.

— Почему это непременно — пьяный? — задорно вопрошает его рыжий человек.

— Это я так-с... для смеху единственно.

— То-то, для смеху! Надо понимать, о чем говоришь.

Трактирщик заглянул снова, но, довольный шумом, исчез незаметно.

— Что ж, господа,— заговорил кондитер после небольшого молчания.— Начинать — так начинать, а не то по домам пора.

Он взглянул на Травникова и моргнул ему глазом.

— С кем на четвертную?

Травников встал и подошел к компании.

— На четвертную не стоит,— сказал он,— слишком мало.

Все обернулись.

— На сколько же?

— По крайней мере на полсотни. Мой петух дороже стоит.

— Надо петуха видеть,— сказал кондитер.

— Я привезу сейчас.

— Везите. Мой уж здесь. Везите. Посмотрим. Может быть, соглашусь.

Травников шепнул Захару Фомичу, что вернется минут через двадцать, надел шапку и вышел.

— Не господина ли Плуговицина имею честь видеть? — обратился к Захару Фомичу один из компании, одетый в кожаную куртку.— Я сосед ваш, Зазубрин; домов через пять от вас, в переулке, живу. Подсаживайтесь, Захар Фомич, веселее вместе. Ваших голубков знаю. Великолепные голуби! Турман у вас — вот кувыркается лихо. Давно знаю, что вы любитель. Рад познакомиться. Сам люблю всякую охоту. Слыхал тоже, петух у вас есть знаменитый.

— Простой петух,— скромно ответил Захар Фомич, чувствуя неловкость в незнакомом обществе.

— Как простой? Помилуйте. Все говорят, диковинный петух. Редкость! золото! Теперь, говорят, таких петухов и не встретишь.

Захару Фомичу приятно было услышать лестную похвалу. Он встал и подошел к Зазубрину пожать ему руку. Отвечая любезностью на любезность, тот усадил его за общий стол.

— Водочки не угодно ли? — предложил Зазубрин, наливая рюмку.

— Нет, благодарствуйте.

— Выпейте для первого знакомства. Вы ведь кушаете? Ну, так чокнемся за ваше здоровье.

Захар Фомич выпил.

— А не позволите ли нам взглянуть на вашего петушка? — спросил фельдшер, запрокидывая голову.— Здесь все любители да ценители. Приятно посмотреть хорошую птицу.

— Одолжили бы, Захар Фомич, очень одолжили бы,— вторил фельдшеру Зазубрин.— Говорили нам много, интересно самим взглянуть.

— Простой петух, господа,— снова заскромничал Захар Фомич, а самому было приятно, что все про его петуха знают.— Прошу ко мне, коль интересно; там мы и голубей

посмотрим,— сказал он, обращаясь к одному Зазубрину, как к названному соседу.

— Благодарю вас,— поклонился Зазубрин.— Приду с радостью. Да вот и им всем посмотреть хотелось бы. Нельзя ли его сюда принести?

Захар Фомич в нерешительности замолчал.

— Хозяин! — крикнул сейчас же фельдшер.— Павел Спиридоныч! Пожалуйте на минутку.

Вошел трактирщик. Растопырив ноги и весело подбоченясь, он ожидал чьих-то распоряжений.

— Здесь Филимон? Вот господин желает за петухом послать,— предложил фельдшер.

— Это можно-с! — ответил хозяин, потирая руки.— Это сейчас... Филимон!

— Нет, нет, нет! — засуетился Захар Фомич.— Нет, этого нельзя. Я уж лучше сам его сюда принесу...

— Все одно: можно послать,— проговорил трактирщик,— только записочку к домашним.

— Нет, я сам принесу, сам принесу!

Захару Фомичу подали пальто и просили не обманывать, чтоб им не напрасно дожидаться. Когда он вышел на улицу, ему вспомнился Травников. Где он? куда девался? С ним было как-то удобнее, все-таки свой человек.

— Что это по ночам-то стали гулять? — сердито встретила Матрена Захара Фомича.— Спать пора!

— Это... Матреша... гм! Дай-ка мне фонарь... Зажги, я пойду тут... петуха погляжу.

— Какого еще петуха? Зачем понадобился? Идите, что ли, в горницу, а то надует, после кашлять будете. Идите, идите спать. Нечего!

В трактире между тем стоял шум. В первой комнате повздорили двое гостей и кричали один на другого; где-то весело спорили и смеялись; где-то нетерпеливо стучали стаканом...

Озираясь вокруг, Захар Фомич торопливо прошел этой комнатой, неся петуха под полою.

В «уважаемой» уже никого прежних не было; только толстый краснощекий гость сидел одиноко за бутылкой пива и курил сигару.

— Туда пожалуйте,— многозначительно кивнул трактирщик, явившийся к Захару Фомичу.— Пожалуйте, провожу.

Они прошли через кухню и вышли на двор.

— Пожалуйте-с! — предложил трактирщик, отворив дверь небольшого дощатого балагана, освещенного яркой висячей лампой.

— А, принесли! Вот спасибо, Захар Фомич,— послышался голос Зазубрина.— Позвольте-ка полюбопытствовать.

Петух стал переходить из рук в руки. Нюхали его гребень, пробовали его зоб и ноги, делали различные замечания.

— Великолепный петух! — решил Зазубрин.

— Зоб-то хлебный,— не сухой зоб! — слышались голоса.— Хороший петух. Хороший, рослый! А клюв-то какой: орел настоящий!

— Садитесь, господа хорошие, что же так-то стоять! — предложил трактирщик.— В ногах правды нет: стоять — зря силу терять, а посидеть — отдохновение иметь!

Захара Фомича усадили на деревянную скамью, и все разместились, продолжая говорить и расхваливать петуха. Они сидели вокруг трехаршинной круглой арены, огороженной невысоким барьером.

«И правда, точно в цирке»,— весело вспомнилось Захару Фомичу.

Вокруг арены высились в два ряда деревянные скамейки, на которых и сидели гости. Травникова еще не было.

Захар Фомич пустил на арену своего петуха под общие похвалы и восторг.

— Этому петуху нет соперника! — воскликнул фельдшер.— Что рост, что клюв — удивительное дело!

— А каковы у него шпоры!

— И красивый какой! — добавил хозяин.— Перо хорошее, и ноги здоровые. Петушок, можно сказать, аглицкий. Заморского фасона важная персона!

Захар Фомич умилялся все более: как же так — до сих пор он никого не знал, а о нем, оказывается, все слышали и даже знают, что у него петух замечательный.

Петух одиноко и важно расхаживал по арене, повертывая вправо и влево голову, точно тянулся спросонья, и, очевидно, недоумевал, куда занесла его судьба. Он глядел и не думал, конечно, что значат эти кровяные брызги, запекшиеся на холсте барьера, что значат черные пятна на сером войлоке, по которому он так величественно ступал.

— А мой вот какой будет! — сказал кондитер, появляясь с черным петухом в руках.

— О, славный какой! — восторгался фельдшер, исподтишка толкая Захара Фомича.— Славный, славный! — А когда заговорили другие, он шепнул ему: — Дрянь петух против вашего!

Зазубрин тоже хвалил черного и тоже сказал на ухо Захару Фомичу:

— В суп его пора, а не в бой.

— Мой петух ничего себе, да вот беда: не пробован! Кто его знает, вдруг побежит? — неуверенно сказал кондитер.

— За хохол тогда! — пошутил кто-то.— Не бегай! Не вводи в убыток хозяина.

— Только попробовать хочется. Я бы уж, так и быть, поставил бы десятку. Только не с вашим, Захар Фомич. Мой вашему не ровня.

— Я ведь показать только принес,— ответил Захар Фомич.— Я драться не пущу.

— С вашим и я не стану. Разве возможно!

— Бейтесь, Захар Фомич, бейтесь! — зашептал опять фельдшер.— Бейтесь на всю четвертную. Что вам? Двадцать пять рублей положите в карман, вот и все. Только и дела!

Зазубрин с другой стороны толкал Захара Фомича, советуя спорить.

— Ваш забьет! Честное слово! По всему видно. Я за вашего держу! — сказал он громко, на весь сарай, и в голосе его был вызов.— Вот пять целковых за «Солового» петуха! Кто против меня за «Черного»?

— Я за «Черного»! — отозвался рыжий человек, и в его тоне также был задор.— Деньги за-руки,— отдавайте хозяину.

— При чем тут наличные? — возразил фельдшер.— Я думаю, можно и после рассчитаться.

— Никак нет-с! — деловито заметил на это трактирщик.— Кредит отношениям вредит. Деньги за-руки!

— Верно, Павел Спиридоныч! Забирай деньги! — нетерпеливо крикнул Зазубрин, махая в воздухе пятеркой.— За «Солового» по пяти рублей,— ай да тотализатор. Я за «Солового» держу!

Трактирщик весело и проворно собрал деньги и спросил, воровато поглядывая бегающими глазами и загибая рукой ухо, чтоб лучше слышать:

— А по сколько за петухов-то?

— По двадцать пять! — объявил фельдшер.

— По четвертной! — подтвердил Зазубрин.

— Дело хорошее-с! Четвертушка — не игрушка!

Захар Фомич удивленно огляделся и взял петуха на руки.

Боясь, что противник уйдет, кондитер притворно вздохнул и проговорил, махнувши рукою:

— Ну, будь что будет! Двадцать пять так двадцать пять! Черт возьми, пропадай мои денежки!.. Получи, Павел Спиридонович,— обратился он к хозяину, отсчитывая деньги.— Эх, петух-то неопытен... Ну, да ладно, где наша не пропадала!..

— Дозвольте получить-с? — протянул хозяин руку к Захару Фомичу.— По четвертной, стало быть, выходит?

Захар Фомич не отвечал. Он глядел во все глаза на трактирщика, будто не понимая, чего от него хотят.

Зазубрин опять толкнул его ногою и шепнул:

— Ставьте же, ставьте! Чего боитесь?

Фельдшер тоже нашептывал:

— Таких петухов во всей Москве не найдешь. Тот курица против вашего!

Захар Фомич не знал, что ему делать. Он уже колебался. С одной стороны — было жаль петуха, с другой стороны — интересно. Давно уже не испытывал он такого волнения, какое охватило его теперь. Он поднял глаза на Зазубрина, ища в нем поддержки. Тот уверенно тряхнул в ответ головою, как бы говоря: ставьте, ставьте!

— А это чем же должно кончиться? — спросил Захар Фомич, начиная чувствовать в себе дрожь.

— Который побежит, тот и проиграл.

— А не то, чтобы до смерти биться?

— Зачем до смерти! Бывают такие, что и до смерти не побегут, только это редко случается. Да «Черный» через десять минут лыжи навострит — по всему видно!

— Ну, коли не до смерти...— Захар Фомич опять задумался.— Ну, получите деньги! — проговорил он, пересиливая себя и чувствуя, как трясутся руки, усиливается волнение и занимается дух от ожидания.

Кондитер перегнулся через барьер и поставил черного петуха на арену, придерживая его пока за спину.

Захар Фомич тоже перегнулся и тоже держал за спину своего «Солового», в ожидании сигнала. Петухи уже глядели друг на друга враждебно и тихо ворчали.

— Ну, пускайте! — скомандовал фельдшер.

Петухи остались одни.

Участники и зрители насторожились, все замолчали и стали напряженно следить — что будет. Сделалось совершенно тихо, как в пустой комнате.

«Черный», с подстриженным хвостом, весь напряженный и стройный, нагнул голову, точно готовясь к налету, и, слегка оттопырив крылья и не спуская глаз с противника, стоял в выжидательной позе.

«Соловой», тоже нагнув голову, сердито глядел на него и вдруг, неожиданно прыгнув, ударил крылом по голове и сильно толкнул ногами по зобу.

«Черный» взлетел в свою очередь и так же ударил противника.

Борьба медленно разгоралась.

Петухи то кружились на месте, долбя друг друга в головы, то стояли неподвижно, опустив клювы почти до земли, то взлетали одновременно и тяжело сшибались в воздухе. Пух летел от них, садясь на картузы и одежду.

— Так! так, «Соловой»! — весело подговаривал Зазубрин.— В голову его! Ну... э... э... так! так!

Фельдшер, облокотясь на барьер, следил за «Черным» и тихо бормотал:

— Верный петух; верный!

Петухи продолжали сшибаться.

«Соловой» кружился уже не так уверенно, не с прежней легкостью и не всегда удачно отражал удары, подставляя часто голову, на которой уже сочилась кровь. «Черный» был много бодрее, чаще и чаще взлетал, поражая соперника.

— Ишь ты, боец какой! — воскликнул трактирщик.— Даром что худерьба!

«Черный» опять взлетел и ударил с такою силой, что «Соловой» не удержался на ногах. Это вызвало общий восторг. Но «Соловой» быстро поднялся, вывернулся из-под удара и в свою очередь насел на врага и яростно долбанул его несколько раз в голову так, что Зазубрин крикнул в восторге:

— Ай да петух!

Захар Фомич сидел неподвижно, дрожа внутренно и еле переводя дыхание.

— Молодец, «Соловой»! — поощрял Зазубрин.— Слева его бери! Слева... слева!

— Не учи: учить уговора не было! — засмеялся кто-то.

Зазубрин, встретясь глазами с фельдшером, улыбнул-

ся углом губ в ответ на его подмигивание, обращенное в сторону Захара Фомича.

— О! Ловко! — воскликнули сразу два голоса, а затем заговорили и зашептали все:

— На шпору надел!

— Смял!

— Пропал «Соловой»!..

Но «Соловой» еще не пропал. Оба борца были измучены и, разинув клювы, кружились друг за другом, шумно и хрипло дыша. Кружась, они отдыхали, но в то же время следили один за другим и за самим собою, готовясь или напасть внезапно, или отразить удар,—пока же бессмысленно и беспорядочно долбили друг друга в головы. На войлоке краснели свежие кровяные следы, валялись обломанные перья, которые шевелились при всяком повороте бойцов.

— А у какого-то клюв гремит,— заметил трактирщик, загибая рукою ухо.

— Да, да. Кто-то разбил себе клюв.

— «Соловой» разбил! Это у него гремит,— слушайте,— подтвердил фельдшер, указывая пальцем на петуха, который изнемогал и еле защищался.

Зазубрин, взглянув исподтишка на Захара Фомича, наклонился к нему, чтобы что-то сказать, но не сказал ни слова, а только усмехнулся и покрутил головой.

— Долго что-то они,— заметил, наконец, фельдшер.— Все равно, теперь ясно: «Соловому» конец.

Захар Фомич поднял голову и долгим тяжелым взглядом посмотрел на фельдшера, потом на Зазубрина, как бы говоря: что ж вы уверяли-то?

— Ошибся, Захар Фомич! — ответил Зазубрин, виновато вздыхая.— Будь сухой зоб — совсем дело иное. А у него хлебный... кто ж виноват?

Захар Фомич еще раз поглядел на всех — все лица были недоброжелательны — и как-то сразу опустил голову, точно она сама обессилела и повисла на грудь.

— Петенька! — жалобно и нежно прошептал он.

Вокруг сдержанно засмеялись.

«Соловой» напрягал последние силы. Ноги и голова его были в крови. Кровавыми пятнами пестрел войлок. «Черный» между тем взлетал и прыгал и наносил «Соловому» новые раны.

— Верный, верный петух! — одобрял его фельдшер.

— Конец «Соловому»! Кончено! — заговорили все, глядя на бой.

— С выигрышем, Гаврила Михайлович! — поздравил кто-то кондитера.

Кондитер хотел было улыбнуться, но, завидя, как «Соловой» стал круто заходить, очевидно с каким-то серьезным и обдуманным намерением, вдруг закричал на поздравителя:

— Молчать раньше времени!

Намерение «Соловогo» заметили все — и все забеспокоились.

Позволяя долбить себе голову и не защищаясь, он все круче и круче заходил, меняя направление и обманывая зоркость врага.

— К глазу... к глазу пошел! — зашептали вокруг, одни с тревогой, другие с одобрением.— К глазу идет!..

Захар Фомич задыхался; сердце в нем усиленно колотилось, немел язык, дрожали губы и щеки, моргали глаза.

Кондитер стоял, ухватив себя обеими руками за виски, с остановившимися выпученными глазами, трактирщик попрежнему благодушно улыбался, подпирая руками бока и растопырив ноги.

— К глазу... к глазу,— шептали Зазубрин и фельдшер вместе, среди общего затишья и напряжения.

— Эх! — взвизгнул кондитер, махнув по воздуху кулаком.— Черт проклятый!

— Глаз вышиб! глаз! — зашумело все собрание.

После напряженного ожидания все вздохнули свободней, точно свалилась гора с плеч. Никто не поморщился. Только Захар Фомич закрылся на секунду руками и прошептал что-то.

Петухи вновь запрыгали один на другого.

«Соловой» часто падал и, видимо, изнемогал совершенно.

Кондитер и все ободрились.

— Схитрил! — проговорил Зазубрин, с усмешкой взглядывая на Захара Фомича.— А все-таки не взять! Силенки не хватит.

— Ну-ка, «Черный», хвати еще разик! Так! Ну, еще... так! Ха-ха-ха! — залился фельдшер самодовольным смехом.— Не вывернешься!

«Соловой», однако, вывернулся из-под «Черного» и перескочил на сторону слепого глаза.

Снова они закружились в клубке.

Кондитер стоял с побледневшими губами: он сознавал опасное положение своего петуха.

— Хитрый черт! Хитрый дьявол! — шипел он, следя за каждым движением «Солового».

— Теперь ему слева не страшно,— заметил трактирщик.— Ишь как с левой руки заворачивает!

— Опять... опять... опять путает,— шептал чей-то трепетный голос.— Обманывает... заводит...

Все поднялись на ноги в ожидании близкой развязки. Кондитер кусал губы, ерошил волосы и ничего не видел, кроме петушьих спин, ног и красных гребней.

— Обошел... обошел! — раздался тихий дрожащий голос.

— К другому лезет... К другому глазу...

Высшее напряжение овладело всеми.

— Тьфу! — отчаянно плюнул вдруг кондитер и, весь красный, визгливо ругаясь, выбежал из сарая: «Соловой» выклюнул «Черному» второй глаз.

«Черный» зашатался от боли и тьмы и неуверенно побежал по кругу, касаясь боком барьера.

«Соловой», напрягая остаток сил, весь израненный, победоносно помчался за ним вслед, гогоча и хлопая крыльями.

В «уважаемой» все обступили Захара Фомича. Тот, рассеянно глядя, держал на руках «Солового», бережно завернутого в носовой фуляровый платок. Трактирщик, улыбаясь и поздравляя, подал ему пачку мелких кредитных денег.

— Пожалуйте-с: пятьдесят рублей! Десять прóцентов за помещение удерживаю,— мягко говорил он, щеголяя иностранным словом и выговаривая с ударением на первом слоге.— Великолепнейший петушок-с! С выигрышем, может, спрыснуть желаете? Егорка! Приготовь стол!.. Водочки, закусочки, Захар Фомич, желаете? Винца холодненького: белого, красного... мадерки, портвейнцу? Может, шампанчику, на радостях?..

Захар Фомич сунул деньги в карман и молча повернулся, чтобы уйти.

— А с выигрышем-то? — остановил его фельдшер, точно требовал долг.— Куда ж вы, батенька? С выигрышем! Обычай — что закон.

За спиной где-то визгливо ругался кондитер и слышался чей-то оправдательный лепет.

— Прочихали четвертную, дьяволы, а? Говорили, дрянной петух; где ж он дрянной?.. Где подлец Травников? За-

манили старика, черти, облапошили? Только доброго петуха изгадили — у, сволочи!

Захар Фомич недоумевающе глядел на фельдшера, а тот, ухватив его за рукав, требовал угощения. Трактирщик искоса поглядел на них и куда-то исчез, приложив к носу палец.

— Обычай таков — понимаете? — убеждал фельдшер.

Старик готов был уже сдаться, но петух задергался у него в руках.

— Петенька! — сочувственно прошептал Захар Фомич, наклоняясь к петуху, как к больному ребенку, и, невзирая на общее неудовольствие, вышел на улицу.

1888

2 Заказ 144

НА ТРОЙКАХ*

I

В суровые январские морозы 188* года приближался к Нижнему Новгороду поезд, с которым ехали преимущественно торговые лица; они направлялись в Ирбит, где начиналась в это время большая сибирская ярмарка. Тут ехали и завзятые торгаши с вечною думой на лице — перехитрить всех на свете, были и степенные люди, именуемые «русаками», с бородами лопатой и бородами козлом, были бритые туляки, похожие не то на хлыстов, не то на актеров, а больше на южных колонистов-немцев; ехали солидные представители именитого купечества, ехали доверенные крупных фирм и приказчики всевозможных категорий, имеющие право здороваться с купцами за руку и не имеющие. Среди пассажиров первого класса сидел молодой человек лет двадцати, с румяными щеками и едва пробившимися усиками, Мефодий Иванович Кумачев, сын известного миллионера, только еще весною покинувший школьную скамью. Он ехал впервые на ярмарку — из любопытства.

* Из цикла «По Сибири».

За окнами мелькали занесенные снегом рощи и поляны, сторожевые будки, селения. Поглядывая то в окно, то на пробуждающихся соседей, Кумачев думал о предстоящем далеком пути по лесам и дорогам; его соблазняла эта таинственная перспектива — увидать остатки первобытной Руси, поговорить с лихими волжскими ямщиками, скоротать ночь где-нибудь на глухой далекой станции; но, прельщаясь всем этим, он чувствовал себя не особенно ловко в компании таких солидных и пожилых людей, как Сучков или Панфилов, которые сидели теперь рядом с ним и с которыми придется ехать еще чуть не неделю вместе. «Для чего нам понадобилась эта компания?» — думал он, досадуя на своего попутчика, который непременно желал, чтоб эти двое ехали с ними. Его попутчик был лет сорока пяти, большой весельчак и затейник, низенький, живой, с бойкими черными глазами, по имени Виктор Германович Тирман, московский фабрикант, умевший жить, несмотря на ограниченные средства, не хуже всякого богача.

— Прекрасно, прекрасно! — оживленно говорил Тирман, смеясь и потирая руки.— Поедемте все вместе! куда торопиться?

— Мне торопиться некуда,— соглашался Сучков, пожилой красивый мужчина, с мягкими манерами, с холеным белым лицом и холеными бакенбардами.— Сделайте одолжение, ехать вместе приятнее. А то с моим приказчиком забудешь, как говорят по-русски: от него, кроме «да-с» да «нет-с», во всю дорогу ничего не услышишь.

Панфилов соглашался тоже. Это был высокий коренастый мужчина лет за пятьдесят, с толстыми щеками и небольшою, но густою бородой, в которую вплелась сильная проседь. Он и Сучков были по виду такие серьезные люди и вели между собою такие скучные разговоры — все о делах да о причинах, что Кумачеву не о чем было сказать с ними даже двух слов.

Согласившись не расставаться, все пожали друг другу руки, и разговор у них после этого прекратился. Панфилов открыл пред собою газету с намерением читать. Однако не чтение занимало теперь его мысли и не торговля; его тревожил иной вопрос, большой для него важности. Из поездки в Ирбит купцы сделали нечто вроде спорта: есть такие, что ухитряются доехать от Москвы в пять суток, есть такие, что едут шесть дней, а некоторые едут полторы недели и больше; последние, конечно, не участвуют в спорте и едут как бог на душу положит, посмеиваясь над усилиями пер-

вых — во что бы то ни стало обогнать друг друга; зато первые мчатся на тройках, не щадя ни здоровья, ни денег, и с похвальбой приезжают в Ирбит. Местное население недоверчиво покачивает головами: можно ли добраться до них из Москвы в пять суток?! Но купцы в удостоверение достают из кармана газету от того числа, когда выехали из Москвы, и простодушные обыватели в удивлении разводят руками.

Матвей Матвеевич Панфилов был человек крайне самолюбивый. Почти тридцать лет он посещает ежегодно Ирбитскую ярмарку, и там про него идет слава, что быстрей его никто не ездит. Не отстать же теперь от Сучкова или от Тирмана, от этих завзятых ездоков, которые только два раза в жизни его обогнали, да и то потому, что в дороге околел коренник. Человек он был старого времени, отказаться от старой привычки не мог, и обогнать всех попутчиков было вопросом его самолюбия. Сучков и Тирман считались самыми опасными конкурентами, у которых все приспособлено, и лошади и повозки, чтобы лететь сломя голову. Равняться с ними было довольно трудно: про Тирмана шла молва, будто в дороге он не ест и не спит, а все время держит в руках нагайку и погоняет ею то лошадей, то ямщика — благо в тех местах народ невзыскательный. Да и Сучков тоже ездок записной — за деньгами не стоит, скандалов никаких не боится, и ямщику у него на выбор: рубль на чай либо по шее; поэтому и летит, как птица. Смущали Матвея Матвеевича такие попутчики.

Поезд подходил уже к самой станции, когда Тирман, взявши с полки свой саквояж, сказал, обращаясь к соседям:

— Значит, вместе, господа? Заказывайте кофе, а я за багажом покуда пройду.

С этими словами он вышел на тормоз вместе с Кумачевым.

Чудное утро, солнечное и слегка морозное, сияло в Нижнем-Новгороде. На остановившийся поезд бросились носильщики, из вагонов повалил народ, все смешалось, и Матвей Матвеевич насилу отыскал своих приказчиков, ехавших во втором классе. Верный данному слову — не торопиться, он прошел прямо в буфет и занял отдельный столик, заказавши кофе для себя и для своего главного приказчика Бородатова, человека солидного и благообразного.

— А вы скорей на извозчика да укладывайте повозки. Живо!

Двое других, к которым относились эти слова, сейчас же повернулись и молча пошли к двери. Это были тоже служащие Панфилова: конторщик Кротов, похожий более на церковного певчего, суровый, басистый, и приказчик Анютин, который обладал нежным взглядом и сладким голосом, хотя был плешивый и рыжий. Они уже знали, что требуется хозяину, и вышли из вокзала с таким видом, будто в первый раз приехали в город.

Глядя на Панфилова, не спеша отхлебывавшего кофе и курившего папиросу, можно было подумать, что он в самом деле никуда не торопится; разве только частое поглядывание на часы и обнаруживало его тревогу. Напрасно, однако, дожидался он Тирмана, ушедшего получать багаж, и Сучкова, ушедшего умываться. К кофе никто не явился.

«Тем лучше!» — подумал Матвей Матвеевич и, не торопясь, будто прогуливаясь от нечего делать, вышел вместе с Бородатовым из вокзала и, как только вышел, сейчас же как бешеный вскочил к первому извозчику и погнал что есть мочи на почтовую станцию.

Вот они, панфиловские повозки! Вот стоят у самых ворот, и добрые кони встряхивают колокольчиками... Матвей Матвеевич взглянул на свои повозки, маленькие, легкие, приспособленные для быстрой езды, взглянул на громадных коней, впряженных тройками, которые били в нетерпении снег копытами и мотали головами,— на этакой тройке да не лететь!

«Постой же! — погрозил он кому-то, улыбаясь. Улыбались и ямщики, давно знавшие Панфилова и чуявшие в карманах хорошую подачку на чай. Готовясь вспрыгнуть на облучки, они весело разбирали вожжи, а путники, надевши сверх полушубков теплые дохи, усаживались по местам. Огромное тело Панфилова заняло почти всю повозку, и Бородатов еле-еле пристроился сбоку, завидуя другим приказчикам, которые вдвоем засели во вторую повозку, разделивши места по-товарищески. Содержатель «Вольной почты», провожая старых знакомых, одолжил по особому случаю Матвею Матвеевичу курьерскую подорожную.

— Все сели? — раздался громкий окрик.

— С богом! — ответили из задней повозки.

— С богом! — скомандовал Панфилов и, сняв меховую шапку, перекрестился.

Лошади тронули...

Сначала проехали «Вольную почту», потом замелькала своими рядами и вывесками Нижегородская ярмарка, пу-

ствующая в это время года и вся занесенная снегом; мелькнул водопровод, и лошади спустились на Оку. Ехали не спеша: то и дело мешались встречные обозы, или городские сани перерезывали путь. Вот в правой стороне показался Нижний, а вот и кремль, на который все стали креститься; вот мелькнул красавец Откос; потянулись караваны огромных барок, зазимовавших во льду, но все это мало-помалу осталось уже позади, исчезли всякие признаки жилья, и перед глазами развернулась одна широкая, бесконечная «кормилица-матушка» — Волга.

II

Ясный морозный день. В воздухе тишина невозмутимая. Небо совершенно голубое, точно летом, и солнце светит по-летнему, только не греет, и белый снег вокруг блестит и искрится, так что больно смотреть, и вьется впереди наезженная дорога прихотливыми очертаниями, и не хочется отрывать взоров от сверкающей бесконечной равнины, что тянется по левой стороне не тронутая человеческими ступнями, до самых краев небосклона. Правый нагорный берег глядит на нее исподлобья, как старец-жених на молодую невесту, и там, где раскинулись старые Печоры с их колокольнями, утопающими летом в зелени садов, торчат оголенные ветки. Угрюм и задумчив этот нагорный берег, весь обросший старыми лесами; заиндевелые деревья производят самые фантастические сочетания: то чудится в них какой-то терем волшебный, то узоры, вышитые по канве,— целый русский сказочный мир встает в воображении...

А тройки летят во всю мочь, крутя за собою снежную пыль. «Эх! Эх!» — покрикивают ямщики. Чутко и вольно разносятся окрики, радостной песней заливаются колокольчики, и снежная пыль летит прямо в лицо и крепко садится на фартук повозки. Глядишь-глядишь на все стороны, и не хочется слова сказать. Вон что-то черное виднеется в стороне — это полыньи. Иногда полыньи встречаются очень большие, с версту длиною; говорят, не будь их, рыба не могла бы зимовать в реке,— так ли? Некогда разбирать! Морозный воздух вплетается в усы и в бороду, смораживает ресницы. «Эх! Эх! Други милые!» — слышится веселый окрик, и непонятно, чему веселится ямщик.

То тут, то там в разных местах по реке возвышаются ледяные кресты, иногда до сажени ростом.

Бородатову надоело молчать. Он глядел направо, глядел налево: прекрасные, но одинаковые картины, хотя

и одинаково прекрасные, менялись перед его глазами. Он давным-давно знает волжский обычай с ледяными крестами, но ему хочется слышать человеческий голос, который нарушил бы величаво ледяное безучастие природы.

— Ямщик!

Тот мгновенно обернулся, но тотчас же привстал, нахлобучив шапку, чтоб не свалилась, гикнул и пустил тройку еще быстрее.

— Ямщик!

— Ась?

Бородатов почувствовал себя барином и почему-то рассердился, по крайней мере в голосе его зазвучала командирская нотка:

— Что за кресты, я спрашиваю.

Ямщик опять привстал, хотел было опять гикнуть, но спокойно опустился на облучок и, балуя вожжами, ответил:

— Обыкновение. Ребята делают изо льда; наколят и сложат крестом. Так уж заведено, чтобы в крещение после обедни строить.

— Зачем же? Примета, что ли, какая?

— Кто ж их знает, должно быть примета.

Для разговоров, однако, не время: вот уж чернеется кабак на седьмой версте, у дверей которого лошади останавливаются сами, потому что это — тоже волжский обычай, и ни одна тройка его не минует. Ямщики проворно соскакивают с повозок и молча подходят к Матвею Матвеевичу, ухмыляясь и почесывая в затылках. Лошади стоят, тяжело дыша; от них валит пар, замерзая вокруг губ и ноздрей.

Получив по серебряной монете, ямщики через минуту вернулись, утирая рукавом губы, вскочили снова на облучки, гикнули, и повозки, взвизгнув полозьями по скрипучему снегу, опять понеслись вдаль.

Много было прикушено языков, много было посажено синяков на лбы и шишек на затылки, прежде чем выдуман такой экипаж. Русский человек доходил до него постепенно, не торопясь, и всякий раз умудрялся горьким опытом. И, наконец, состряпал такую штуку, что, кати на ней хоть к чертям на кулички,— горя мало! Это не сани с ковровым задком и мягким сиденьем, в которых езжали, бывало, откупщики на прогулки; это не кошева, в которой и до сих пор ныряют по ухабам разные куплетисты и фокусники, неизбежные гости всех русских ярмарок, или тащатся мелкие комиссионеры; это даже не монастырская кибитка, в которой возят архиерея, хотя она тоже напоминает, как и та,

бабушкин чепчик. Все в этой повозке отличается прочностью и удобством: косогор ли, ухабы — ей все нипочем! Засел в этот «бабушкин чепчик», приделанный к высоким розвальням, натянул на ноги меховое одеяло, и лети хоть за тридевять земель, ни о чем не горюя. Что ей сделается, этой повозке? Наскочила на кочку — небось! не опрокинется набок, потому что по бокам приделаны отводы, вроде вторых оглоблей, которые берегут ее и слева и справа. Понесется ли она по ухабам, и то не беда,— разве только охнешь от неожиданности, а уж язык не прикусишь и не станешь бодаться с ямщицкой спиной или с своим собственным чемоданом. Чепчик сделан из прочного лубка и околочен циновкою; на случай солнца — сверху спускается «зонтик», на случай вьюги поднимается фартук до самого зонтика, а на случай голода или жажды в кузове имеются два кармана, где хранится все необходимое: закуска, коньяк, табак и тому подобное. Под сиденьем — перина, за спиною — подушки, так что ни сидишь, ни лежишь, а натянешь на ноги меховое одеяло да завернешься покрепче в доху поверх полушубка, поднимешь фартук, опустишь зонтик да выпьешь на сон грядущий — так тут не то что ухабы или мороз, а никакая метель не страшна!

Пока тянулась однотонная ледяная картина, пока по свежему следу мчались повозки, крутя за собою снежную пыль, Матвей Матвеевич, не успевши еще освоиться, ежился и потирал руки от холода, молча следя за бегом коней, а потом, откинувшись глубоко на подушки, сказал Бородатову:

— Ну-ка, Федор Николаевич!

Тот проворно вынул из кармана повозки откупоренную бутылку и молча налил коньяку в дорожный стаканчик. Панфилов молча выпил, закусил леденцом и молча кивнул на бутылку, что означало: «Выпей и ты!»

Выпил и Бородатов. Выпили и в задней повозке; только те догадались это сделать пораньше и теперь занялись разговорами. Кротов узнал, что ямщика зовут Еремеем и что у него пять человек детей.

Переговариваясь и пошучивая с ямщиками, путники весело и незаметно добрались до первой станции Кстово, расположенной почти у самого берега. Здесь почему-то не говорят «кресты», а говорят «ксты», и не говорят «креститься», а говорят «кститься», потому и станцию называют не Крестово, а Кстово. Сделав крутой поворот, тройки с звоном и шумом подкатили к крыльцу.

В это время от крыльца отъезжали повозки Тирмана и Сучкова. Как только их увидал Матвей Матвеевич, так и остолбенел, не успев даже вытащить из повозки ногу, и стоял на одной, точно аист.

— Так и есть! — вскричал он в негодовании.— Надули! Надули! — И, выскочив на снег, не знал, куда деваться.— А все вы! — набросился он на приказчиков.— Укладывались десять лет! Староста! — закричал он еще громче, распахивая шубу.

Ему вдруг сделалось жарко. Вид его был необычайно строг и грозен, а голос, на который мгновенно выбежал староста, прогремел, как команда.

— Живо! Курьерских!.. А вы, молодцы,— обратился он к ямщикам,— удружили: получай по рублю!

Новые ямщики целою толпой хлопотали между тем у повозок, впрягая свежие тройки.

— Скорей! Скорей! — волновался Матвей Матвеевич, то подходя к повозкам и понукая ямщиков, то вглядываясь вдаль и щурясь на две черневшие точки.

— Прописаны подорожные? Садитесь! Пошел, ямщик! Догоняй те тройки!

Взвился кнут — и лошади помчались. Волнение Панфилова, однако, не улеглось. Все внимание его было обращено на дорогу, по которой вдалеке неслись две скачущие тройки.

— Пошел! Гони! — покрикивал Матвей Матвеевич, не спуская с них глаз.— Да пошел же ты, черт тебя побери!

Ямщик нахлестывал лошадей и торопился, в надежде получить на чай, не обращая внимания на ругань. Тройка летела, а Панфилов все не мог успокоиться.

— Гони! Гони!.. Ах ты скотина, как едешь! Вот я тебя! я тебя!

Но браниться во весь голос на морозе не так-то легко, и Матвей Матвеевич устал.

— Да ругайся хоть ты!— толкнул он Бородатова, откидываясь в глубину повозки.

Бородатов начал ругаться экспромтом, без всякого вдохновения. Между тем расстояние между тройками мало-помалу все сокращалось и сокращалось. Вот уже ясно виднеется сучковская повозка с ее глянцевитым чепчиком; алые лучи заходящего солнца сверкают на ее лощеной циновке.

«Теперь не уйдешь!» — радостно думает Панфилов.

Лихо несутся передние кони, но еще лише скачут панфиловские тройки.

— Ух! Эй! Го-го! — вскрикивает ямщик тонким, почти бабьим голосом и, не помня обиды, взмахивает кнутом и руками, привставши на облучке.

Но вот и вторая станция — Кадинцы. Тройка лихо подкатила к крыльцу, колокольчики беспорядочно заболтали на все лады, точно перебивая друг друга, и вскоре они заливались над другими конями среди волжского раздолья.

Солнце уже село. Начинало вечереть, когда миновали Юркино. Январские сумерки стали заволакивать даль, и в воздухе заметно свежело. Серый иней вставал над лесами, окутывая постепенно весь правый берег; белая равнина тоже серела и мало-помалу сливалась с туманною далью. Первые звезды замигали на небе. Крепчал мороз. С хрустом и скрипом оседал снег под полозьями; казалось, скрипела и самая повозка, точно сафьяновый кошель. Осколок луны, белевший недавно точно облако, теперь позолотился.

Анютин выглянул из повозки, и глаза его встретились с отблеском луны. Он было отвернулся, но потом снова поднял глаза к небу. Что-то ласковое просилось к нему в душу; эти кроткие лучи среди мертвой природы будили в нем его полузадавленную молодость.

— Шельмец, шельмец! — тихонько прокряхтел он, и неизвестно, к кому относились эти слова.

В это время около них показался задок чьей-то повозки.

— Никак, обгоняем?

— Сучковская! — ответил ямщик и завертел по воздуху кнутом.

Слышно было, как рядом сопели лошади, и скрипела чужая повозка, и чужой колокольчик вмешивался в песню их колокольчика. Но приказчикам было все равно: они ли кого обгоняют, их ли кто, — они вовсе не интересовались и спокойно лежали под чепчиком, рассуждая об ужине да любовно поглядывая вперед, где среди вечерней мглы сверкали огненные точки.

— Слава тебе господи! К Лыскову подъезжаем.

Среди сумерек заманчиво блестели эти огни, напоминая семейный очаг, и чем ближе к ним подъезжали тройки, тем шире рассыпались и множились они, сверкая тут и там и лаская утомленные взоры.

Все четыре тройки, одна за одной, въехали в Лысково,

нарушив своим звоном и скрипом мирную тишину. Впереди всех ехал Тирман с Кумачевым, за ним Панфилов и приказчики.

Сучков оказался последним.

III

После долгой однообразной езды и мороза хорошо поразмять усталые ноги, взбираясь вверх по лестнице; хорошо войти в теплую горницу, сбросить с себя тяжелую, промерзшую шубу, сесть за стол, покрытый чистою скатертью, и отведать горячих щей, которые дымятся пахучим паром.

Лысково — большое село, раскинувшееся по полугорью,— по зернышку да по семечку заманивало к себе хлебную торговлю, а заманив, вцепилось в нее, как сторожевая собака, и потянуло на свою сторону со всех концов Поволжья, с маленьких сел и деревенек, и нарезало себе улиц, настроило каменных домов, какие сделали бы честь даже уездному городу!

Пока приезжие топали по лестнице, крякали с холода, сбрасывали шубы, Кумачев успел уже вбежать в комнату и осмотреться. Посредине стоял общий стол с тарелками, ножами и погребцом, из которого торчала, разинув рот, горчичная банка. Вслед за Кумачевым вошли и все остальные, расчесывая бороды и слипшиеся волосы. Человек, стоявший в дверях с салфеткою под мышкой, вопросительно глядел на них, готовый сорваться с места по первому слову, но потом, раздумав, подошел к столу и начал лениво трепать об него салфетку, делая вид, что сметает.

— Любезный, а где же хозяин? — сказал Сучков.

— Сию минуту-с! — бойко ответил человек и торопливо ушел.

Все сели вокруг стола; пробовали заговорить, но разговор не вязался. Веселее других глядел Кумачев. Он не оставил без внимания ни одного предмета, поглядел в окно, поцарапал пальцем горчичную ложку, на которой присохли комки, заглянул и в сундук, окованный жестью; таких сундуков много стояло здесь по стенам для продажи. И все ему казалось забавным и новым. Его молодое свежее лицо выражало безграничное удовольствие, и сдержанная улыбка не сходила с губ.

— А знаете, что нам предложит сейчас хозяин? — шутливо сказал Панфилов.— Держу пари, что заливную стерлядь, щи и котлеты! Здесь двадцать девять лет подают одно и то же.

В это время за стеной послышался говор и кашель, потом заскрипели половицы под чьими-то мягкими шагами, и в комнату вошел Дмитрий Ульянович, седенький, ветхий старичок, в валенках, в длинном затасканном сюртуке. Появление его сопровождалось хриплым тяжелым дыханием, довольно громким, отчего казалось, будто в груди у него спрятана машинка, которая должна была шипеть и пищать при каждом вздохе. Едва взглянул Дмитрий Ульянович на компанию, как всплеснул руками и даже остановился.

— Господи, мать пресвятая богородица!.. Вот радость-то! Привел господь на старости опять увидаться!.. Матвей Матвеевич! батюшка! И вы, Иван Александрыч! Да что же такое, и Виктор Германович здесь!

Он в умилении замолчал, склонив голову набок и улыбаясь, а машинка в его груди еще просвистела две жалобные нотки.

— Да как же это вы так... все-то разом? Точно сговорились? — заговорил он снова, здороваясь со всеми за руку.— Почтение, сударики мои! — поклонился он приказчикам, приветливо улыбаясь, отчего все лицо его сморщилось и седенькая бородка запрыгала с радости.

Перед Кумачевым, однако, он в недоумении остановился и сказал:

— Молодого человека вот не признаю что-то. Не сынок ли Матвея Матвеевича?

— Это молодой Кумачев,— ответил Тирман.

На лице хозяина сейчас же выразилось уважение к громкой фамилии московского богача.

— Здравствуйте и вы, батюшка!— поклонился он почтительно.— Дедушку вашего, царство ему небесное, знавал, Савелья Никитича, и вашего батюшку всегда принимал, когда приезжали; вот и вас господь привел увидать... Хе-хе-хе, господи боже!.. Чего же прикажете, гости дорогие? — обратился он ко всем.

— А что у вас есть?

— Да что угодно: стерлядочку заливную можно... Хорошая стерлядочка! Щи можно подать, а то и котлетку, ежели будет угодно, зажарим.

— Ну, вот и пожалуйте всего этого.

Дмитрий Ульянович, вздыхая и приговаривая что-то, ушел, а приказчики тем временем успели молча объясниться с стоявшим в дверях человеком. Привлекши его внимание громким кашлем, Анютин мигнул ему и щелкнул себя двумя пальцами в шею около уха, затем опять мигнул,

а через минуту человек притащил уже им водки и рыбы.

В это время в дверях показался смотритель с подорожными в руках. Это был низкорослый и крепкий человек, которому, несмотря на его седину, казалось, века не будет. Одет он был в двубортный суконный сюртук с двумя рядами медных пуговиц, на которых изображалась почтовая труба, изогнутая в виде кренделя.

— Хлеб да соль, господа!— сказал он, глядя на водку.— Для вас все готово, извольте получить.

И он положил на стол полупечатные, полуписанные листы казенной бумаги, затем, высоко подняв брови, погладил свою длинную бороду и поглядел на закуску не то лукавым, не то невинным взглядом.

— Очень быстро изволите ехать! — продолжал он, переминаясь с ноги на ногу.— Очень быстро: шести часов еще нету.

— Обыкновенно,— сказал Тирман, закусывая выпитую рюмку.

— Замечательно быстро!— похвалил еще раз смотритель, не отходя от стола.— Быстрей вашего никто не ездит. А между прочим имею честь кланяться!

Он нехотя удалился, а приезжие принялись за ужин, который был вскоре нарушен веселым смехом, внезапно раздавшимся внизу, и затем быстрым топотом по лестнице: кто-то вбегал торопливыми легкими шагами и, задыхаясь, смеялся от всей души. Все встрепенулись и взглянули на дверь.

Продолжая хохотать, в комнату вбежала молодая женщина, но, увидав компанию, мгновенно остановилась и замолчала в смущении, тяжело дыша. За нею, отдуваясь, вошел молодой мужчина в очках, которые запотели от холода и были спущены на конец носа.

— Занято! — подумал он вслух, видя, что сесть ему некуда.

— Мы можем подвинуться,— любезно предложил Сучков.— Господа, подвиньтесь!

Вошедший поклонился в знак благодарности и сказал, вытирая платком очки:

— Садись, Оля, есть место.

Очевидно, та не ожидала встретить столько народа, когда, смеясь, вбегала сюда, и сначала смутилась, но теперь оправилась от первого впечатления и быстрым взглядом оглядела комнату и людей, взглянула мельком на Сучкова

и Кумачева, остальных не заметила и снова весело улыбнулась.

— Ох, устала! — промолвила она, садясь прямо на сундук и кокетливо поправляя на себе пуховый платок, который, казалось, ласкал и нежил ее шею и щеки.

— Садись к столу, что ж ты на сундуке!

— Дай отдохнуть минутку! Какая тяжелая лестница!

Она хотела вздохнуть, но вместо этого опять засмеялась и встала, поправив еще раз пуховый платок, закрывавший ее спину и грудь и одним концом спускавшийся до полу.

Это была женщина лет двадцати двух, не более. Голову ее покрывала высокая барашковая шапка, похожая на мужскую; из-под шапки виднелись волосы, почти такие же темные и длинные, но когда она открывала глаза (взгляды ее были внезапны), то ресницы, казалось, блестели заодно с ее крупными лучистыми глазами. Ее появление внесло с собою что-то живое, непонятно бодрое, вызывающее.

Запах щей, начинавший было щекотать аппетит, утратил свое обаяние; приказчики сбились в кучу; Сучкову стали мешать его красивые бакенбарды, которые пришлось поэтому откидывать вправо и влево и хмурить на них свои красивые брови; Кумачев перестал есть; Тирман задумался о чем-то очень лукавом, и только Матвей Матвеевич продолжал свой ужин, хладнокровно наблюдая за всей компанией.

— Оля, ты будешь есть?

— Разумеется, Леонид! Я голодна,— отвечала та, усаживаясь за стол.

— Человек! Какой у вас ужин?

— Щи-с! Заливная стерлядь!

Оля, не дав ему договорить, сказала:

— Стерлядь, стерлядь!

Пользуясь своим случайным соседством, Матвей Матвеевич спросил Леонида, далеко ли он едет.

— В Малмыж,— отвечал тот хмуро.— Черт знает какое сообщение — на лошадях! А жене вот нравится.

Та улыбнулась при этих словах. Улыбнулся и Панфилов, взглянув на нее. Улыбнулись и прочие, предвкушая общий разговор.

— Да, мне очень нравится,— сказала Оля, видя, что все на нее смотрят.— Железная дорога так монотонна, так надоела! А здесь все новое. Говорили, будто дорога плохая,— нисколько.

— Это только сначала, сударыня,— вежливо заметил Панфилов.— А пойдут Чугуны, Осташиха... да еще Аракчеевские аллеи, так не приведи бог!

— А вы далеко ли? — спросил Леонид.

— Мы на ярмарку, в Ирбит едем.

Стали говорить про Ирбит и Малмыж, и разговор мало-помалу сделался общим. Выяснилось, что Леонид — чиновник из Петербурга, едет по делам службы, получив в Малмыже место инспектора, не то податного, не то еще какого-то,— никто этого не разобрал.

— Я так рада, что еду на тройках,— говорила его жена Кумачеву.— Это такое удовольствие: летишь — сердце замирает!

Она очень мило зажмурила глаза и еще милее содрогнулась при этом, словно показывая, как у нее замирает сердце. Между тем ужин был окончен, и Панфилов поднялся. Глядя на него, встали и прочие.

— Желаю благополучного пути!— поклонился он Ольге Васильевне.

— Вы уже едете? Поедем и мы, Леонид!

Тот, очевидно, не имел обыкновения спорить; молча вытер губы, поправил очки и, положив деньги, стал собираться. Кумачев воспользовался случаем подержать Ольге Васильевне шубу; за это она поблагодарила его такою улыбкой, что не только у него, но даже и у Сучкова заблестели глаза.

С сожалением подумал теперь Кумачев о своей лихой тройке, которая унесет его далеко от всех: «Черт бы ее побрал вместе с Тирманом — куда торопиться!» Однако все вышли на двор под веселый говор и пожелания Дмитрия Ульяновича, который со свечкою стоял на лестнице и провожал их, называя всякого по имени и вплетая сюда разные слова, вроде: «господи боже», «батюшка», «Никола милостивый»...

«Веселая барынька!» — подумал Панфилов про Ольгу Васильевну, пока та усаживалась в повозку. Зная хорошо слабости своих спутников, особенно Сучкова, он был уверен, что ихние тройки теперь далеко не ускачут, а будут все время держаться поближе к новой. Вот прекрасный случай уехать от них так далеко, что после и не догонят!

Обрадованный этою надеждой, Матвей Матвеевич обратился к своему ямщику сладким упрашивающим голосом:

— Милый, уважь! Поезжай как можно пошибче, голуб-

чик. А ежели ты, мерзавец,— вдруг переменил он тон,— плохо поедешь, так я тебя...

Он что-то еще добавил, но уже вовсе тихо, почти шипя, чтобы не слыхали другие.

IV

Было темно, когда выехали на дорогу. Новорожденный месяц весело блестел на небе, но не освещал пути. Все тройки, одна за одной, ехали ровною рысью. Как ни торопил ямщика Панфилов, как ни упрашивал, как ни бранился, тот был ко всему равнодушен. Обладая лучшими лошадьми по всей Волге, лысковские ямщики никогда и никуда не торопятся.

— Да пошел же! Да обгони ты тех, ради бога!— волновался Матвей Матвеевич, боясь пропустить хороший случай.— Ну, на тебе рубль — гони живей.

— Покорно благодарю,— отвечал равнодушный ямщик.— Едем и так очень поспешно.

Безнадежно ругнув его за упрямство, Матвей Матвеевич запахнулся, надвинул поглубже шапку и стал дремать. Мало-помалу и всех убаюкала тихая морозная ночь. Спокойно и ровно катились повозки по гладкой дороге; еще спокойнее глядел на них одноглазый месяц, окруженный широким белесоватым кольцом. Один только Кумачев долго не мог успокоиться и лежал, уткнувшись в воротник дохи. Каких-каких дум не передумалось ему в это время! То вставал перед ним обольстительный образ Ольги Васильевны, неотступно влекущий куда-то на радости и восторги; то видение сменялось тоскою о предстоящей жизни, бесцельной и черствой; то вспоминалось старое, когда он был еще Мифочка, резвый мальчишка, школьный затейник... Где они все, его школьные сверстники? Куда, по каким путям разбрелась эта молодая ватага, когда-то сплоченная одними интересами, подчас разгульная и бесшабашная? Куда девались те немногие, мечтавшие о науке, об идеалах?.. Прошла весна — и нет никого, и расселись они все по городам и столицам, и не слыхать о них!.. Вот несут и Мифочку быстрые кони, только куда? зачем? Что ему нужно от всей этой ярмарки и всех этих коммерческих оборотов, которым придется посвятить всю свою жизнь?.. Всю жизнь!.. Ничего ему не нужно от них, и сам он не знает, почему так нелепо сложилась его судьба.

Беззаботною рысью несутся тройки, дремлют усталые

седоки, а дорога между тем, изменив ненадолго Волге, устремилась в сторону и пошла озерами. Показались Аракчеевские аллеи, а с ними и первые ухабы, по которым, ныряя, загромыхали повозки, то проваливаясь с шумом, то опять выбиваясь.

Обсаженная деревьями, по приказу графа Аракчеева, дорога славилась своими ухабами. Проснувшись от сильных толчков, Тирман в раздражении крикнул какое-то слово, на которое даже ямщик обернулся и сочувственно сказал:

— Ничего не поделаешь! Если бы не деревья, много бы вольготнее было.

— Ах, Аракчеев!— ворчал и Бородатов, когда на ухабе на него наваливался Матвей Матвеевич.— Ох, Аракчеев...

Никто не мог спать. То и дело раздавался чей-нибудь голос, чаще всех Ольга Васильевна взвизгивала на ухабах и затем хохотала. Ночной ветер проносился иногда между деревьями и передувал дорогу, выхватывая залежи рассыпчатого снега. Долгая зимняя ночь казалась бесконечной; ухабы и толчки не давали продолжительного покоя. Иногда, неожиданно просыпаясь, Матвей Матвеевич вскрикивал раздраженно:

— Да пошел же ты, чертов сын!

Но, зная ямщицкое упрямство, опять завертывался в доху и засыпал тревожным, коротким сном. Долго-долго тянулись Аракчеевские аллеи, и сразу нельзя было привыкнуть к ухабам; а когда с ними уже свыклись, аллеи кончились и тройки приближались к городу Васильсурску.

Начинало светать.

Ночная мгла рассеивалась, но небо было мутное, и мутен был воздух. По скату горы чернели разбросанные жилища, за ними вставали в тумане городские постройки, и, точно скелет, торчала длинная тощая колокольня с длинным шпицем, стремившимся, как указательный перст, к мутному небу. И, глядя на него, вспоминалась истина, что на устье Суры построил царь Василий город Василь от набегов татар-разбойников; а глядя на громадный острог, господствовавший над городом, приходила на ум другая истина, что в городе Василе развелось в позднейшие времена очень много своих собственных воров и разбойников...

— А что, Матвей Матвеевич, не испробовать ли здесь знаменитых стерлядей? — сказал Сучков, подходя к повозке Панфилова, когда они подъехали к станции.— Сурская стерлядь сама во рту, говорят, тает.

Матвей Матвеевич был очень сердит, и ему было не до стерлядей.

— А ну их...

Впопыхах он даже не нашелся, как выбраниться, и закричал:

— Староста! Лошадей!..

Зимний рассвет способен всякого навести на досаду: до такой степени он медлителен и как будто ленив. Едешь-едешь, а все та же муть вокруг, все то же мутное небо и седой туман впереди, как было и в Васильсурске, а между тем город уже миновали и целый час прошел, как тронулись дальше. Серо, бледно, неуютно. Ветер совершенно затих, но утренний мороз пощипывает сильнее, едва высунешь нос из-под шубы.

Дорога снова лежала вдоль Волги, гладкая, раздольная, а упрямцы, русские ямщики, сменились старательными чувашами.

— Смотри ты, если плохо поедешь! — пригрозил своему ямщику Матвей Матвеевич, показывая кулак.

Чуваш молча вспрыгнул на облучок и во весь дух погнал тройку.

Все ямщики были точно братья родные: все румяные, волосатые, с узкими глазами и реденькими бородками; у всех одинаковые шапки с черным околышем из поддельного барашка, одинаковые кафтаны и одинаковый общий вид.

У станции Сумки чувашей стояла целая толпа, когда к ней подъехали тройки. Сучков, желая потешить Ольгу Васильевну, крикнул, подходя к ямщикам:

— Василий Иваныч!

— А? — хором ответили чуваши и все разом обернулись на окрик.

Ольга Васильевна залилась звонким хохотом.

— Василий Иваныч! — крикнул с другой стороны Тирман.

Вся толпа обернулась в его сторону.

— Да разве вас всех зовут Васильями Иванычами? — со смехом спросил Кумачев.

— А что же! — отвечали простодушные чуваши.

— Это у них любимые имена,— объяснил Панфилов, подойдя к компании.

— Нисколько! — возразил Сучков.— Дело не в любви.

А когда их переводили в христианскую веру, то для краткости взяли да и окрестили всех Василиями, чтоб недолго возиться.

Ольга Васильевна опять засмеялась.

— А крестный отец у них был тоже общий, дьякон Иван,— продолжал Сучков.— Вот погодите, скоро приедем мы в Чебоксары, в их чувашскую столицу, которую они считают лучшим городом в мире. Попробуйте-ка сказать про нее дурное слово!

Ольга Васильевна то хохотала, то куталась в свою шубу и ни минуты не могла пробыть спокойно на месте. Муж ее, напротив, был сосредоточен и стоял поодаль, разговаривая со старостой. Пока перепрягали повозки, уже совсем рассвело; на зените прояснело, но остальная часть неба была все еще мутна; седой мороз сгустился туманом и не хотел пускать сквозь себя солнечные лучи, и долго боролось солнце с его упрямством.

Тройки уже катились по гладкой, спокойной дороге, а туман все держался, и солнце с трудом пробивалось, но, наконец, пробилось и выглянуло сквозь его чащу желтым, золотистым пятном, без лучей, как луна. На него можно было смотреть без боли, только некому было смотреть; утомленные бессонною ночью, все спали, и лишь чуваши летели сломя голову, друг за другом, заслуживая обещанную рублевку. То и дело нахлестывали они лошадей и кричали тонким, пронзительным голосом, не то их ругая, не то подзадоривая. Однообразны и неразборчивы были их крики: казалось, они все время кричали одну и ту же непонятную фразу:

— Тары-бары! тары-бары!

Когда солнце окончательно победило и, прогнав туман, глянуло полным светом, серевшая окрестность вдруг ожила. Помолодели угрюмые берега, засверкала дорога мелкими искрами, и побежали за тройками уродливые тени. Тирман проснулся, когда яркие лучи ударили его по глазам, и спросил:

— Где едем?

Но, не дожидаясь ответа, отстегнул от чепчика зонтик, чтобы не беспокоило солнце, и снова завалился спать, а Кумачев от скуки велел ямщику петь.

Чуваш может всегда петь экспромтом: едет лесом — воспевает лес, едет рекою — воспевает реку и складывает в песни разные были и небылицы... А если ему дать еще

и «шыбыр», чувашскую волынку, он готов дудеть в нее, покуда глаза не нальются кровью.

И ямщик запел:

— Кош, кош вурман, кош вурман![1]

— Да ты по-русски! — перебил его Кумачев.

— Не знаю,— ответил тот и продолжал по-своему. Голос его был тих и вял, и слушать его было неинтересно.

Солнце приближалось уже к полудню, когда, миновав Козьмодемьянск и Ильинскую пустынь и отдохнув по гладкой дороге, путники увидали впереди чувашскую столицу. Бородатов, желая развлечься, обратился к своему ямщику:

— Василий Иванович! Что это за деревня виднеется?— сказал он, указывая на Чебоксары.

Тот угрюмо молчал.

— Я говорю, что это, мол, за деревня там? — повторил Бородатов, издеваясь над самолюбием чуваша.

— Какая деревня?! — сказал ямщик с таким сердечным и глубоким сожалением к Бородатову, точно скорбел за его незнание.— Да это наш город Чуксары! — восторженно добавил он, повернувши к нему свое волосатое румяное лицо.

— Вот как! — невинным тоном проговорил Бородатов, будто только что догадавшись.— А давно ли она городом стала, Василий Иваныч?

— Давно! Тут жил один честный чувашин, тогда была деревня, а потом умер — и стала она городом.

— Чем же он был честен?

— Богатый был и добрый был, теперь таких нет. Чуксаром его звали. И деревню звали Чуксаровой, и город зовем Чуксары.

Неизвестно, где находились жители; несмотря на ясный полдень, почти нигде не встречалось прохожих, а те, которые встречались, обертывались, чтобы послушать, как гремят колокольчики, и, не останавливаясь, продолжали свой путь. Наперекор обычаю даже у трактира не было заметно оживления, и самая вывеска глядела угрюмо с своей высоты, засиженная голубями. Высокая лестница со следами мокрых подошв вела прямо в общую залу, где было грязно, тесно и пахло чем-то ужасно кислым. Здесь же находился приказчик за стойкою, державший в руках номер столичной газеты и интересовавшийся «молодою особой», которая ищет места и согласна в отъезд.

За столом, возле стойки, подперев рукою голову, сидел

[1] Шумит, шумит дубравушка! (*Примеч. автора*).

слепой старик, не пил, не ел и ничего не делал; он казался спящим, хотя не спал.

За этою следовала другая комната, купеческая, где напиться чаю стоило дороже, чем в общей. Она была светлее, чище и богаче первой. На окнах стояли банки с геранью, по стенам красовались отечественные герои и висела большая картина с изображением барина в шляпе, танцующего с полногрудою девицей, на которую зазевался бы любой из «Васильев Ивановичей», больших охотников до русской красоты; у девицы висела чуть не до пяток толстая коса, а у барина рука с платком была лихо изогнута и поднята над шляпой; под картиною было подписано: «По улице мостовой».

Среди комнаты стояло несколько столиков. За одним из них сидел пожилой купец, с большою рыжею бородою, и худенький застенчивый приказчик. Оба ели селянку — купец решительно и громко, приказчик скромно и почтительно. Расслабленный орган, прислоненный к стене, услаждал их слух, наигрывая старинный танец — англез.

Окончив еду, купец перекрестился, вытер бороду салфеткой и сделал что-то губами, похоже на «бр-вв...». И орган, когда кончил танец, тоже издал звук, похожий на «бр-вв», и замолк.

Компания новоприбывших вошла в эту комнату и, так как места было немного, заняла почти все столы.

Стали обедать. Сидевшие рядом Кумачев и Ольга Васильевна, не вслушиваясь в общие разговоры, занимались своею беседой, и иногда оба, закрывшись салфетками, хохотали до слез.

Их тоже никто не слушал; только приказчики иногда поглядывали на них и молча переглядывались между собою.

После обеда потребовали себе кто чаю, кто вина и приказали позвать гусляра.

Через минуту в комнату вошел неслышными шагами тот самый слепец, что сидел возле буфетной стойки. Войдя, он молча поклонился. Трактирный служитель снял покрывало с небольшого стола, на который вначале никто не обратил внимания, и подставил стул. Это были старинные гусли, с виду похожие на низенький стол с натянутыми струнами; вместо крышки у этого стола был приделан резонатор из тонкой певучей доски, вроде той, какая бывает у обыкновенной гитары. Гусли, несмотря на свою ветхозаветность, были очень чувствительны, и, когда слу-

житель, подставляя стул, слегка зацепил их ногою, они таинственно загудели.

— Ну-ка, Илья Михеевич! — сказал Панфилов. — Сыграй что-нибудь.

— Что желаете? — спросил тот.

— Что знаешь, дело твое.

Старик не спеша обтер руку об руку и откашлялся. Потом приподнял немного правую веку, из-под которой блеснул помутившийся глаз молочного цвета, и опять зажмурил его и опять обтер руку об руку.

— Что ж? — проговорил он, усаживаясь за гусли. — Нешто «Среди долины ровные» или «Во лесах было во дремучих» сыграть?

Он опять откашлялся и поправил под собою стул. Никто ему не ответил. Все с любопытством глядели на него и ожидали музыки.

Это был очень древний старик из бывших дворовых. Глубокие морщины избороздили его высокое чело и легли двумя крупными складками над носом, где срастались у него мохнатые бесцветные брови. Волос на голове было много, точно у молодого; спереди они были расчесаны на прямой пробор, а сзади кончались своеобразными завитками; они вились только в самом конце, вслед за перемычкой, оставшейся от ношения картуза; вились они еще на висках и над ушами. Седина серебрилась по всей голове, сильно впутавшись в бороду и в усы. Слепые глаза казались крепко зажмуренными, и мелкие морщины лучились от них во все стороны.

Прежде чем заиграть, старик дунул на гусли, потом поднял обе руки и положил на струны. Его тонкие пальцы, очевидно не привыкшие ни к какой грубой работе, быстро зацепились и пробежались по струнам, которые красиво и мягко загудели. Звук их походил на цитру или на арфу, только был еще мягче, еще меланхоличнее.

— Бурлацкую сначала, — тихо проговорил старик и, прислушавшись, все ли молчат, взял первый аккорд.

«Э-эй, ух-нем!..» — дружно и бодро грянули струны, и сейчас же отозвались, точно эхо, другие струны — унылые, тихие, повторяя тот же мотив и, казалось, как будто те же слова: «Э-эй, ух-нем!»

Вот она, безыскусная русская песня, навеянная не весельем, не радостью, а беспощадной нуждой! Что в ней? Какие слова, какая музыка? «Эх, ухнем! эй, ухнем! еще разик, еще раз, — эй, ухнем!» И больше ничего в ней нет,

в этой песне, и звучит она просто, однообразно, но кажется, что мало ей низкой комнаты, просится она на простор, под глубокое небо, на волжские берега, где она родилась. И кажется, что вырвалась уж она на желанную волю, звучит она уже где-то не здесь, а льется далеко за окном, и замирают ее скорбные звуки среди родных берегов:

«Э-эй, ух-нем!»

«Э-эй, ух-нем!»

Один и тот же мотив, одни и те же слова. Ни конца, ни начала нет в этой песне, как не знаешь, где искать начало и где конец в горемычной доле русского бездомного человека, у которого и позади нужда да горе и впереди то же самое.

«Э-эй, ух-нем!..» — мягко и скорбно прозвучали еще раз трепетавшие струны, и сладко замерли чуть слышные отзвуки среди глубокого молчания.

Слепец опустил на колени руки и сидел неподвижно, свесив на грудь седую голову.

Панфилов сидел, откинувши голову назад и прислонясь затылком к стене.

— Экая песня! — сказал он, умилившись, когда старик, окончив играть, кашлянул в руку. — Молодчина, Илья Михеевич, хорошо играешь!

Леонид сидел, согнувшись над столом, и вертел в руках вилку. Очевидно, на него гусли произвели впечатление, хотя он молчал. Ольга Васильевна восторженно улыбалась.

— Какая прелесть! — шепнула она Мифочке и не знала, что бы можно еще сказать, но видно было, что она желала что-то добавить.

— Дедушка, а ты не поешь? — спросил Мифочка, когда старик в задумчивости сделал опять небрежный перебор струн, готовясь к новой песне.

— Ни, — ответил старик, мотнув головой. — Голосу нету.

— Сыграй еще, Илья Михеевич, — сказал Панфилов.

— «Долину ровную»? — осведомился тот. — Али «Матушку»?

— Что знаешь.

— Ну, «Долину».

Для чего было петь, когда тоскующая струна звучала слаще всякого голоса? Под руками Ильи Михеевича гусли казались не инструментом, а живым русским сердцем

народным, где скорбь, веками нажитая, переродилась в сладкую песню. И томит и ласкает слух эта певучая задумчивая струна, и вливается песня мягкой волной прямо в душу и просит ответа, и во всякой душе готов ей ответ.

Бряцали и ныли медлительные аккорды, а какая-то тоненькая струнка, пробиваясь иной раз через общий гул, звенела так упоительно, точно заливалась горючими слезами о тех молодых подружках, которых нет около высокого развесистого дуба, что стоит один-одинешенек «среди долины ровные, как рекрут на часах».

И почему-то всякому припомнилось его собственное прошлое, с тихими неповторяющимися радостями, и у всякого шевельнулась на сердце сладкая грусть.

«Ничего нет горше для человека, как вспомнить свое счастливое время...»

И это счастливое время было у всякого. Было — и нет его. Закатилось оно, как солнце вечернее, когда глядишь в потухающую даль и жалко становится дня, утраченного напрасно. Неизвестно, кто и что чувствовал в это время, но все сидели в задумчивости. Тирман опустил голову на руку, точно закрываясь от солнца, которое играло на его перстне с маленьким лучистым камешком. Рыжий купец, гладя бороду, глядел в потолок; Ольга Васильевна вслед за мотивом покачивала головой и чуть заметно шевелила носком башмака. На лице Матвея Матвеевича сияла улыбка, но не та, что раздвигает губы во время веселья; это была редкая улыбка, озаряющая лицо человека только в минуты тихой душевной радости.

Едва гусляр окончил песню, как Панфилов и Леонид, точно сговорившись, воскликнули одновременно:

— Псалом! Сыграй псалом!

— В самом деле, псалом! — сказали и прочие, которым эта мысль очень понравилась; но старик отвечал с видимым сожалением:

— Место не такое, господа хорошие! — и громко вздохнул, как бы жалуясь. — Трактир-с!..

Это замечание заставило всех оглядеться. И вся обстановка мгновенно опошлилась в их глазах, все стало нелепо, мерзко — и эти круглые полоскательницы с плавающими разложившимися окурками, и недопитые чашки, и этот барин на стене, — все стало грубо, гадко; не хотелось смотреть.

Панфилов вынул из кошелька два серебряных рубля.

— Держи, Илья Михеевич!

— Благодарю покорно!

Пока давали что-то другие, Матвей Матвеевич сказал, ни к кому не обращаясь:

— Ну, я пойду!

И, усаживаясь в повозку, строго спросил ямщика:

— Можешь ты ехать проворно?

— А что ж! — согласился тот. — Можно.

— Ну, так жарь во все лопатки! Вот тебе рублевка.

Чуваш засуетился, вспрыгнул на облучок и действительно так погнал по городу тройку, что бродившие куры с криком бросились в разные стороны.

Опять выехали на Волгу. День блистал во всей своей красоте.

Анютин и Кротов, наслаждаясь в своей повозке полнейшею свободою, то и дело передавали по очереди друг другу бутылку с коньяком и, наконец, вспоминая гусли, запели «Среди долины ровные». Голоса их раздавались на далекое пространство, но были дики и резки; и так как это были два баса, а старались брать во что бы то ни стало теноровые ноты, то и ревели оба, как заблудившиеся коровы.

— Кто их там режет! — сердито сказал Матвей Матвеевич.

Бородатов сейчас же привстал и высунулся из повозки. Увидев его, певцы еще сильнее заголосили, но он погрозил им кулаком, потом махнул рукою. Те поняли, в чем дело, и пение прекратилось.

V

На каждой станции чуваши менялись.

Пока Панфилов раздумывал о своих делах, а Бородатов, зевая по сторонам, придумывал от скуки повод, чтобы придраться еще раз к чувашу и посмеяться над его простотой, ямщик все прислушивался к повозке, все крутил головой и, наконец, сказал седокам, доехав до Криушей:

— Погода меняется.

— А что?

— Не скрипит.

Действительно, полозья уже не скрипели и белоснежная равнина не блистала мелкими искрами, как было поутру, но холодно было по-прежнему.

— К ночи распустит!

Но ночь была еще не близка.

Солнце едва начинало склоняться к западу, когда, миновав Курочкино, подъезжали к Свияжску. От него рукой подать до Казани, и эта мысль занимала путников больше всего.

— А что, Василий Иванович,— сказал Бородатов, придумав, наконец, шутку над ямщиком,— отъехали мы теперь половину станции?

— Во здесь половина,— указал тот кнутом на дорогу.— Проехали половину!

— А которая половина больше, Василий Иванович, та, что проехали, или та, что осталась?

Чуваш, не разобрав всей коварности вопроса, ответил попросту:

— Эта половина побольше против той половины.

Бородатов захохотал.

— У него даже половины не одинаковы!— восхищался он перед Панфиловым.

— Верно, верно,— возразил снова чуваш,— новая половина будет побольше.

Проехав еще немного, ямщик, вероятно, сообразил, что над ним посмеялись, и пожелал отомстить.

— Купец,— обратился он к Бородатову,— куда, по-твоему, дальше: с Чуксар на Свияжск или с Свияжска на Чуксары?

— А что?

— Да так.

— По-моему, все равно.

— А как же так: с рождества до пасхи — вон сколько, а с пасхи до рождества — э-ге-ге сколько!

И оба они стали смеяться: Бородатов над чувашом, а чуваш над Бородатовым.

Чем ниже опускалось солнце, тем желтее становились его лучи, и закат нисколько не походил на вчерашний. Горизонт не рдел, как вчера, ярким румянцем, а весь окутался легкою серою дымкой, и зарево было желто, точно больное. Эта желтизна широко разлилась по небу, почти до зенита, и гляделась в стекла свияжских построек, отражалась на стенах и крышах, отчего и весь город казался каким-то желчнобольным. Желтолицые татары встретили на почтовой станции тройки и громко заболтали про них непонятные речи.

— Живей, живей, князь! Некогда дожидаться!— крикнул им Матвей Матвеевич.

Два татарина махнули ему рукой, и никто ничего не ответил. Сравнительно с чувашами, это были гордецы и упрямцы. Даже когда тройки были готовы, ямщики залезли на облучки не по-ямщицки: осторожно и расчетливо, чтоб усесться удобно.

Подобрав вожжи, татарин издал сердитый гортанный звук, похожий на «ы», и крепко ударил кнутом. Лошади тронули.

Сильно вечерело; но в воздухе заметно становилось теплее.

— Послушай, князь, — сказал Тирман, — отсюда ведь есть на Казань прямая дорога, минуя Услон?

— Есть.

— Валяй по ней. На чай получишь.

— Не можно, — ответил татарин таким решительным тоном, после которого уже не на что было надеяться.

— Три рубля дам, — соблазнял его Тирман.

— Не можно: вьюга была, — повторил ямщик и сердито зарычал на коней: — Ы! ы!

В какие-нибудь полчаса вечерние сумерки сменились совершенною темнотою. Ни звезд, ни луны не было на черном небе — скучно делалось на реке. Повозки ехали тихо, лошади часто фыркали и щелкали задней подковой о переднюю. В воздухе становилось сыро и знойно. Насилу добрались до Услона, который стоит на высоком берегу Волги. Отсюда днем видна была бы Казань как на ладони, но теперь среди темноты только блестели стройными линиями огненные точки.

Огни эти сливались в широкую таинственную картину. Впереди была уже не почтовая станция, не торговое село с мелькающими огоньками, а целый город, освященный исторической славой. Не так ли, казалось, во тьме ночной стоял Грозный царь, дожидаясь рассвета с своею ратью? Не сюда ли направлены были черные пасти орудий, где теперь заманчиво и мирно мелькают и тянутся по всем направлениям огненные точки, словно брызги великого несокрушимого пламени — прогресса!.. Нет, это не та Казань, стены которой в густом дыму взлетели на воздух, не та Казань, метавшая стрелы и камни, лившая на врагов горячую смолу. Та Казань далеко, за несколько верст от этой, и подо льдом журчит у следов ее речка Казанка, журчит о седой древности, о славных царях и диких набегах...

— Ну, господа, в дорогу, в дорогу! — заторопился Пан-

филов. — Не видали мы, что ли, хороших видов! Не в первый раз едем.

И повозки тронулись дальше.

Спустившись по страшной крутизне, переехали Волгу поперек и затем помчались по твердой земле. Городская жизнь чувствовалась на всяком шагу. Встречались экипажи, извозчики и даже пешеходы. После волжского безлюдного пути все это действовало отрадно... Встречные окрики, огонек папироски и голоса прохожих усиливали нетерпение. Вечерняя темнота загородила от взоров пирамидальный памятник над братской могилой воинов, стоящий одиноко, вдали от городской черты. Но вот миновали уже летние загородные сады, занесенные снегом, промчались мимо катка и ледяных гор — и вот она, желанная Казань! Вот замелькали фонари и освещенные окна; повозки, сделав несколько поворотов по улицам и переулкам, въехали, наконец, во двор почтовой станции. И все спешили в теплую горницу сбросить с плеч дорожные шубы и заморить голодного червячка.

Во время еды, заметив на стене огромную желтую афишу, Тирман радостно воскликнул:

— Матвей Матвеевич! Да сегодня ведь «Фауст» в театре!

Он проворно подбежал к стене и начал водить пальцем по строчкам.

— Смотрите, смотрите, с каким составом! Не взять ли билеты? Конечно, господа, сходим в театр! Время есть. Напьемся чайку, да и марш!

— Я с удовольствием, — согласился Сучков.

— И я не прочь; только мне нужно на минутку в Богородицкий монастырь заехать, — сказал Панфилов и обратился к приказчикам. — Пойдемте!

— Ну, что монастырь! Бог с ним совсем! — соблазнял Тирман. — Лучше чайку стакан да прямо в театр.

— Традиции, господа, — извините. Все предки езжали. И я не могу иначе.

С этими словами Панфилов вышел из комнаты, а за ним и приказчики; Сучков тоже ушел по каким-то делам вместе с своим приказчиком, осведомившись еще раз у Тирмана:

— Так, значит, увидимся в театре?

— Конечно, конечно!

А когда все ушли, Тирман весело потер руки и проговорил с усмешкою:

— Ишь ты, народ какой музыкальный!

Ольга Васильевна, всю дорогу не обращавшая внимания на своего мужа, очень удивилась и обиделась, когда тот заявил, что ни в театр не пойдет, потому что страшно устал, ни дальше не поедет, а будет ночевать в Казани.

— Что за глупости ты выдумал — ночевать! С какой радости? Все поедут, а мы ночевать!

— Сама знаешь, мне иначе нельзя. Нужно Казань осмотреть, потом визит генералу необходим... Вот только где ночевать, — вопрос?

— Позвольте посоветовать? — сказал Тирман. — Возьмите извозчика, он вам покажет две-три гостиницы; когда отыщете номер хороший, возвращайтесь сюда за супругой и багажом... А мы тем временем вас, сударыня, покараулим! — улыбнулся он Ольге Васильевне.

Леонид с озабоченным лицом начал рыться в карманах, вытащил несколько серебра, опять убрал его, заглянул в бумажник и стал одеваться.

— Так ты меня здесь дожидайся! — сказал он жене.

Кумачев сидел, задумавшись; ему было на что-то досадно. Не то усталость тяготила его, не то печалила скорая разлука с Ольгой Васильевной, которая, заметив его хандру, подошла и, погрозив ему пальцем, сказала:

— Вас растрясло? Что вы такой кислый?

Без мужа она стала еще бойчее. Шалила, как гимназистка, топала на Мифочку ногами, обвязала его салфеткой и заставила что-то съесть.

Тирман только рукой махнул и решил, что ему здесь делать нечего.

— Пока до свидания! — сказал он, вставая. — Позвольте, сударыня, оставить моего юношу на ваши заботы. Не обижайте его без меня, а я через полчаса вернусь. Ровно через полчаса, Мефодий Иванович! Прощайте!

Ни Кумачев, ни Ольга Васильевна ничего ему не ответили. Они взглянули друг на друга, и оба засмеялись.

— Вы меня будете слушаться? — строго сказала она. — Вас оставляют под моим покровительством, берегитесь!

Мифочка повеселел.

— Не будьте к нему строги, — шутливо добавил Тирман уже в дверях. — А вы, Мефодий Иванович, поцелуйте ручку, чтобы вас не наказывали!

И с этими словами ушел, затворив дверь и подумав о городе Малмыже, которому судьба посылает такую инспекторшу.

VI

Монастырские ворота были заперты, когда к ним подъехал Матвей Матвеевич. Сначала приказчики подергали кольцо, потом Кротов начал стучать кулаком.

— Отоприте!

Но кругом все молчит,
Монастырь крепко спит...—

вспомнилось Панфилову.

Вскоре послышались торопливые шаги, и чей-то голос из-за ограды спросил:

— Кто тут?

— Доложите матушке-игуменье,— сказал Матвей Матвеевич, — что московский купец Панфилов, проездом в Ирбит, желает помолиться.

Шаги начали удаляться, а через несколько минут послышался говор монахинь. Звякнули ключи, заскрипели тяжелые ворота, и перед путниками предстали старый сторож, мать-казначея и молодая послушница с фонарем в руках. Панфилова принимали здесь всегда очень почтительно: каждый год заезжая, он оставлял монастырю кое-какую лепту.

— Спаси вас царица небесная! — сказала мать-казначея, кланяясь чуть не в пояс. — Пожалуйте, батюшка, пожалуйте.

Мрачен и угрюм казался собор; таинственная мгла висела под куполом.

Икона древнего греческого письма была закована в золотую ризу, и брильянтовая корона над нею сияла мягким лучезарным блеском от множества неугасимых лампад.

Панфилов, а за ним и другие молча перекрестились, поцеловали икону и, не разговаривая, вышли из храма.

— В театр! — сказал Матвей Матвеевич, садясь в сани.

Начался уже второй акт, когда путники, взяв билеты в последних рядах кресел и смущаясь дорожными костюмами, стали пробираться на свои места. Фауст пел уже каватину, и Панфилов, недовольный шумом, который сам же производил, пролезая по ряду, сердился на публику, не убиравшую своих колен, а только шипевшую на него

за беспокойство. Опустившись на стул, он огляделся и, заметив невдалеке Сучкова, улыбнулся ему.

Фауст был очень хорош и знаменитое «до» взял так легко и красиво, что каватину заставили повторить. После одинокой безлюдной дороги и после всей массы разнообразных впечатлений было странно сидеть в многолюдном собрании и слышать гром аплодисментов.

Мефистофель зато был чересчур нелеп в каком-то пестром костюме и грубом, непозволительном гриме, отчего и казался паяцем.

«Посмотрим, чья победа!» — пропел Мефистофель и, взявши Фауста под руку, увлек его за кулисы. Эта фраза заставила Матвея Матвеевича оглядеться, и, пока сцена перед выходом Маргариты оставалась пуста, он всматривался в публику, ища глазами Тирмана, а в мыслях гвоздем засела мефистофелевская фраза: «Посмотрим, чья победа!»

Вошла Маргарита, с традиционной длинной косой, в белом платье, с сумочкой, висевшей ниже колен, и мечтательно запела про незнакомца-юношу, а потом села за прялку. Действие проходило своим чередом, не возбуждая особенных восторгов. Явились опять Мефистофель с Фаустом, взяли под руки один Марту, другой Маргариту и пропели квартет. Мефистофель делался с каждой минутой несносней, к тому же он не выговаривал какой-то буквы, и Панфилову хотелось его освистать.

Но как хорошо было глядеть на этот зеленеющий сад, погруженный в тихий сумрак! Вот пробились лунные лучи, вот Маргарита упала в объятия Фауста; зажурчали тихие влюбленные речи... «О, ночь любви!» — пел Фауст, обняв Маргариту, но видно было, как он скосил глаза на дирижера, маленького лохматого человека, который, медленно взмахивая своей палочкой, весь устремлялся вперед, точно собираясь вспорхнуть и улететь.

В антракте, встретясь с Сучковым, Матвей Матвеевич спросил его, здесь ли Тирман.

— Не видать... Либо здесь, либо спит: у него ведь даром время не тратится.

Далее разговор перешел на оперу. Впечатление обоих было нелестное, и они решили больше не слушать.

— Где Тирман? — спросили по приезде на Вольную почту.

— Нету-с, — ответил слуга.

— А не сказал, куда он поехал?

— Оделись и поехали. В восемь часов еще собрались.

Панфилов стоял, вытаращив глаза.

— А повозка? — выговорил он со страхом.

— В повозке поехали, ваше степенство.

Матвей Матвеевич вспыхнул и, подняв обе руки, потряс над головой кулаками.

— Ах я старый дурак!! — вскричал он в негодовании.— И как я не раскусил этого лукавого Тирмашку!.. Надул! Опять надул!.. И как я не догадался! Сколько мы времени потеряли напрасно! В восемь часов удрал, а теперь?..

Он вынул часы.

— Не догонишь! Теперь далеко... не догнать! — говорил он чуть не плача.

— Да полно, Матвей Матвеевич, — успокаивал его Сучков.— Видите, какая погода. Дорога испортилась, по такой дороге далеко не ускачет.

— Нет, как я попался, как я попался! Словно мальчишку надул. И догадало его подсунуть мне эту чертову афишу!

Он дернул афишу за угол и сорвал ее со стены.

— Все равно, Матвей Матвеевич, давайте закусим на скорую руку, да и марш вдогонку.

Подали ужин, но Панфилову не пилось, не елось.

— Ах этот Тирмашка несчастный!

Однако плотный ужин и хорошее вино успокоили его настолько, что, садясь в повозку, он сказал Бородатову:

— Ну, теперь остается только спать!

Погода была гнилая. С неба что-то сыпалось, не снег, не дождик, а какие-то мокрые и жесткие брызги.

Сначала ехали городом, и, когда миновали так называемую Швейцарию, прилегающую к Казани, повозки погрузились во мрак.

Ночь была черна. Лошади бежали осторожно. Путь лежал уже не по Волге, а по твердой земле. Ямщик боялся сбиться и сдерживал тройку, часто перекликаясь с задними ямщиками. Мороза не было, но ветер ходил винтом и забирался под шубы. Колокольчики надоедливо верещали, особенно по ухабам, откуда насилу вылезали повозки.

До Собакина еще кое-как добрались, но дальше пошла такая дорога, которую даже татары ругали по-русски, а путники бранили татар. Матвей Матвеевич выходил из

терпения, но, как на грех, то коренник распряжется, то пристяжная перескочит постромку, или повозка так засядет в ухабе, что лошади по нескольку минут бьются на месте, прежде чем ее вытащить; приходилось даже вылезать из повозок.

— Ну-ка! — говорил тогда бесцеремонно татарин, — выходи, бачка!

Когда же распрягся коренник и пришлось дожидаться, пока его приводили в порядок, Панфилов истощил весь запас вразумительных слов, и ругаться начал уже Кротов, который знал откуда-то много татарской брани. Длинная ночь, безжалостно длинная, скучная, сырая, казалось, завладела всем миром и не думала никогда проходить. Едешь-едешь, а все вокруг прежний мрак, и с неба все что-то сыплется, и ветер бегает по полю, и слышится шум за повозкою, словно чей-то хвост метет за собою падающий снег...

Усталость взяла свое. Опустили зонты, подняли фартуки и стали дремать под скучную песню начинающейся вьюги.

Матвей Матвеевич спал как убитый, не просыпаясь даже на станциях, когда в повозку впрягали свежих коней. Когда он открыл глаза, был уже день. Он рассеянно огляделся, как бы стараясь что-то припомнить, и видно было по этим неуверенным взорам, что впечатление какой-то грезы не успело еще остыть.

— Где едем? — спросил он Бородатова, протирая глаза.

Но Бородатов сам только что проснулся и в свою очередь спросил ямщика:

— Где едем?

Не оборачиваясь, татарин поднял руку и указал на видневшиеся вдали сквозь голые прутья деревьев первые постройки уездного города.

— Вон он, Малмыж!

День был хмурый. Серое небо с бродячими рваными тучами словно обвисло от гнетущей тяжести и готовилось опять порошить снегом. Сухой ветер налетал порывами, ударялся в задок повозки и пропадал надолго. Когда, проехав городом, вошли на почтовую станцию и Панфилов увидал смотрителя, то первое слово было про Тирмана:

— Давно ли проехал?

— Тирман?.. Давно. В пять часов утра были здесь, —

сказал смотритель, справившись по книге. — И есть ничего не стали; перепрягли лошадей — и дальше!

— Черт знает что за человек! — пожал плечами Панфилов и обратился к Сучкову. — А вы говорите — догоним!

В комнате за столом сидело несколько человек; разговор у них начался, вероятно, давно, потому что нельзя было понять, из-за чего они спорили. Развалившись на широком стуле и лихо заложив ногу на ногу, сидел пожилой господин в теплой венгерке, без погонов, но с георгием на груди, с пухлыми, точно от флюса, щеками, усатый, с широкой плешью. Должно быть, этот господин в своей жизни накуролесил немало: это замечалось по его толстому носу, разрисованному, как драгоценная ваза, мелкими красненькими узорами; наконец, по его хриплому громкому кашлю было заметно, что его богатырское нутро сотни раз простуживалось, прокапчивалось табаком и выжигалось всеми средствами, какие только ведомы акцизным чиновникам. Перед ним сидели два еврея: черноглазый безусый юноша с оттопыренными ушами и седой старик с горбатым носом. Юноша молчал, а старик спорил и горячился; возражая, он то съеживался, то, растопырив пальцы, откидывался всем корпусом в сторону, точно защищаясь обеими руками от своего усатого собеседника, лихо сидевшего на стуле и глядевшего веселыми круглыми глазами.

Еврей доказывал, что евреи необходимы России, что без евреев заглохнет промышленность, а военный говорил что «всех вас нужно прогнать».

— Мне ужасно удивительно, как образованный человек может так говорить!

— А ты слыхал пословицу: «Жид сам бьет и сам кричит». И всегда вы так: запутаете человека разными гешефтами, облупите его, надуете и сами же кричите, что вас притесняют. Именно так: жид сам бьет и сам кричит!

Еврей страшно разволновался, выслушав это. Он всплеснул руками, и глаза его заблестели.

— Жид сам бьет и сам кричит! — воскликнул он в ужасе. — Господин полковник! Ай-ай, господин полковник, какой это срам говорить такую пословицу! А вы знаете, почему такая нехорошая поговорка стала на свете? А вы знаете, господин полковник, откуда такая поговорка? Был на свете один очень глупый пан; у пана была дочь, кото-

рая сходила с ума. Один глупый доктор приказал, чтобы сумасшедшая панна всегда веселилась... И вот тогда сделали какое дело: взяли еврея, одели его в длинный кафтан, надели колпак, в руки дали палку и привели еврея на двор. А на него выпускали стаю собак. Собаки рвали его со всех сторон за кафтан, бедный еврей бил собак палкой и кричал на весь двор. Я думаю, всякий будет кричать, когда его рвут собаки! А безумная панна сидела у окошечка, и хохотала, и говорила всем: «Вот какой жид — сам бьет и сам кричит!» Вот, господин полковник, откуда такая глупая поговорка!

В это время его увидал Сучков.

— А, Матвей Иванович! — сказал он, подходя к нему и протягивая руку. — И ты с нами на ярмарку?

Еврей, очевидно, был рад, что пришли посторонние, и сейчас же пустился в веселые разговоры с Сучковым.

— Вы не забыли старика Левенштейна? Это его внучек, — говорил он, указывая на молодого еврея. — От дедушки сын, от сына еще сын. Ого! Вот какой старик Левенштейн! — И, желая пошутить, добавил: — дедушка — капитал, отец — процент, а этот — процент на процент.

Молодой еврей при этом начал улыбаться все шире и шире, а военный, глядя на него, прыснул вдруг со смеху, и солидный живот его заплясал по коленям.

В комнату вошли еще двое: мужчина в старой рыжей енотовой шубе и дама необыкновенно крепкого сложения. Это оказались артисты: мужчина был фокусник, а дама — силачка, «девица-геркулес», как она называлась в афишах. Такие артисты за стакан водки никогда не откажутся в зимнюю стужу потешить попутчиков, и когда Сучков предложил им «погреться», то фокусник, прежде чем выпить, накрыл шляпой рюмку, где потом вместо рюмки оказалась перчатка.

— Вот это, брат, люблю! — воскликнул военный. — У нас тоже в полку был один... так тот, чертов сын, у меня в сапоге яичницу сделал! Настоящую яичницу — с луком!!

Фокусник не долго думая достал из кармана колоду карт и подал военному, щеголяя массой перстней с поддельными камнями.

— Прошу заметить одну... Вот так! Держите всю колоду двумя пальцами. Вот так! Ну, ейн, цвейн, дрей!

Он сильно ударил рукой по колоде, которая вся раз-

летелась по полу, и только замеченный валет остался у военного в пальцах.

— Ах ты, черт тебя забодай! — весело крикнул военный.

Фокусник еще много показывал разных штук, так что его и «девицу-геркулеса» пришлось угощать обедом.

VII

Время летело быстро. Закусив в Малмыже, Панфилов уже нигде более не оставался подолгу, и, когда солнце стало клониться к западу, тройки мчались от последней деревни, приближаясь к вятским дремучим лесам, которые тянутся непрерывно на сотни верст.

Маленькие пузатенькие лошадки, гнедые с черными гривами, черными хвостами и такими же черными полосками по всему хребту, лихо несли повозки, так лихо, как не ездят еще нигде в России. Ямщик татарин даже не трогал кнута, а лишь покрикивал на них, называя их крысами.

Уже алели верхушки дремучего леса и жуткая просека разинула свою пасть, как гигантское чудовище, и страшно было погружаться в ее недра.

Сразу стало темнее и глуше, едва въехали в эту просеку. Меткое народное слово недаром зовет такие леса дремучими. Старый непроходимый лес темен и страшен, хмур и задумчив. Седые сосны стоят сторожами по обе стороны просеки, а дальше — мрак и тайна.

Мчится тройка во весь дух по гладкой скрипучей дороге, звенит колокольчик, пофыркивают шустрые лошадки, но уже нет того раздолья, нет той свободы, что по широкой Волге: гнетет и давит окольная чаща. Старые косматые ели и толстые сосны, отягченные снегом, хмуро следят и провожают взорами резвую тройку, — куда мол, летишь?.. А солнце все ниже опускается, и в лесу становится мрачнее, мрачнее, и начинает трогать душу нелепое предчувствие.

— Абзы! — сказал Бородатов.

Ямщик обернулся. На этот оклик повернется с удовольствием всякий татарин.

— Спой, что ли, нам песенку!

— Для ча нет, бачка! На водку дашь?

— Да ведь вам Магомет запретил водку?

— Запретить запретил, а все, бачка, пьем.

— Ну, ладно, дам. Затягивай песню.

Татарин кашлянул, утерся и затянул грубым голосом, очень медленно, на двух нотах:

О... царь...
Царь... Иван...

Потом заголосил во всю мочь, на одной только ноте, быстро-быстро, как только может выговорить язык:

Царь Иван Васильич Грозный
Казань-город брал!

Потом опять медленно и грубо продолжал тягучий припев, опять на двух нотах:

Красный баш-мак!..
Красный баш-мак!..

И вся его песня была в таком роде, с теми же тягучими двумя нотами в начале, с тою же одною зазвонистою скороговоркой и тем же тягучим припевом.

Между тем зубчатые верхушки леса, рдевшие под косыми лучами, начинали бледнеть и сереть; иногда они вдруг потухали совсем, когда плывущее облако загораживало солнце, а то вдруг опять вспыхивали умирающим светом, но все слабее, слабее, и все угрюмее становилась лесная чаща, и тусклая тень ложилась впереди дороги. Но небо было светло, и думалось, что где-то далеко в стороне, на просторе, сияет еще день, а здесь уже сгущались сумерки, и мохнатые вершины тихим шумом возвещали о вечере, и в ответ им так же тихо скрипели голые стволы сосняка и крепче задумывались угрюмые ели, раскинувшие во все стороны свои косматые ветви.

Приказчикам было скучно. Кротов свирепо глядел по сторонам, досадуя на свою бедность: вот бы из этакого леса да построить себе палаты!.. Анютин тоже глядел на лес, тоже всматривался в чащу и вспоминал прежнее разбойничье время да современные сплетни про некоторых известных купцов-миллионеров, у которых деды содержали здесь постоялые дворы...

— Не выпить ли? — внезапно толкнул он Кротова, начиная завидовать этим безгрешным потомкам.

Наливши стопку коньяку, Анютин залпом осушил ее и так от удовольствия крякнул, что даже ямщик обернулся и с минуту молча глядел, улыбаясь во все лицо, как Кротов наливал себе и затем тоже выпил, запрокинув голову.

— Что глядишь?— окликнул его Анютин.

Татарин молчал и продолжал улыбаться.

— Больно якши!— сказал он, наконец, с таким удовольствием, будто сам только что выпил.

— Недурно!— похвалил Кротов, поглаживая себя по шубе.— Так, знаешь, и пошел огонек по жилам.

— Больно якши!— повторил татарин и вытер себе губы.

— Что ж утираешься?

Но татарин опять ухмыльнулся и, взглянувши мельком на лошадей, снова повернул к седокам свое скуластое темное лицо, с подрезанными усами и густою, как щетка, бородою.

— Приказчики?— спросил он, выговаривая «брыкасшики».

— Приказчики. А тебе что?

— Ничего,— ответил лукаво татарин и опять улыбнулся.— Хозяин едет — водку пьет, а нас не потчует, а брыкасшик сам пьет и нас потчует.

— Да, так тебя попотчевать?

Тот весело и широко улыбнулся, даже глаза у него зажмурились от удовольствия... Но когда Кротов хотел налить ему коньяку и он увидал бутылку, то, махнувши рукою, сказал:

— Не могу вино. Водку могу.

— Вот еще какие капризы!

— Закон не велит.

— Полно врать!— рассердился Кротов.— Пей, что дают! Все равно у вас закон ничего не велит: ни вина, ни водки, а вы ведь пьете не хуже нашего брата!

— Ничего,— успокоил его Анютин, наливая в стопку.— Это тоже водка: перцовка; видишь, желтая. Сам настаивал для дороги.

Татарин заколебался и нерешительно принял из его рук чарку. Выпив, он сильно крякнул и сильно потряс головой.

— Больно якши!— восторженно сказал он, утирая губы.— Спасибо! Больно якши!

— Ну, теперь рассказывай, почему тебе водку пить можно, а вино нельзя?

Чувствуя себя обязанным перед ними, татарин подумал, как бы рассказать покрасивее, и начал поэтому издалека:

— Шел пророк Магомет... Вот он шел и видит: люди сидят, вино пьют. И все целуются и обнимаются... Вот Ма-

гомет говорит: «Ишь вино — больно хорошо! Надо велеть всем его пить: все будут целоваться и обниматься, все братьями будут — больно хорошо!..» Потом Магомет шел назад. Видит: люди все пьяные, и ругаются, и дерутся... Магомет тогда сказал: «Нет, вино — скверное дело! Сперва больно хорошо! Потом больно гадко!..» И запретил пить вино.

— А водку?

— Водки тогда не было,— ответил татарин совершенно серьезно.— Про водку закон ничего не велит. Водку пьем, а вино нельзя. А старики у нас и водку не пьют.

В воздухе стояла непонятная тишина. Было глухо, почти мертво, но не было тихо, потому что неуловимые звуки исходили от бора; они не слышались, а скорее ощущались, как ощущается слухом в пустой комнате присутствие живого человека, который молчит и даже не шевелится; но есть что-то слышное в самой жизни. Обманывает ли зрение, обманывается ли слух, но только никогда, ни в какую пору не бывает совершенно тихо в густом лесу, хотя бы не дрожал от ветра ни единый лист, ни единая хвоя. Вон свалившаяся сосна; лет двести росла она тут — огромная, серая; свалил ее ураган и выворотил вверх корнями. Но не ему бороться с вековыми лесами! Зацепили сосну товарищи за курчавую голову и держат на своих плечах, и не упала она трупом на землю, а легла поперек, как больная; а к торчащим корням ее протянула мохнатую лапу соседняя елка; еще год — и дотянется она до корней и закроет их товарищескою рукою от посторонних взглядов и злых непогод.

— Отмахали станцию!— весело воскликнул татарин, снова обернувшись к Кротову и улыбаясь во все лицо.— Греться будем! Водку пить будем!.. Гайда!!— крикнул он на коней и весело захлопал руками.

Действительно, вскоре показалась станция, с старинным острокрылым орлом наверху, а за нею раскинулся поселок, дворов в пять или в шесть.

Когда вошли в комнату, там за столом сидел молодой смотритель в расстегнутом сюртуке и ерошил волосы, которые и без того были уже все спутаны. У него было сумрачное, точно грязное, усталое лицо и взгляд был рассеян и зол. Казалось, смотритель был пьян. Взглянув на при-

езжих, он не переменил своей небрежной позы и продолжал ерошить волосы.

— Лошадей поскорее! — сказал ему Панфилов.

Видя, что народу немало, смотритель спросил утомленным голосом, в котором чувствовалась досада и рассеянность:

— Сколько вас там?

— «Сколько вас там?» — невольно передразнил его Матвей Матвеевич, начиная сердиться.— Мы не бараны, чтобы нас отсчитывать поштучно! Вам говорят, лошадей!

— Да сколько, сколько?

— Три тройки, да поскорее!

— Столько нету,— заявил смотритель и, вставши, направился к двери.

— Господин смотритель!— строго остановил его Панфилов.— Потрудитесь достать лошадей: у меня курьерская!

— Говорю, сейчас нет. Подождите!

— Это не мое дело!— разгорячился Матвей Матвеевич.— Что за безобразие! Пожалуйте лошадей, я знать ничего не хочу!

— Ради бога, потише,— сказал на это смотритель вялым и ленивым голосом, видя, что Панфилов начинает сердиться и повышать тон.

— Нет, не потише, черт побери!— ответил тот уже вовсе громко.— Знайте свою обязанность!

На беду, в дело вмешался мужик, стоявший до этого у печки. Он подошел к Панфилову и тихо, точно по секрету, начал шептать ему:

— Будьте покойны! Сейчас вернется... По своему делу поехали... Да что ж, Михайло Кузьмич,— обратился он к смотрителю,— ведь можно это сейчас...

Но Панфилов не дал ему даже докончить. Едва он услыхал, что лошадей куда-то угнали по своему делу, как закричал на смотрителя:

— Как же вы смели? Как вы смеете! Тут курьерские, а вы по своим делам!

Сучков и Бородатов тоже накинулись на него с упреками; поднялся страшный шум. Смотритель только весь сморщился и замахал руками, а мужик все вздыхал: «Ах ты, господи! Да постойте! Да ведь это...» Но его шепота не было слышно среди других голосов.

— Не кричите вы, ради бога!!.— закричал уже сам смотритель тонким, взвизгнувшим голосом.

Он подошел к Панфилову и добавил совершенно тихо:

— Здесь,— указал он куда-то,— умирает мой сын... ребенок... У меня голова мутится... Вон Савельич все сделает вам... Я ничего не знаю... Сын умирает... единственный!.. Отправил за доктором... Ну, жалуйтесь на меня... ну, делайте что хотите!

Он опять замахал руками и опустился на стул. Мгновенно наступило молчание; все переглянулись. Только тут заметили, что смотритель был страшно бледен, даже как будто позеленел. А мужик опять зашептал Панфилову:

— Сейчас все устрою... Три нужно? Две-то найду, а вот третью... Нешто у Сидора взять? Али к Кривому сбегать?.. Небось Сидор услал... Ах ты, матушки мои, светы! Одною минутой, господа, обождите!

И мужик, пыхтя и шепча, осторожными, но торопливыми шагами направился к двери и скрылся. Все чувствовали себя неловко. Чужое горе подействовало на них удручающе. Может быть, им стало совестно за свои крики, может быть, всякому пришла на мысль своя семья, с которой тоже неизвестно, что теперь делается!

— Извините, пожалуйста,— сказал Матвей Матвеевич, подходя к смотрителю.— Кто же знал, что у вас семейное горе и что ребенок больной. Я не стал бы кричать.

— Единственный!— ответил на это смотритель и опять начал путать волосы.

Все молчали.

Анютин осторожно толкнул Кротова и, когда тот обернулся, мигнул ему в сторону, где была выходная дверь, и оба затем вышли осторожными шагами на двор к повозкам. Туда же пришел и сучковский приказчик. Говорили все тихо, серьезно, точно боялись нарушить покой больного, хотя и стояли под открытым небом.

Вскоре вернулся мужик и привел лошадей. Сбежались ямщики, и в четверть часа повозки были готовы.

— Ах, матушки мои, светы! Эко дело какое!— шептал суетливый мужик, хлопоча около лошадей и бегая вокруг повозок.— Одно — к Кривому идти!.. Лошадищей вот сколько!.. Эко дело несчастное! Лекарей этих тоже... легкое дело!..

И, когда все было улажено, он побежал с докладом. Все вышли, разместились по повозкам и молча тронулись в путь. Было уже темно. Лесная дорога стелилась гладко и ровно. На небе мерцали звезды, но часто заволакивались плывущими тучами. Иногда выглядывал молодой месяц; за эти двое суток он значительно пополнел, хотя все еще был

похож на шаловливого мальчугана, старавшегося залить своим серебром всю землю, но черные тучи одна за другой наползали на него, как старые няньки, и он пропадал за ними, но вдруг опять выскальзывал и шалил, расточая серебро на верхушки леса, на дорогу, на придорожные сосны, но не дерзал проникнуть в самую чащу, и там по-прежнему было темно и страшно.

Лунный свет всегда странно действует на душу. Когда летнею ночью выйдешь на широкое поле и заглядишься вдаль, где все молчит, все дремлет, то стоишь среди простора и понимаешь ясно в эти минуты, как ты одинок на свете, одинок и ничтожен. Какою бы ни была красавицею ночь, но глядишь на нее не как очарованный, но с тоскою, с вопросом. Ночь ли тебя вопрошает, ты ли вопрошаешь ее, но есть какое-то непонятное общение человека с этим бледным сиянием, с этими вековечными звездами, далью, с этим глубоким небом... Только не понимают твоей тоски ни небо, ни звезды, ни сияющая даль, и ты видишь, что они не понимают тебя. Может быть, оттого, что видишь все это, и становится на душе так печально.

А зимой? Среди леса? В тесной повозке?

Все вокруг приняло вздорный, фальшивый вид. Голые стволы сосен, загроможденные ветками елок, кажутся уродливыми великанами, снег кажется бледнозеленоватым, а высокий пень или куст делается похожим на человека, поджидающего тебя издали с недоброю целью. Все фальшивит, все не то, что есть, все обманывает, и начинает мало-помалу обманываться сердце. Впереди — спина ямщика, человека вовсе чужого, незнакомого даже лицом; сбоку — спящий сосед... он не убьет, не обманет, но он зато и не поймет тоски и одиночества, не разделит их. И томится в чужбине сердце о чем-то родном и взывает к бесконечному небу: «Брата!.. Друга!..»

Но поет колокольчик свою неугомонную песню под дугой, и сиротлива становится жизнь, точно кто-то насмеялся над нею, горько насмеялся и покинул тебя в одиночестве.

VIII

Иногда ляжешь спать лунною ночью, за окном так ясно и хорошо, а проснешься поутру, на дворе уже серая муть, и снег сыплется, как из решета, и глядишь в окно в недоумении: когда же все это случилось? Так думал и Матвей Матвеевич, когда поутру не увидал ни неба, ни леса,

а только мелькающий снег, который сыпался в таком изобилии, что сквозь него трудно было разглядеть, что делалось впереди дороги.

И он и Бородатов долгое время молчали, думая о погоде, о Перми, где можно будет пересесть в спокойные вагоны и отдохнуть в тепле от всех невзгод Сибирского тракта. Пришел на память Матвею Матвеевичу хитрый Тирман,— где-то он теперь рыщет? Вспомнился гусляр чебоксарский с его задушевными песнями,— хорошо бы еще их послушать!

— Трррр!! — закричал вдруг татарин, перебивая течение его мыслей, и тройка остановилась у станции, похожей как две капли воды на те, которые миновали еще вчера вечером; такая же угрюмая, серая с таким ж старинным орлом наверху, с такими же хрустящими под шагами ступенями, с тою только разницей, что здесь в маленькое оконце выглянула на проезжих женская головка, мелькнуло затем розовое платье; но когда вошли в комнату, там никого не было, кроме смотрителя, валялся лишь на окне недочитанный роман с вышитою по канве закладкой да около пустого стула лежал оброненный платок.

— Господин Панфилов! Как изволите поживать? Все ли в добром здоровье?— приветствовал смотритель Матвея Матвеевича, улыбаясь и слегка пригибая спину.

Панфилов с ним поздоровался, хотя и не помнил, что это за человек.

— Лошадей, пожалуйста, поскорей,— сказал он, распахивая шубу.— Да еще нет ли стакана воды?

— Лошади, господин Панфилов, в одну минуту будут готовы, а насчет воды,— возразил радушный смотритель,— господи боже, у меня самовар кипит! Воды, извините, не дам, господин Панфилов! Позвольте вас чайком угостить, не задержу-с! Ей-богу, не задержу!

Он ласково засмеялся и крикнул, повернув голову к двери:

— Сестрица! Сестрица!

В дверях показалась молодая девушка в розовом платье, с платком на плечах; вероятно, она стеснялась чужих и вышла с очень сердитым лицом, точно ее обидели.

— Подай поскорее чаю господину Панфилову. Милости прошу, господа! Насчет лошадей не извольте беспокоиться: сию минуту все будет готово. У меня задержек не бывает-с!

Он проворно собрал все лишнее со стола, спрятал не-

дописанный листок почтовой бумаги, но сейчас же опять его подвинул к Панфилову, сказавши:

— Мужичку письмо писал: сыну посылает. Темный народ! Неграмотны.

При этом он указал в письме на две последние строчки и весело, добродушно усмехнулся. Там было написано: «Лошадки тебе кланяются, три коровки тоже, четвертую продали...»

— Хи-хи-хи, какие поклоны!— сказал смотритель, принимая с видимым удовольствием папиросу из панфиловского портсигара.— Мужичок-то пишет от сердца, только читать смешно-с! Просвещения не имеет.

Когда девушка, стесняясь и краснея, подала Матвею Матвеевичу большой стакан чаю на огромном черном подносе, с толстою мельхиоровою ложкой, смотритель, видя ее смущение, сказал, не отрываясь от дела (он прописывал в это время подорожные):

— Скучает сестрица: людей не видит! Одичала совсем! Только книжками и развлекается, да у нас какие книжки — пустяки одни!.. А погодка-то, господин Панфилов, ведь вовсе, с позволения сказать, дрянь! Форменная дрянь!

— А взгляните-ка в книге,— перебил его тот,— когда здесь проезжал Тирман?

— Тирман-то?

Смотритель не только не взглянул на книгу, но даже бросил писать и повернулся к Матвею Матвеевичу.

— С Тирманом у нас, я вам скажу, целая катавасия вышла. Ей-богу, катавасия! Форменная катавасия! Помилуйте: подкатили это они к вечеру, часов этак около семи на вчерашние сутки. Я это с Тирманом занялся, тем да другим, а тут молодой человек остался. Прихожу назад — батюшки мои! так-то с сестрицей любезничают, шуры-муры да разные штуки... ведь какой тоже вострый!.. Попеняйте ему, молодому-то человеку: никогда у меня этого не бывало. Не едет, да и шабаш! Целая катавасия! Тирман торопится, а этот уперся. Такого промеж себя шума настроили, что того гляди подерутся. Никогда у меня этого не бывало, чтобы шум заводили проезжие.

Панфилов от души пожалел, что Мифочка послушался Тирмана: пусть бы подольше поспорили! И, допивши стакан, простился с смотрителем.

— Может быть, в последний раз, господин Панфилов, видимся. На возвратном пути, впрочем, заедете, а то скоро железная дорога пройдет — просвещение, святое дело!

Гибнем мы здесь, в глуши-то. Да не у нас ее проведут, нам от этого еще хуже будет: уж совсем никого не увидим тогда! Будьте здоровы! Счастливого пути!

На облучок залез татарин, сверкнув на лету зелеными пятками своих сапогов, и повозки снова тронулись в путь по запушенной свежим снегом дороге.

Где-то вдали на селе кончалась обедня. Звуки праздничного колокола доносились сюда вместе с ветром. Уже несколько верст отъехали от этого места, а все еще время от времени казалось, будто в воздухе разливаются звуки колокола. Это гудел лес тихим ропотом; но, гудя, он стоял строго, как великан, не трогаясь ни одним сучком, и только боковые сосны и ели качали укоризненно головами, точно стыдя ветер за его проказы с молодыми елками. И ветер стихал, словно пристыженный. Тогда снег сыпался спокойно и ровно на землю, и было очень тихо вокруг, пока опять не поднимался ропот и придорожные деревья опять не начинали своих споров с капризным ветром.

— Завтра будем под Пермью!— уверенно говорил Панфилов, видя, как мчатся по гладкой дороге шустрые вятки.— Авось каким-нибудь чудом Тирман застрянет в пути!..

Впереди уже открывался простор. Леса кончались с их таинственным гулом, суровостью и гладкою дорогой.

На просторе снег сыпался иначе, чем в лесу, и ветер гулял беззаботно по широкому полю, дуя то вправо, то влево — как вздумается.

Миновали станцию, где отняли вяток и дали русскую тройку, для которой понадобились снова и кнут и брань... Проехали еще станцию, где старый татарин, он же староста, умел выпивать не переводя духа столовый стакан водки — всегда на панфиловский счет. И на этот раз Панфилов не отказал ему в заведенном обыкновении, только просил дать ямщика получше.

— Не беспокойся, бачка, хорош будет!

И дал совсем пьяного, который свалился на первом же ухабе, так что Бородатову пришлось держать его за кушак целую станцию. Панфилов выходил из себя от досады и бранился без устали. Но ямщик, покачиваясь на облучке, весело вскрикивал на тройку, не признавая себя пьяным, хотя вожжи валились из рук, и глаза едва глядели, и голос был похож на мычание.

— Н-но! Но!— мычал он, стараясь поднять руку, на которой болтался кнут.

На всяком ухабе он страшно перегибался: спина вали-

лась назад, голова тянула вперед, и весь он, казалось, расчленялся по суставам, а ухабы были на каждом шагу. Несмотря на это, ямщик все бодрился и все кричал: «Н-но!» — и упрашивал Бородатова не беспокоиться и не держать его за кушак, уверяя, что для него это дело привычное.

Моросил снежок. Лихо катили сани, поскрипывая полозьями, весело покрикивали ямщики, и на далекое пространство разносился говор колокольчиков.

Начинало уже вечереть, когда путники пообедали на одной из станций и торопливо тронулись дальше. Грязное небо делалось все сумрачнее и как будто опускалось все ниже и ниже.

Мелкий снежок закрутился быстрее, гуще и вдруг повалил хлопьями. По деревьям, окаймлявшим дорогу, пробежал ветер, взвыл на минуту и умчался неизвестно куда; потом опять загудел где-то сбоку, и кинулся вверх, и перепутал все снежные хлопья, которые так и шарахнулись от него под ноги лошадям.

«Плохо дело! — подумал Матвей Матвеевич, прислушиваясь к гуденью ветра. — Неспроста гудит».

И ветер точно гудел неспроста.

В его песне слышалось что-то зловещее, словно он явился предвестником вьюги, или, по тамошнему наречию, бу́ры. Он бегал больше понизу и, опередив повозки, дул прямо на них, подметая снег под ноги лошадям, которые с трудом добежали до следующей станции.

Войдя, никто против обыкновения не крикнул смотрителю: «Лошадей!» Все молчали и не знали, на что решиться.

— Скверная погода! — сердито вымолвил Панфилов, садясь на диван. — Того и гляди, метель!

— Главное дело, к ночи! — поддакнул Бородатов.

Остальные поглядели в окошко и ничего не сказали. За окном сильно стемнело, хотя было еще не поздно.

— Так как же, господа? — спросил Панфилов, оглядывая всю компанию и не зная, на что решиться.

Среди общего раздумья и тишины вдруг где-то жалобно-жалобно запищал ветер, таким тоненьким голосом, точно муха, попавшая в паутину.

— Придется ночевать, должно быть...

Никто не возражал. Все глядели в разные стороны, и все были невеселы.

— В третьем году вот так же, — сказал Сучков, — мы остались, а игнатьевские приказчики поехали на авось! Ну,

и поплатились: всю ночь плутали. Некоторые доехали до станции, одного насилу оттерли, а другого вытащили из повозки закоченелого... что за удовольствие!

Все повесили головы. Блуждать до утра под метелью никому не хотелось.

— Господа, я, по совести, не могу вас пустить,— вмешался в разговор смотритель, седенький старичок, стоявший тут же в дверях.— Переночуйте лучше; за ночь погода уймется, и с богом! А то долго ли до греха? И волков здесь у нас много, целыми стаями ходят.

При этих словах Кротов машинально ощупал в кармане револьвер... Положение было тягостное, натянутое, и молчание долго не прерывалось, пока сучковский приказчик, перетрусивший еще на той станции при первом ветре, осмелился проговорить, запинаясь на каждом слове:

— Помилуйте-с... куда же ехать?.. Изволите ли видеть, вьюга очень сильная... с дороги собьешься...

Все в душе с ним были согласны

— А там, говорят... волки-с голодные...

— Конечно... конечно!..— в раздумье соглашался Панфилов, после чего приказчик, видя, что дело идет на лад, продолжал уже с большею уверенностью:

— Что за беда! И всего-то потеряли бы какие-нибудь сутки-с!

Это неосторожное слово сразу испортило все, и Панфилов вскочил

— Сутки?— ужаснулся он и даже попятился от приказчика, точно тот поднял вопрос об его чести.— Чтоб я потерял сутки? Да вы с ума сошли!.. Лошадей, пожалуйста!— решительно заявил он смотрителю и затем обратился к Сучкову:

— Вам как угодно, а мы поехали!

Поднялся шумный говор. Все встали, все говорили. Смотритель пробовал успокоить, но принужден был в конце концов распорядиться о лошадях.

— Я тридцать лет езжу, бог милостив!— возвышался над всеми голосами голос Панфилова.— Не первую метель выносить! Едем, господа, нечего медлить! С богом, в дорогу!

И первый решительными шагами направился к выходу. Его воодушевление сломило и разогнало общую робость. Все перекрестились и последовали за ним; только смотритель, провожая их, неодобрительно покачал головой.

На дворе был сущий ад. Ветер с визгом и ревом пригибал чуть не до земли молодые деревья; в мглистом воздухе крутился снег, шарахаясь летучими массами вправо и влево.

— Доедем, ямщик? — твердым голосом спросил Панфилов.

Тот отвечал, не смущаясь:

— С этакими седоками — бог милостив!

Все уселись, крепко запахнувшись. Прокричали голоса, зазвонили колокольчики, и повозки, едва отделившись от станции, погрузились во мрак.

Часа уже два прошло, как покинули станцию.

Лошади бежали, часто спотыкаясь. Ямщик гикал на них и взмахивал рукавицей. За чепчиком повозки злилась непогода, и тоскующий ветер неотвязчиво лез под фартук с нытьем и нетерпением; то справа, то слева забегал он и, казалось, вот-вот ворвется, но отставал и силился вновь догнать и, догоняя, хлестал сзади по крышке или опять скучал где-нибудь около. Мрак и вьюга были кругом; ни неба, ни пути, ни бугров — все смешалось в муть, которая бестолково крутилась... Сиротливо делалось на душе. Колокольчик звонил неугомонно, точно плакал, как голодный младенец, и все вокруг плакало на разные голоса. Было похоже, что в природе пропало что-то очень нужное и дорогое, за которым во все стороны полетели гонцы, под страхом смерти старавшиеся найти пропажу по чьему-то велению. Рыскали понизу, взлетали высоко к небу, кружились на одном месте, аукались и, очумев со страха, оплакивали свою горькую участь. И где-то тут же открылся над ними полевой суд: миллион писцов бойко шуршали перьями по бумаге, а гонцы разносили экстренные приказы и тащили кого-то на казнь. Глухо звучала с одной стороны победная музыка, а с другой — доносилось тихое похоронное пение... Еще тоскливее делалось на сердце... Живая сила разгулялась в поле; все жило своей особенною, непонятною жизнью — и вьюга, и поле, и взбаломученные хлопья снега, и только кони, люди да колокольчики замешались сюда ни к чему, как лишние гости на чужой праздник.

Ехали все тише и тише. Колокольчик вздрагивал и стонал, но не заливался, как раньше, беззаботною песней.

Лошади пошли шагом.

— Да, ну! Дьяволы! — раздался сердитый окрик, точ-

но сквозь стиснутые зубы, и следом за тем щелкнули резкие удары кнута.— Вытягивай!..

Лошади потянули недолго изо всей силы и вскоре остановились, тяжело дыша. Слышно было, как кнут много раз врезывался в их спины, но повозка стояла на одном месте.

— Что такое?— спросил Бородатов, высунувши голову.

Однако ничего не мог разглядеть, кроме мутного вихря, который тотчас же влепился ему в лицо и хлестнул по глазам. Лошади стояли, понурив головы, и вздрагивали от беспощадных ударов. Ветер свистел в хвостах и гривах, шуршал по крышке и по оглоблям; с невероятною злостью он дул прямо в глаза; разыскивал малейшие лазейки и сквозь двойные шубы пробегал по груди и ногам. Все присмирели, все думали одну общую думу: как быть?.. В темноте перед глазами прыгали и носились снежные призраки, и ужас бессилия охватывал душу.

— Что, ямщик?— спросил заискивающим голосом Панфилов.

Ямщик, который с кнутом в руках ходил отыскивать дорогу, вырос вдруг из мрака как привидение и, подойдя к повозке, сказал, не слыхав вопроса:

— Нету пути.

— Да ты поезжай, голубчик, как-нибудь; авось выберемся на дорогу.

— Где выбраться!.. Ишь темень-то, хоть глаз выколи!.. Да и бура́ разыгралась на диво.

— А ты все-таки поезжай, милый! Авось, как-нибудь...

Ямщик, что-то проворчавши, уселся покрепче и потом, хлопнув рукавицами, подобрал вожжи. Лошади рванули было вперед, но под полозьями намело кучи снега. Долго бились, напрягая все силы, чтобы стронуть с места повозку, и, наконец, поехали шагом.

А вьюга разыгрывалась все пуще. Какая-то сила с шумом и свистом мчалась поверху и вдруг упадала вниз и пробегала дальше понизу, кувыркаясь и жалуясь.

— И дернул нас черт поехать в этакую погоду!— удивлялся Кротов.— Насмерть озяб!.. Даже лошади не идут.

Действительно, повозки опять стали. А ветер метался по полю, кидаясь в разные стороны; то вдруг он затихал и плакал, то вдруг набрасывался с бешенством на повозку и стучал по ней словно кулаками, желая выворотить наизнанку чепчик, который весь тресся под его напором.

Вдруг где-то вблизи послышался мрачный аккорд, резкий, звучный, постепенно переходивший в протяжный вой,

Лошади захрапели. Не было видно, однако, прыгали они или нет, но только колокольчики зазвонили часто, бестолково, тревожно, и повозки дернулись сильно назад, а ямщик, слезший было на землю, бросился как угорелый в повозку и закричал:

— Волки! Волки!

Кротов высунул голову. Сквозь мрак и вьюгу глядели на него зловещие точки, горевшие фосфорическим блеском. Трудно было определить расстояние — не то они были около, не то вдалеке, но они вспыхивали тут и там и, казалось, росли и приближались. Порывы ветра, дергавшие повозки, на всех наводили ужас.

— Пошел!! — вдруг закричал Кротов, напрягши весь свой громовой голос, и вслед за криком раскатился неожиданно выстрел. — Трогай!.. Гони!.. — кричал без устали Кротов, оглашая простор то голосом, то выстрелом.

Опасаясь беды, Сучков тоже пробовал кричать ему: «В небо стрелять! Кверху! В волков не надо!» — но своего голоса он не слыхал даже сам.

Свист кнутов и крики слились с общим гулом. Обезумевшие от страха лошади напрягли последние силы, и повозки тронулись, ныряя по ухабам и разворачивая перед собою сугробы снега. Выстрелы между тем сыпались один за другим; их зловещий рокот прорезывался сквозь стоны вьюги, и страшная ночь становилась еще страшнее. Встревоженные тройки, храпя и косясь, бежали наудачу вперед, без пути, еле переводя дыхание, и зловещие огоньки отдалялись и многие потухали... Уже несколько верст отъехали повозки, уже давным-давно исчезли огоньки, а лошади все бежали, фыркая, спотыкаясь и насторожив уши. Они бежали без направления и от усталости чуть не падали; наконец, измученные, тяжело дыша, остановились сами.

Было черно вокруг. Вьюга не унималась.

— Взглянуть бы, Матвей Матвеевич, нет ли кабака близко: сами остановились! — посоветовал Бородатов.— Лошади на этот счет понятливы.

— Чего кабак! — сердито возразил ямщик.— Тут и кабаков нету.

Однако он слез и пошел куда-то.

— Поищи, нет ли дороги! — крикнули ему вслед.

Ямщик вскоре вернулся.

— Ни зги не видать, — сокрушенно сказал он, подходя к повозке.— Какие тут кабаки! От города далече, — кабаков не бывает.

— Так где же мы стоим?

— А кто-е знает, нету пути! Ишь какая метель,— разве что видно... Всю ночь плутали; чай, скоро светать начнет.

Бородатов полез за часами и, испортив десятка два спичек, наконец разглядел: было около пяти.

— Ночевать, что ли, будем?— спросил ямщик.

В его голосе слышалось раздражение. Он и сам не знал, что теперь лучше: ехать ли неизвестно куда, или остаться.

Кони еле дышали, измученные долгою, тяжелою ездой.

— Не далеко до света,— сказал на это Панфилов, тоже колеблясь: без пути и направления ехать казалось ему безрассудно, но было жутко и ночевать под метелью.

Ямщик несколько раз крякал, как крякает русский человек только в самые затруднительные минуты, когда бывает невыразимо досадно, но не знаешь, чем помочь горю, или за что приняться, или хоть кого обвинить в этом, и даже не находишь ни одного надлежащего слова, чтобы выразить им свою грусть. Покрякав, ямщик опять удалился и долго совещался с товарищами. Те так же, как и он, крякали и чмокали и ходили искать дорогу.

— Ин быть по-божьему!— сердито решил ямщик, возвращаясь к повозке.— Значит, до света!

Он еще поворчал, хотя слов его уже не было слышно... О чем-то громко спросили с другой повозки, но он прокричал в ответ что-то бранное. Опять раздался окрик... Ямщик только махнул рукой и сердито прошептал себе в бороду: «Все одно! Что ж теперь будешь делать!..»

Выходил искать дорогу и Кротов, но возвращался ни с чем и на вопросы Матвея Матвеевича отвечал коротко: «Темнота!» Наконец, все успокоились и замолчали. Прислушалась вьюжная песня, ухо привыкло к ее скучной музыке; завернувшись поглубже в доху, становилось уже безразлично, воет метель или нет. Ноги начали остывать. Усталая спина отдыхала после долгих ухабов. Клонила дремота... Снег порошил по повозке, улегаясь на крышку; под ноги лошадям наметал ветер целые кучи, которые все росли и возвышались, а крутящаяся муть все еще не светлела, продолжая ныть и напевать свои долгие похоронные песни, и ветер все метался по полю, задевая за верхушки повозок...

Долго царили мрак и вихрь, долго крутились снежные хлопья, пока, наконец, не засветлело в воздухе. Мало-помалу бледнела ночная мгла, и сумрак делался реже, и затихала вьюга, но небо было сплошь затянуто тучами и все

еще порошило снегом. Начинало светать... Понемногу, сквозь сыпавшийся снег, очерчивались сначала ближайшие предметы, виден стал облучок, силуэты коней, потом стало можно различить и лицо ямщика и образовавшиеся за ночь снежные холмы, и, наконец, впереди стал виден забор, в который почти упирался коренник.

— Батюшки! Да ведь это станция!— воскликнул удивленный ямщик, хлопнув себя обеими руками по бедрам.— Ишь ты, лукавый попутал!..

И он пришел вдруг в такую ярость, что начал ругаться, оговариваясь на каждом слове: «Прости ты мое согрешение!»

— Ах ты, лукавый!.. Ах ты, сила нечистая, куда завела!.. Вот чтоб тебе ни дна, ни покрышки!

В бешенстве он много раз ударял изо всей силы кнутом по свежему снегу, и прежде чем разбудить седоков, он вволю отругал рассеявшийся мрак и насулил таких невзгод лукавому и всей его родне, что горькая обида отлегла, наконец, от души, и облегчилось его русское сердце.

— Я говорил, что кабак!— рассердился на него Бородатов.— Лошади остановились, значит кабак!

— Где ж он, кабак?— рассердился ямщик в свою очередь.— Станция нешто кабак?

— Как же ты станцию не знаешь!

— Где ж ее знать? Очень хорошо ее знаю, а разве видно? Вон она, теперь ее видно, а давеча разве можно!.. Ах ты, сила нечистая! Чтоб тебе...

В огорчении он опять начал браниться, стараясь припомнить, как было дело: наехал ли он на станционный задворок, или лошади сами дошли по памяти, когда все спали, но только нечистая сила была здесь больше всех виновата, и в этом он был твердо уверен.

Жалкие, продрогшие вошли путники в станционную залу. Раздевшись, все сели и старались опомниться. Матвей Матвеевич молчал и не мог помириться с мыслью, что станцию в каких-нибудь двадцать верст ехали целую ночь.

Тут же в комнате, развалившись на кресле, спал бритый мужчина, а на диване маленькая худенькая дама; ее лицо от утреннего серого света казалось очень непривлекательным, со следами утраченной красоты. Голоса прибывших разбудили обоих. Сначала проснулся мужчина и взглянул на свет с таким страдальческим выражением, точно от этого взгляда у него заболели все нервы, протер глаза и откашлялся, а потом проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, ночка! Черт знает что за погода!

— Большая бура́!— сказал на это староста, вышедший навстречу.— Всеё ночь крутило.

— А дальше какова дорога?— спросил Матвей Матвеевич.

— Нырковата, сударь. Ямщики вчерась были, сказывают, очень нырковата, к тому же много обрезов намело за ночь.

После мучительной ночи всем хотелось отдохнуть, и сообщение старосты их огорчило.

«Нырковата...» Легко сказать, нырковата! когда опытный ездок заранее чувствует от этого слова боль в пояснице.

— Ох, уж эти мне деревянные станции!— вздохнул Матвей Матвеевич, называя так предстоявшие Кленово, Сосново, Дуброво, где всегда бывает отвратительная дорога, и, кроме того, начинаются опять Аракчеевские аллеи, с которыми не может помириться ни один путник и не может забыть их долгое время.

IX

Последний день!..

Впереди еще целые сутки, а все уже говорят: «Слава богу!»— и мечтают об отдыхе и спокойных вагонах. Однообразен и бесконечен кажется этот последний день, желание отдыха возрастает при виде каждой новой станции, и, несмотря на ухабы, все кричат в нетерпении: «Пошел! Пошел!»

Почти до полу́дня не переставало хмуриться; серые тучи обложили весь небосклон, и только там, где было солнце, они казались светлее и реже. Однако мало-помалу тучи начали двигаться, поплыли сперва нижние облака, легкие, как дым, а над ними поверху задвигались мохнатые седые клочья; местами делалось чернее от них, местами проглядывала синева; иногда прорезывался внезапный луч солнца и вдруг окрашивал огромную тучу в золотисто-грязный цвет и кидался скорее на дорогу, озаряя на минуту белоснежную окрестность ослепительным блеском... В небе творилось что-то неведомое: было тихо в воздухе, почти безветренно, но тучи, разорвавшись на множество кусков, целыми полчищами двинулись к северу; а с юга вслед за ними выплывали новые облака и тянулись дружными вереницами; за этими следовали еще новые, но уже не хмурые, а ве-

селые и румяные, потом белые, которые серебрились на солнце, плывя врассыпную по голубому небу,— и день засиял во всей своей силе.

Впереди по дороге, так же, как первые вереницы туч, тянулся нескончаемый обоз, занимая собою целиком всю узкую дорогу, и тройкам нельзя было проехать. Шаг за шагом двигались нагроможденные воза, прикрытые брезентами и рогожами, затянутые веревками; около них шли один за одним мужики на большом расстоянии друг от друга и все почему-то глядели вниз на дорогу.

По совету Бородатова, никогда не терявшегося в затруднительных положениях, ямщик еще издали закричал обозникам:

— Свора-чи-вай!

Но те продолжали свой путь, нимало не заботясь.

— Свора-чи-вай!..— кричал во весь голос ямщик, нагоняя обоз.— Гу-бер-натор едет! Свора-чи-вай!

Ближние обозники оглянулись.

«Гу-бер-натор!..» — услыхали они и, не поняв, в чем дело, бросились к возам и замахали руками передним.

— Губернатор! Губернатор!— кричали они уже сами.

— Губернатор! — перекликались дальнейшие.— Губернатор!

И по всему обозу, до самых передних погонщиков, которые виднелись отсюда серыми точками, мгновенно донеслось это магическое слово, передававшееся из уст в уста.

— Губернатор!— раздавалось все дальше и дальше на разные голоса, и все бросались к своим подводам и спихивали лошадей в придорожные сугробы, освобождая путь, по которому во весь дух мчались тройки, а задние мужики, поснимавшие было шапки, увидев обман, стали кричать передним:

— Держи! Держи их!

Но колокольчики громким звоном и ямщики своими криками заглушали их голоса, и, когда передние обозники догадались в чем дело, повозки были уже далеко впереди, и только снежная пыль летела от них в обе стороны.

Чем ниже опускалось солнце, тем больше беспокоился Матвей Матвеевич; его нетерпение возрастало с каждой минутой: еще каких-нибудь три-четыре часа, и пермский поезд уйдет вместе с Тирманом... А до Перми еще целых три станции!

Пока в Оханске меняли лошадей, Сучков отведал вкусных пельменей и браги, а Панфилов все ходил около пово-

зок и в волнении поглядывал на небо. Ему хотелось остановить время; вернуть бы четыре часа, только четыре часа!.. Часто вытаскивал он свой женевский хронометр и глядел почти с ненавистью, как маленькая проворная стрелка бежала по циферблату.

— Нет, не поспеешь!

Вихрем летели быстрые кони, дух занимался от скорой езды, а вечернее солнце давно уже закатилось, и сумерки вновь затемнили дорогу.

— Ура! Здесь Тирман! — воскликнули в один голос Сучков и Матвей Матвеевич, когда, подъехав к «Култаеву», они увидали знакомую повозку и, прежде чем войти на станцию, поторопились ее оглядеть.

— Она! Она! Это тирманская повозка!— ликовал Сучков.— Глядите, Матвей Матвеевич,— тирманская.

— Ну, теперь не ускачет!— сказал тот и, войдя в комнаты, торопливо осведомился у смотрителя:

— Где Тирман?

— Тирман? Давно уж проехали. Страсть как летят! Все боялись к поезду запоздать: их где-то очень метель задержала, да потом лошадь околела на дороге, так на паре и ехали и деньги за нее отдали ямщику.

— Да он здесь!— возразил Панфилов.

— Нет-с, уехали!— усмехнулся смотритель.— А насчет повозки — дело пустое. Очень уж они торопились: бросили и багаж и повозки, а сами взяли салазки, впрягли лошадей, да и были таковы. Не знаю, как только доедут. Страсть как спешили на поезд, а повозку вместе с багажом велели выслать в Ирбит.

Панфилов слушал смотрителя с нахмуренным челом и, вздохнувши, проговорил спокойно:

— Ну, и черт его побери, когда так!

Спешить теперь было уже некуда: поезд, судя по времени, ушел, и если Тирман поспел, то его все равно не догонишь, а если опоздал хоть минутой, то и сам никуда не уедет до следующего вечера. Поэтому, не торопясь, перепрягли лошадей, выпили чаю и около полуночи подкатили с шумом и звоном к пермской заставе. Ямщики соскочили с облучков и стали подвязывать колокольчики, звон которых по городу воспрещался.

Впереди стояли два каменных столба, похожих на пирамиды, с гербами Пермской губернии, изображавшими бесхвостого медведя с высунутым языком и торжественно приподнятою лапой. За заставой тянулась длинная осве-

щенная улица, с вывесками, номерами, харчевнями. И тройки тихо въехали в дремлющий город, без докучного звона, к которому так привыкло ухо за эти несколько дней, и понеслись по безлюдной улице.

В первый раз после долгой дороги путники успокоились на диванах в комнатах «Вольной почты», хотя, несмотря на удобства, Панфилов долго не мог заснуть; ему все еще мерещилось движение и тряска; забываясь на минуту, он сейчас же пробуждался, воображая, будто диван нырнул по ухабу; и долго чудились ему эти ухабы и качка, долго звучали в ушах колокольчики, и даже во сне он беседовал с Тирманом и воевал с ямщиками.

X

К вечернему поезду на другой день вокзал переполнился публикой, оживленной и разнообразной. Тут и степенный русский купец с мясистыми щеками, и забулдыга-сынок, и приказчик; здесь и татары в собольих остроконечных шапках, и долгополый раскольник, и захолодавший еврей в плисовом картузе; тут же сидит за пустым прибором бритый актер, одетый как-нибудь да не так, как одеваются люди, и, щеголяя убогой оригинальностью, глядит с полупрезрением на всех остальных. Где-нибудь на видном месте пристроилась одинокая дама, у которой во всех движениях лень и нега и глаза с поволокой; где-нибудь быстро знакомится и беседует приятный, но скучающий молодой человек, который бранит забавы и карты, однако от скуки не прочь сыграть в стуколку или метнуть банчишко. Всюду громкий, оживленный говор, смех и рассказы. Этот говор и смех переносятся с вокзала на платформу, с платформы в вагоны и там раздаются еще оживленнее, пока не засвистит паровоз и поезд не двинется с места.

После нескольких суток утомительного пути на лошадях по морозу и вьюге как хорошо и приятно очутиться вдруг в теплых вагонах, не страшась более ни холода, ни проклятых ухабов и, отдохнуть на мягких, спокойных диванах под веселый говор попутчиков! Сутки в вагоне кажутся пустяками в сравнении с сутками на лошадях. Тут и словоохотливые соседи со свежими новостями, тут и рассказчики, потешающие публику «русскими заветными сказками», от которых в горле пересыхает от хохота и за которые жестоко попадает впоследствии от благонамеренных жен.

Сильно утомленный дорогою, Матвей Матвеевич спал как убитый всю ночь, вплоть до Кушвы, известной не столь-

ко своею магнитною горой Благодатью, сколько вкусными пирожками со всевозможными начинками, на которые жадно набрасываются пассажиры.

Время летит незаметно: промелькнул Тагил, знаменитое Демидовское гнездо с их чугунными заводами, промелькнула Шайтанка — «чертова» станция, и Невьянск, где подсел известный по всему Уралу золотопромышленник Лоболомов, берущий в дорогу вместо чемодана бочонок водки и угощающий всех налево и направо, знакомых и незнакомых.

От Екатеринбурга подсело много актеров и одиноких дам, которые сейчас же завербовали себе толпу поклонников. Но многие уже спали. Спал и Матвей Матвеевич, не слыша ни громкого смеха, ни хоровых песен. Разбудил его среди ночи кондуктор.

— Ваши билеты! До Камышлова билеты!— взывал он громким голосом, стараясь говорить как можно пренебрежительнее, отчего и казалось, будто он кого-то передразнивает.

— Ваши билеты! Ваши билеты!

Поезд стал медленнее идти и вскоре остановился.

— Скорей, скорей, господа!— торопил Панфилов, когда приказчики, волоча за собою чемоданы, вышли на станцию. У вокзала их уже дожидались повозки, вытребованные телеграммой. Ночь была ясная; луна освещала станционный задворок, где толпились ямщики.

— Панфилову тройки! — крикнул во весь дух Бородатов.

К крыльцу подкатили две повозки, почти такие же, как и прежние, только пошире и потяжелее. Артельщики вынесли багаж, прикрутили его к повозкам и громко скомандовали:

— Пошел! Отъезжай!

Опять заболтали колокольчики под дугою, и тройки, миновавши двор, где шумно рядились извозчики с седоками, понеслись по скрипучему снегу среди безмолвия зимней ночи.

Восток разгорался ярче и ярче. Широкою полосою разливалась по небу румяная заря; звезды гасли, и только луна не успела еще уйти и глядела во все глаза, притаившись на западе, как застигнутый ясным утром ночной гуляка, возвращающийся с пирушки домой.

Тройки летели, обгоняя запоздавшие обозы, которые тянулись почти беспрерывно, распространяя далеко от себя по свежему воздуху резкий запах сырья.

Около возов шли молчаливые обозники на большом расстоянии друг от друга.

Шли они, понурив головы. Лошади тянули подводы с таким же унылым и сосредоточенным видом, будто тоже сокрушаясь о своем житье-бытье, трудовом и безрадостном... А вокруг уже все просветлело. Уже брызнули по небу солнечные лучи и засверкала дорога, когда Матвей Матвеевич открыл глаза и толкнул Бородатова:

— Проснись! Скоро Ирбит!

Действительно, вскоре показались две башенки городской заставы, а за ними крыши построек. Чувствуя близость конца, лошади помчались во весь дух, обгоняя обоз за обозом...

А городская застава все вырастала и приближалась; вот уже ясно виднеются ее остроконечные столбики; вот городская окраина и длинная улица, по которой замелькали дома и прохожие, вывески, лавки с товарами; вот, наконец, театр и Сибирский банк; вот нотариус, доктор, биржа и гостиный двор, у которого стояла группа людей, глядевших с любопытством на проезжих.

Прежде всех Матвей Матвеевич заметил в этой группе Тирмана. Он стоял высоко на порожке и, узнавши Панфилова, замахал ему шапкой и крикнул во весь голос:

— С приездом, Матвей Матвеевич! Добро пожаловать!

— Скотина!— тихонько, сам для себя прошипел в ответ ему Панфилов, услыхавши вслед за поздравлением хохот. Однако проигрыш был уже ясен.

Тройка остановилась на углу гостиного двора перед запертым магазином. Матвей Матвеевич, отдуваясь, вылез из повозки. Ямщик улыбался, сняв с головы шапку.

— Счастливых успехов!— говорил он Панфилову.— С ярмаркой вас!

Бородатов доставал ключи из кармана, а подбежавшие сторожа готовились отворять железные ставни, у которых Анютин и Кротов осматривали печати.

— Сходи за попом, через час будем молебен служить,— сказал Панфилов и обратился к Бородатову:— Ломай печати!

Под звуки железных болтов, загремевших по железным ставням, на Матвея Матвеевича вдруг нахлынули деловые заботы о срочных векселях, товаре и покупателях, а дорожные интересы со всеми приключениями, видами и природой отодвинулись на задний план.

Ярмарочная, суетливая жизнь захватила все его мысли.

1892

ПРОТИВ ОБЫЧАЯ*

I

Дорога вела сибирской заимкой. По сторонам за крестьянскими усадьбами раскидывались пашни, а впереди, где начинался березовый лес, на самом краю чернела одинокая землянка.

Уже вечерело, когда к этой землянке подошли двое молодых людей. Один из них был лет тридцати, красивый брюнет, с тонкими чертами лица, хорошо сложенный, одетый в охотничью куртку и высокие сапоги; за поясом у него висел пустой ягдташ, за плечами — ружье; это был земский заседатель Василий Михайлович Волынцев, только что прибывший сюда из Петербурга. От страшной ли усталости, или от неудачной охоты он был не в духе и торопился домой, где его дожидалась масса дел, надоедливых и безынтересных. Спутником его по охоте был волостной писарь, бывший псаломщик Услышинов, уроженец здешнего села, знавший наизусть все пути и дороги и провожавший Во-

* Из цикла «По Сибири».

лынцева «пур пассэ летан» — как он сам выражался, хотя и не знал в точности, что это обозначает; вместо ружья он ходил с сучковатою тростью, курил вместо своих волынцевские папиросы и очень гордился, что «петербургский аристократ и первое лицо здесь» ни с кем, кроме него, не ведет компании; его пестрый пиджак и брюки навыпуск с обкусанными задками, и сапоги на высоких кривых каблучках, и набекрень надетый картузик, на котором виднелась на месте кокарды запыленная дырочка, его закрученные усы и на мизинце колечко — все обнаруживало в нем местного сердцееда и франта, хотя Услышинов по серьезности и по костюму надеялся не отстать от Волынцева и быть ему «под пару».

Двери землянки были не заперты. Чтобы спросить напиться, Волынцев отворил их, но внутри никого не было, хотя у самого порога стоял «туяз», берестовый бурак, с молоком, покрытый большим куском хлеба, а рядом лежали яйца и творог.

— Где же хозяин?— досадливо сказал Волынцев.— Я хочу пить.

— Сколько угодно-с,— отвечал писарь и потянулся за кринкой.— Вы сами здесь хозяин!

— Погоди,— остановил Волынцев.— Может быть, люди приготовили себе ужин... Странные люди: двери настежь, самих ни души... Этак всякий придет, мало ль здесь народа шатается. А после плакаться будут: обокрали!..

Услышинов вежливо усмехнулся.

— Это нарочно так делают. Для того и поставлено, чтобы прохожие ели и пили... Не беспокойтесь, Василий Михайлович, кушайте, сколько угодно.

— Для прохожих?— усомнился Волынцев.— Кто же это делает для прохожих? И с какой стати?

— Все делают, во всех деревнях,— отвечал с удовольствием писарь.— Обычай старинный, спокон веков; его всякий себе, можно сказать, священной обязанностью ставит. Здесь, по заимкам, реже случается, а в деревнях — прямо выносят еду каждую ночь на улицу, за окошко. Поставят на полочку, а ночью бродяга придет, отыщет — ну и сыт!

— Бродяга?.. Какой бродяга?

— А вот которые с ссылки... из каторги бегут, из рудников там... Бродягами здесь называются.

Волынцев удивленно взглянул на писаря.

— Да-с! Это и есть для них пропитание!— добавил тот, радуясь неизвестно чему.— Ведь через наши места этих бег-

лых идет-идет, счету им нет! Может, сто лет все идут. Ну жители и привыкли.

Услышинов продолжал рассказывать, а Василий Михайлович стоял задумчивый, наморщив лоб и закусив губу. Он вспомнил, что слыхал об этом обычае еще в Петербурге, даже что-то читал или видел какую-то картину на выставке, но, не интересуясь тогда Сибирью, не обратил на это внимания и скоро забыл. Только теперь, столкнувшись лицом к лицу с фактом, он вспомнил прежние рассказы, горячие споры по этому поводу и недоумевал, даже более того — поражался, как могла водвориться такая бессмыслица, как могло население идти так открыто против закона, его же самого охраняющего, как могло, наконец, начальство допускать такой странный обычай и дать ему укорениться в народе.

— Ты говоришь, жители привыкли? — с полузаботой, с полунасмешкой спросил он писаря, перебивая его рассказ.

— Да-с. Привыкли.

— И кормят? и поят?..

— Да-с... Да это еще что! а вот бывает даже так, что некоторые за старостью или больные в лесах укрываются и не ходят в деревни, так этим многие прямо в лес на указанное место приносят и еду и даже, бывает, одежду... Очень хорошее обыкновение!

— Да ты с ума, что ли, сошел?! — почти крикнул Волынцев.— Еще хвалит!.. Разве законно потакать разбойникам, укрывать и кормить беглецов?.. Это черт знает на что похоже, мой милый!

— Кто знает...— смутился писарь.— Старинный обычай... как его разбирать будешь? Оно, конечно... А с другой стороны, везде так делают.

— Ну и пусть везде делают!— разгорячился Волынцев.— А у меня не бывать этому безобразию!

Глаза его засверкали.

— Ты меня знаешь: что сказано — тому быть!— добавил он запальчиво.— Ну, спасибо, Иван Петрович, ты задал мне превосходную задачу. Пусть это будет моим дебютом! Интересное и новенькое дельце... Видно, сама судьба за меня!

И усталость и неудачная охота — все было мгновенно забыто. Горячие мысли вихрем закрутились в голове Василия Михайловича, слагаясь в неясный, но грандиозный план. Он

быстро вышел на дорогу, свистнул собаке, и Услышинов еле поспевал за ним, не понимая ничего, но побаиваясь его гнева.

II

Село, где поселился Волынцев, стояло на тракте; оно славилось отличными лошадьми и обильной охотой. На селе было много богатых мужиков. Домик Волынцеву отвели на почетном месте — против церкви, вблизи волостного правления.

По каким причинам заехал сюда этот «российский барин», как его называли крестьяне, не было никому известно, но было по всему заметно, и по лицу и по манерам, что он не из тех, которых привыкли здесь видеть на службе: у него и тон не таков, и письма он получает с какими-то гербами, ни с кем не бранится, не дерется, но требует всего так быстро и настоятельно, что не поспеешь одуматься, хорошо это или худо. «У меня сказано — сделано! Иначе здесь нельзя! — твердил он постоянно Услышинову, которого нередко брал к себе для письменных занятий.— У меня — чтобы все было по-моему!»

Писарь был единственным человеком, с кем Волынцев позволял себе частную беседу и даже посвящал его в тайну своего пребывания в захолустье.

— Я здесь ненадолго. Я здесь только учусь,— говорил он писарю, приятно и загадочно улыбаясь.— Ну, год, ну, два проживу — а там...

И писарю мало-помалу становилось известно, что Волынцев — петербургский чиновник, что у него громадные связи и блестящая будущность. Как было не дорожить вниманием такого человека, особенно если он приглашает к себе чай пить, берет на охоту, угощает вином!.. Он даже заметил однажды Услышинову:

— Что ты меня все «благородием» величаешь? Меня зовут Василий Михайлович.

Даже это обращение на «ты», иногда с прибавлением «голубчик» или «мой милый», казалось писарю не только безобидным, но и приятным.

— Извините меня, Василий Михайлович,— говорил ему писарь.— Что за охота вам при вашем образовании и, так сказать, при всем положении да в этакой должности находиться? Низко-с для вас! Нашему брату пить-есть надобно, а уж вам, кажется...

— Э, братец!— возражал с удовольствием Волынцев.—

Черная работа необходима. Петр Великий — и тот был, когда учился, простым рабочим. Всякое дело нужно в корню изучать... в корню!.. Разумеется, это не мое место, но ведь я здесь, повторяю, не навек!..

«Конечно,— рассуждал после сам с собою Услышинов,— Василий Михайлович желает поучиться, выдвинуться... Может быть, его через год и рукой не достанешь: увезут его в Петербург, куда-нибудь в министерство посадят... А вдруг он возьмет да и вспомнит тогда сибирского компаньона?.. А прогуляться с ним на охоту да про здешние порядки поговорить — мне наплевать!.. Сколько угодно!»

Так рассуждал Услышинов, стараясь оказывать Волынцеву всевозможные услуги.

— Как ты думаешь, Иван Петрович,— спросил его на другой день заседатель,— ради чего крестьяне кормят этих бродяг? У меня это просто из головы не идет.

— Как сказать, Василий Михайлович: бродяга все же есть человек, и коль ему не подашь, так бог и самим ничего не даст,— вот как думают наши крестьяне... Любую бабу спросите — этими делами у нас все больше бабы заведуют,— она вам сейчас скажет, что дорога, мол, ихняя дальняя, идут под страхом, сердешные, точно звери... Оно и жалко: каждому человеку пить и есть надобно... От любой бабы это самое услышите, честное слово-с!.. Да, кроме того, имеется и еще одно соображение...

— Какое?

Писарь пожал плечами и, видимо, стеснялся.

— Ну, говори, какое соображение!— настаивал Волынцев.

— Не обижают никого... Их не трогают, и они не трогают!..

— Мило!..— возмутился Василий Михайлович.— Возможно ли тогда хоть какое-нибудь уважение к власти? Ведь допускать это — значит, сознаваться в своем бессилии, войти с ними в стачку!.. Нет, мой друг, этому не бывать!.. Я не позволю мужикам откупаться от этих сорванцов. Ни за что на свете! Завтра же положу запрет. У меня шутки плохи!

В назначенный день собрались старшины волынцевского участка и покорно ожидали «штучки», какую заблагорассудится выкинуть их новому начальству. Уже заранее они не были с ним согласны, хоть и не знали еще, в чем дело.

Когда же к ним вышел Василий Михайлович, в новом

мундире, стройный, красивый, с блестящими глазами, они сразу смутились и оробели. Он упрекнул их за беспорядки и объявил, что за такие дела самих сажают в острог, что, укрывая и помогая беглым, они действуют против закона и что если он только узнает, что где-нибудь кто-нибудь ослушается его приказания,— всех под суд отдаст как сообщников. Старшины молча поклонились, и только один старик, покрутив головой, осмелился проговорить:

— Слушаем... Прикажем, ваше высокоблагородие... Только ладно ли будет?

— Чтоб было! — рассердился Волынцев и топнул ногою.

Старшины опять поклонились и разошлись с понурыми головами.

III

Весь вечер лил дождь. Волынцев шагал из угла в угол по своим небольшим комнатам, обдумывая возникший вопрос и проверяя самого себя.

«Конечно, я прав!— мысленно решал он.— Конечно, прав!»

Однако недовольство собою, чувство чего-то неладного, как будто внутреннего разлада и сомнительной правоты мешали ему успокоиться.

«Вот почему,— думал он,— не страшит и Сибирь закоренелых преступников: они знают, что могут убежать, что в бегстве будут сыты, одеты, а главное — расчет на сочувствие и поддержку в народе».

То смущаясь, то ободряясь надеждой искоренить преступление — вековое и общее, вошедшее в местный обычай, даже, по словам писаря, в священный долг населения,— Волынцев видел в этом необыкновенный подвиг. В мыслях его порою вспыхивала радость, потому что борьба совпадала с целью — учиться и выдвинуться, ради чего он покинул Петербург, родных и забрался в эту глушь, отделив себя добровольно от всего цивилизованного мира.

В волнении и раздумье он подошел к окну.

Там, за окном, было серо и мутно: дождик бился в стекла, где-то чудилась однотонная песня ветра, и было скучно везде и сиротливо. Волынцев засмотрелся. Он видел перед собой пустынную улицу сквозь густые сумерки, видел грязную, потемневшую дорогу, постепенно сливавшуюся с дождем и вечерними тенями. Мысли его мало-помалу станови-

лись бессвязнее, уносясь куда-то, возвращаясь и перепутываясь. Манила предстоящая борьба, соблазняла почетная будущность, а в душу просилось что-то далекое, минувшее и позабытое... Ему вспомнилось вдруг иное, лучшее время, когда он сам был моложе, лучше, отзывчивее... Он так же стоял однажды перед окном, так же упорно глядел на дорогу — только это был Петербург, людные улицы, морозная звездная ночь, а за столом шумела молодая компания, споря и горячась, защищая любовь, милосердие и жалость ко всем униженным и несчастным. Он и сам тогда сочувствовал этому и, обернувшись, увидел добрые разгоряченные лица товарищей, увидел свою сестру, которая молча слушала, не сводя блестящих глаз с говорившего студента... Словно желая и теперь увидеть те же лица, Василий Михайлович обернулся, но маленькая неуютная комната была пуста, на столе тускло горела свечка, и повсюду чувствовался запах тулупа и дегтя, занесенный только что ушедшими мужиками.

«Как все это было давно!» — вздохнул он, припоминая прежнее время, прежние верования, мечты и надежды, и опять в душе его смутно, точно эхо, отозвалось что-то старое, доброе...

Дождь монотонно шумел за окном. Одиночество, скука и ночное безмолвие настраивали на свой лад воображение Волынцева, и ему стало казаться, что такое же тусклое небо, которое моросило теперь беспрерывным дождем, раскинулось всюду, над всей Сибирью, залило ее мутными потоками, и нигде нет защиты в эту черную ночь от ливня, от сырости, от грязи и холода; вряд ли даже звери не попрятались в свои норы; неужели только люди, бездомные и голодные, бегут в это время, бегут лесами, окольными дорогами, пользуясь темнотой и прячась от других людей...

Волынцев живо представил себе такого беглеца, промокшего, проголодавшегося, который ночью среди мрака подходит к избе, ищет и находит хлеб и снова скрывается, боясь попасться на глаза такому человеку, как, например, он — Волынцев.

— Вздор!— резко перебил он течение своих мыслей и снова зашагал по комнате.— Все это сентиментальность и фразы, из которых ничего не может быть путного!

Так думал Волынцев, решив не поддаваться минутным увлечениям и во что бы то ни стало искоренить вредный и беззаконный обычай.

— Нужно покончить разом и навсегда!

Твердый в своем решении, он не допускал уже более, чтобы жалость закралась к нему в душу.

IV

Близилось к осени.

Василий Михайлович не мог на себя нарадоваться: то, что слагалось десятками и сотнями лет, что вошло уже в кровь и плоть населения, он разрушил единым словом, единым взмахом пера.

«Так и впредь буду делать!» — думал он с удовольствием и при случае расспрашивал старшин о бродягах, строго-настрого подтверждая приказ.

Увлеченный первым успехом, Волынцев писал о своем подвиге в Петербург родным, когда к столу подошел Услышинов и молча поклонился.

— Ты что?— спросил Волынцев, не отрываясь от письма.

— Да что, Василий Михайлович, опять лошадь украли,— отвечал писарь.

— Черт знает что такое! Это ни на что не похоже!— разгорячился Волынцев и, отбросив письмо, взволнованно зашагал по комнате.— Конечно, теперь осень... самое воровское время...

— Никак нет, Василий Михайлович, осень здесь ни при чем,— со вздохом проговорил писарь.— Никогда у нас этакого безобразия не бывало.

Что ни день, то приходила новость: уводили лошадей, резали телок, обирали проезжих. Глухой ропот поднимался в народе: боялись за хлебные амбары, за избы, а поджог, по общему мнению, был неминуем. Но Волынцев твердо стоял на своем. Борьба увлекла его; он лично производил дознания, разъезжал по всему участку, нанимал на свои деньги сторожей и совершенно забыл об отдыхе.

«Дорого мне это обходится, и возни очень много, но без того не расстанусь, чтобы не вышло по-моему!» — писал он в письмах к матери, нередко хвалясь, что имя его пронеслось грозой по Сибири.

По его, однако, не выходило. Воровство усиливалось, не стало сладу. Наконец, у самого Волынцева увели ночью верхового коня, а любимую собаку его удавили и назло повесили ее перед окошком спальни.

Волынцев рассвирепел. Целую ночь он ворочался в постели без сна и чуть не плакал от обиды и злости. Он не

мог примириться с мыслью, что его любимец, черный понтер,— повешен.

«Ну, зарежь, застрели — все легче!— думал Василий Михайлович.— А то повесили!..»

— Это ужасно! Это бесчеловечно!— возмущался он и поклялся, что теперь уже ни за что не отступит и всех переловит.

V

Прошел год... Волынцев успокоился. Крестьяне его боялись, о бродягах было почти не слышно... Из Петербурга ему уже писали, что скоро он получит высшее назначение, а он писал в Петербург, чтобы на лето приезжали к нему мать и сестра.

«У нас полное раздолье, воздух чистый, домик мой просторный, все крайне дешево и всего сколько хочешь. Реки кишат рыбою, а дичи так много, что некуда девать,— писал он домой, соскучившись без родных.— Дело мое теперь уладилось, все тихо, и я буду при вас почти неотлучно...»

— Иван Петрович, пойдешь со мной на охоту?— предложил однажды он писарю, выбрав свободное время.

— С восторгом-с, Василий Михайлович!

Они снарядились по-прежнему: Волынцев пошел с ружьем, Услышинов с своей дубинкой.

Проходя по заимке, они заглянули в землянку. Там было пусто.

— А помнишь, Иван Петрович,— сказал заседатель,— как в прошлом году мы здесь расшумелись? Теперь видишь — ничего нет! Во всем необходима смелость и твердость: уступи я тогда хоть на волос, испугайся воровства или пожара — ну и кончено! Те же мужики меня в грош не ставили бы. А теперь — нет! Теперь на меня как на грозу все смотрят!

— Стойкость характера — дело великое!— похвалил писарь.— Оно, конечно, если не себя показать, так для чего было и беспокоиться вам ради этакой должности... Вам впору быть губернатором либо в министерстве что-нибудь этакое... а не здесь, не у нас!

— Я говорю, что и Петр Великий сначала был добровольно корабельным мастером... Что ж делать, нужно учиться... Нужно всегда начинать с первой ступеньки, с нижней, чтобы в точности изучить дело, а там шагай себе хоть через десять, но первая ступенька необходима — это

мое правило. Единственно, о чем я тужу,— продолжал Волынцев,— что собаку мою повесили. Вот подлецы! Ничего мне больнее не могли придумать, разбойники!

— Еще бы-с!

— Главное, повесили — вот что обидно!

— Чего хуже!

— Я вот сейчас с ружьем иду... Конечно, убивать буду, но ведь смерть смерти рознь: застрелить я могу, но повесить — нет! Рука не поднимется. Здесь хлоп — и баста. А там эта петля, эти судороги, этот высунутый язык...

Волынцев нервно содрогнулся, а писарь из сочувствия плюнул и махнул рукою.

Весь день бродили они по полям и рощам и, наконец, утомленные, расположились близ озера отдохнуть. Услышинов развел костер, а Василий Михайлович приготовил фляжку.

Солнце клонилось к западу, пламенем и золотом отражаясь в воде. Вокруг цвели травы желтыми, белыми, розовыми цветами; кое-где возвышались над ними одинокие сосны или торчала седая полынь. Было тихо, безлюдно и таинственно, точно деревья, травы и цветы, прощаясь до завтра с солнцем, обменивались с ним приветствием. Все мирно ликовало, все было полно жизни, все, казалось, понимало друг друга, и только задымившие костер два охотника с их окровавленной добычей казались здесь чужими и лишними.

Вдруг позади их в кустах послышался говор:

— Этот вон самый!

— Он! Тот самый!

Охотники оглянулись. Шагах в двадцати от них на опушке леса стояли три человека. Один из них глядел в упор в их сторону, а другой показывал пальцем.

— И этого-то молодчика знаем!

Услышинов заметил на себе пристальный взгляд и, испугавшись, схватился за палку.

— Вам что?— крикнул Волынцев, видя, что оборванцы подходят ближе.

Продолжая сидеть на траве, он внимательно и спокойно разглядывал их фигуры. Все трое были плечисты и крепки, с загорелыми, обветренными лицами: видно, что не один день и не одну ночь провели они под открытым небом. Высокий парень с шрамом на лице шел впереди; одет он был поверх рубахи в рваный пиджак, в зимнюю шапку и сибирские бродни; у второго на ногах были надеты шерстяные пи-

мы; третий был бос, но вокруг шеи повязал грязный платок и на голову надел фуражку.

— Вам что?— строго повторил Волынцев и выпрямился во весь рост, быстро поднявшись с травы.

— Да нам что... Ты наших обидел, а теперь сам становись к расчету.

Только тогда Волынцев понял, в чем дело. Он нервно схватился за ружье и отскочил на шаг.

— Прочь, негодяи!!

— Чего ж гонишь,— возразил с насмешкой бродяга.— Место небось божеское: ни ты, ни я ему не хозяин.

Писарь с трясущимися руками и побледневшим лицом глядел во все глаза на Волынцева, ожидая от него защиты.

«Стреляйте! Спасайте!» — хотел закричать он, но не мог выговорить ни слова.

Выстрелить — Василию Михайловичу и самому приходила мысль. Но как будешь стрелять, когда стоят безоружные люди и нет причин убивать их!

Держа наготове ружье, он снова крикнул:

— Прочь! Или всех перебью на месте!

Лицо его было бледно, глаза горели.

— Давненько с тобой посчитаться хотелось!— продолжал бродяга.

— Больно много обиды от тебя видели, барин!— сказал другой.

— И сжечь тебя давно собирались, да мужиков, соседов твоих, было жалко!— добавил третий.

Все они заговорили сразу, обступив Василия Михайловича с трех сторон.

— Считаться?!— вскрикнул Волынцев, и голос его зазвенел.— Я вам дам считаться, разбойники!!

И в одно мгновение переменилась картина: обомлевший писарь видел, как блеснуло вскинутое ружье, грянул выстрел, кто-то вскрикнул, все перемешалось — и Волынцев стоял с поднятым кверху дулом ружья, за которое крепко схватился бродяга, а второй сдавил заседателю горло. Еще мгновение — и ружье было вырвано, а руки Волынцева загнуты назад и затянуты шарфом. Он пытался вырваться. Хрипел, кусал зубами одежду, бил ногами о землю, вертел головою.

— Нету, барин, прочно!— засмеялся бродяга.— А ты чего с палкой стоишь?— крикнул он писарю.— Или тоже подохнуть хочешь?

Больше он ничего ему не сказал и даже отвернулся, как от не стоящего внимания. Но Услышинов уже сам бросил трость и нервно гладил ноги, которые у него подгибались от ужаса.

— Разбойники!! Негодяи!!— хрипел Волынцев, все еще надеясь высвободить руки.

Потом он перестал биться, гордо выпрямился и сказал глухим, но твердым голосом:

— Что нужно?..

— Да ничего не нужно. А чтобы ты знал, как порядки нашему брату заводить, так вот получи!

Он снял с себя ременный пояс и подал Волынцеву.

— Дарю тебе его навечно! А сучок сам себе выбирай: потолще или потоньше, пониже или повыше — твое дело, укажи, где знаешь. Нам все равно.

Волынцев молчал. Блестевшие глаза его сразу потускнели, голова повисла на грудь, и голос осекся.

— Такой ладно будет?— спросил бродяга, указывая на сосновый сучок.— Место хорошее: у всех на виду.

Василий Михайлович стоял бледный и силился что-то выговорить, но губы его дергались в разные стороны.

— Ну что ж, барин? Этак тебя до завтра не переждешь. Прощай! Не поминай лихом.

— Да как же это так?!— вскрикнул не своим голосом Услышинов, трясясь и не попадая зуб на зуб.— Что ж это!..

В глазах у него потемнело от ужаса.

— Брысь ты, песья душа!!— раздалось в ответ, и чья-то крепкая рука хлопнула его по затылку. Он пошатнулся, потом упал на колени, потом снова вскочил и бросился бежать неизвестно куда, падая и поднимаясь, не чувствуя под собою ног, без оглядки, без пути и без отдыха.

— Ну что ж, барин?— повторил спокойно бродяга, держа Волынцева за воротник.— Не стоишь ты сам того, чтоб нам из-за тебя на нашу душу твою душонку брать. Черт с тобой! Ложись на травку. Выпорем как следует — и развязка на первый случай! Скидывай свою амуницию! А ежели глупостей своих напредки не оставишь, тогда уж не прогневайся: обязательно повесим, где бы ты ни был!

Уже свечерело, когда Услышинов прибежал к старшине, потеряв дорогой фуражку.

— Заседатель повешен!— кричал он и плакал и, задыхаясь, едва мог передать о случившемся.

Когда миновало первое впечатление и старшина собрался с мыслями, то перекрестился и вымолвил:

— Ну, вечная ему память...

Потом он вздохнул и в раздумье добавил:

— Да и то сказать — не жилец он был здесь!

А еще позднее, когда путь уже освещала луна, добрался кое-как до дома и Волынцев, без ружья, без охотничьих доспехов и без тужурки, опираясь на палку Услышинова. Никогда и никому он не рассказывал о том, что с ним было. Несколько дней он даже избегал встречаться с людьми и не мог свободно ни садиться на стул, ни вставать со стула.

Стал он мрачен и молчалив. Даже Услышинов на свои сочувственные вопросы не получал ответа.

Когда пришла, наконец, телеграмма с разрешением отъезда в Россию и когда Волынцев сидел уже в тарантасе, окруженный чемоданами, с двумя револьверами за поясом и с вооруженным стражником при ямщике, он, подавая руку писарю, сказал ему на прощанье, как всегда загадочно:

— Обо мне вы здесь еще, надеюсь, услышите, черт возьми!!

А когда тройка мчалась уже по безлюдной дороге мимо того леса, где Волынцев недавно охотился, он приподнялся в своем тарантасе, презрительно сощурил глаза, вынул из кобуры револьвер и два раза выстрелил в лес.

Эхо ответило ему из леса громкими раскатами, а встревоженные кони помчались вскачь.

1894

САМОХОДЫ*

I

Закат еще не померк, над городом еще тянулись яркие цветные полосы вечерней зари, а над степью уже всходила луна; она еще не светила, не золотила степи, а только глядела ласково и скромно, обещая тихую, ясную ночь.

Устиныч, невысокий старик лет семидесяти, с седой бородкой и светлыми грустными глазами, сидел у ворот на скамейке и думал, то весело поглядывая на небо, то украдкой вздыхая. За воротами раскидывался двор, обнесенный серым дощатым забором, весь обросший высокой крапивой и широкими лопухами. Посреди двора стоял домик — бывший холерный барак; из окон его видна была невдалеке городская застава, а по другую сторону бесконечная степь.

Здесь жили переселенцы.

Одни уходили, другие приходили, и домик всегда был полон народа.

Пока Устиныч сидел и думал, его семья снаряжала повозку — маленькую тележку о двух колесах с выгнутыми

* Из цикла «Переселенцы».

сквозными боками, похожими на ребра, и с короткими оглоблями, лежавшими пока на траве.

— Чего ж на ночь глядя поедешь?— спрашивали старика соседи, вышедшие поглядеть на чужие хлопоты.

— А что ж,— спокойно отвечал Устиныч,— вона — месяц-батюшка вышел... Оно светленько с ним-то, а не жарко, а матушка-солнышко теперь тоже рано проглядывает: как зачнет это припекать, мы и в рощу, на отдых... Так-то вот, милые.

Он охотно рассказывал обо всем: куда идет, почему и давно ли из дома.

— Идем далече, приятель. На версты считать, не знаю, как и выговорить. А идем уже давно... верст семьсот прошли, слава богу... Да осталось верст тыщу... Ничего, милый,— дойдем! А семья наша вот какая: я со старухой — это двое... Да Трифон — сын, да при нем жена, да детей четыре души — крохотных... Да еще, значит, пятый внук — Лександро. Выходит — девять душ, да десятая дочь... да еще две дочери...

Он показал обе руки, на которых при счете загнул уже все пальцы, и, причмокнув, добавил:

— Эна, милый человек, народу-то! А каждый рот хлебушка просит, а его, значит, нет и нет. Четвертый год нет урожая, хоть ты что хочешь.

Тележку между тем снарядили. Набили разное тряпье и пожитки, туда же посадили и жену Устиныча, худую, сморщенную старуху.

— Ноги-то, ноги-то,— жаловалась та, когда Трифон, коренастый мужик, положил ей на колени ребенка.

— Мало что, матушка, потеснись!— возразил он спокойно, передавая еще двух маленьких девочек.— Не у себя дома!

Он вытер вспотевший лоб и отошел в сторону. Дети возились, стараясь удобнее сесть, а старуха только кряхтела и безмолвно шевелила губами.

— Бабы! Готовы, что ли?— крикнул Трифон, оглядывая толпу, собравшуюся у ворот.

На его вызов стали собираться к тележке молодые женщины с узлами за спиной.

— Все здесь?— спросил Трифон, пересчитывая семью.— Ну-ка, батюшка, подходи!— обратился он к старику, который все еще сидел на скамейке.

Устиныч покряхтел, погладил коленки, вздохнул, однако встал и, переваливаясь, нехотя пошел к тележке.

— Ладно сидите-то?— осведомился он у старухи и, не дожидаясь ответа, повернулся к бабам.— Все захватили-то?

Он задавал еще какие-то вопросы, отдаляя минуту отъезда, щурился на небо, гладил спину, искал что-то в траве.

— Ну, милые, присядем,— выговорил он, наконец.

И вся семья молча и покорно опустилась в траву вокруг повозки. Потом все встали и отдали по поклону на четыре стороны, а Устиныч, подняв над головою обеими руками клеенчатый картуз, обратился ко всем окружающим:

— Простите, милые.

— Час добрый!— ответили ему голоса.

Трифон поднял оглобли и пристроил их поудобнее к своим бокам, точно запрягая, как коренник.

— Берись, батюшка. Полно оглядываться,— сказал он Устинычу, потом крикнул сыну:— Берись, Сашутка!

Бойкий мальчик лет тринадцати подхватил пристяжную веревку с широкой петлей, вроде бурлацких помочей, накинул ее Устинычу на плечо, а сам впрягся с другой стороны на пристяжку, и по команде Трифона все трое — сын, отец и дед — приналегли на веревки.

Повозка тронулась.

Смирно сидели в тележке трое малюток, держась за края; покорно молчала старуха и лишь изредка вздрагивала, точно во сне. За тележкой шли бабы с котомками за плечами, опираясь на палки. Длинные слабые тени ложились от них на дорогу, и луна точно серебром устилала им путь. Было ясно вокруг, тихо и торжественно. С одной стороны чернел лес, а с другой — раскидывалась бесконечная степь, вся проникнутая лунным сиянием, теряющаяся в прозрачном тумане.

Когда Сашутка ослабевал и останавливался перевести дух, Трифон останавливался тоже, но старый Устиныч, налегая плечом на свою пристяжку, старался ободрить всех и выкрикивал хриплым голосом, взмахивая рукою:

— Ну, ну!.. Трогай! Трогай!

А когда уставал он сам и тройка останавливалась, то нередко среди степи слышался звонкий мальчишеский голос Сашутки, желавшего поддержать настроение:

— Трогай, дедушка! Трогай!

И тройка мало-помалу продолжала свой путь.

II

Начинало светать... По полю закурилась жидкая роса, и ни кусты, ни телеграфные столбы уже не бросали теней: все сгладилось и сравнялось в сером предутреннем свете; угомонилась и «ночная» птица, пугавшая своими серыми бесшумными крылами встречных путников, внезапно перелетая дорогу чуть не по самой земле; беспомощно и тоскливо взирала луна на зардевшийся восток и медленно утопала, бледная, за горизонтом.

Было свежо. В росистой траве, возле трактовой дороги, стояли недвижно, точно в раздумье, стреноженные лошади, кое-где дымились потухающие костры, и среди телег и кибиток, среди низеньких тряпичных шалашей по всему полю пестрой волною раскинулся сонный табор переселенцев.

Вокруг все было тихо и неподвижно, когда приблизилась сюда тройка Устиныча. И Сашутка, и Трифон, и сам Устиныч, задыхаясь от усталости, еле тащили тележку, поминутно останавливаясь перевести дух.

— Вот, милые, отдохнем,— сказал старик хриплым шепотом, тяжело дыша и обтирая рукавом свое потное лицо.— Стойте, милые, будет!

Тройка остановилась.

— Вишь, добрые люди отдыхают,— кивнул он на поле, усеянное спящим народом.— Будет, ребятки, поработали!

Трифон молча бросил оглобли, Сашутка скинул петлю, и все расположились на отдых. Дети спали крепко, старуха дремала и медленно раскачивалась в повозке... Бабы легли на траву, положив под головы узлы, и только Устиныч, вздыхая и чмокая, не мог успокоиться сразу: ему вспоминалось утро в родной деревне, и было жаль, что нигде не поет петух, нигде не лают собаки...

Когда взошло солнце, табор зашевелился; заржали лошади, заплакали дети, и кое-где заструились свежие дымки; по полю ярче забелели палатки, наряднее запестрела трава желтыми, голубыми и белыми цветами. Все пробуждалось и сквозь зевоту и сон вздыхало, кряхтело, переговаривалось.

Устиныч уже был на ногах. Он взглянул на свою спящую семью, послушал, как храпит Трифон, и, печально покрутив головой, побрел в середину табора поглядеть на людей. На душе у него было грустно и сиротливо, хотелось с кем-нибудь обменяться добрым словом, но, останавливаясь перед телегами, он видел, что всем не до него. Все были

заняты, все хлопотали, и Устинычу не с кем было перемолвиться. То попадалась ему баба, которая качает охрипшего от крика ребенка и старается накормить его грудью: в глазах у нее столько страдания и злобы, что Устиныч молча проходил мимо, не решаясь даже остановиться. Мужики осматривали и чинили телеги, бабы снимали с кольев просохнувшие тряпки; все перекликались, бранились; тут же стонала беременная женщина, тут же подросток налаживал попорченную гармонику, а рядом старик сколачивал маленький гробик; по полю бегали босоногие ребятишки, ссорясь, играя и плача... Не было ни веселых, ни спокойных лиц, а были робкие, изнуренные заботой либо сердитые лица.

Устиныч приглядывался, к кому бы подойти с разговором, и подошел к старику, который сколачивал гроб.

— Здравствуй, добрый человек,— сказал он, приподнимая над головой обеими руками картуз.— Вишь ты, знать, для внучка домик-то строишь? Горе с ними, с малыми ребятами!..

Не отрываясь от дела, старик отвечал угрюмо:

— Второго провожаем... Беда, да и только!..

Слово за слово — Устиныч расспросил его, откуда и куда они идут, где покупали лошадей и почем покупали, и сам рассказывал о себе: про все свое горе, про бедность, про тяжелую свою жизнь.

Вздыхая и причмокивая, он говорил:

— Вот это, милый, протерпели мы голодный год... Корму нету... Солому с крыш поснимали, а все скотинка, это, тощает... И скотинку порезали... Оборвалось, милый, хозяйство... Ну и пошли вот семейством... А землю, хозяйство, домик тоже бросили, значит. Недоимки да недоимки... Трудно, милый, а ничего не поделаешь, потому деньги теперь всякому очень нужны: без денег теперь шагу ступить не моги... Без денег оно и начальство служить не захочет, потому время такое настало. Вот хозяйство наше за недоимки и решилось. Ничего не поделаешь.

Он шумно вздохнул и, видя, что старик сколотил уже гроб, добавил на прощание:

— Не тужи, милый. Всяк человек там будет... Младенец — душа ангельская. Не тужи, милый. Прощай.

Солнце было уже высоко, когда опустело поле. По дороге вытянулось с полсотни телег с холщовыми навесами, набитых всяким добром и пожитками, ребятами, больными и стариками. Впереди обоза резвились дети, с криком и хо-

хотом готовясь к пути. Среди общего говора, плача грудных детей и веселого крика подростков громко ржали лошади, выли собаки, и, наконец, грузно заскрипели колеса.

Табор двинулся.

Следом за ним потянулась и тройка Устиныча, с теми же частыми передышками, хриплыми криками старика и задорным усердием Сашутки, не желавшего отставать от попутчиков. Только один Трифон молча тащил повозку, не торопясь догонять удалявшийся караван. Он молча поглядывал на небо, на выраставшие из-за горизонта черные тучи, нюхал недвижимый, точно застывший воздух и только изредка спрашивал:

— Далеко ли рогожки?

— Ничего, сынок, ничего! — бодрил его Устиныч. — Развеет. Верное слово — развеет!.. Не будет грозы, развеет!

Сашутка тоже взглядывал на небо и тоже повторял за дедом тоном понимающего человека:

— Известно, развеет!

Однако туча всплывала и все шире захватывала небосклон; по ней вспыхивали молнии и клубились жидкие, точно дым, облака, седые и грязные. Проворчал гром. Небесная синева пропадала, встречный ветер пробегал понизу, крутя столбом придорожную пыль; в воздухе посвежело.

— Развеет! — не унывал Устиныч. — Беспременно развеет!

Вспыхнула снова молния, сперва бледная и широкая, потом сразу метнулась она огненной линией в самую середину тучи и прорвала ее с треском и грохотом, и еще раз прорезала — и всю изорвала в мелкие клочья. Эти черные клочья сейчас же побледнели, растянулись, смешались с пробегавшими облаками и сплошь окутали небо...

Пошел мелкий беспрерывный дождик...

Идет он уже час и два, и загрязнил он дорогу, наполнил водой колеи, и некуда спрятаться от него тройке, что скользит и еле тащится по пустынному тракту, где только верстовые столбы да канавы... Хлещет дождик Устиныча по лицу, просачивается сквозь накинутую на плечи рогожку, в которой старик сделался похожим на попа в ризе.

— Стойте, ребятушки, запарился! — сказал он, бросая пристяжку.

Несмотря на дождь, он снял картуз и вытер ладонью вспотевшую голову.

— Пусть холодком обвеет... ничего!

— Далеко ль до села-то! — упрекнул его Трифон. — Вишь, церковь видать.

Однако он тоже бросил оглобли и, глядя на задыхавшегося отца, покорно дожидался его, опустив на грудь голову. Остальные терпеливо молчали.

Дождик не унимался.

Тройка стояла среди дороги.

III

Проходили дни и недели — путники не унывали. Потихоньку брели они, сокращая шаг за шагом свой путь и оставляя позади себя деревни, овраги и нивы. Секли их косые дожди, сушило их красное солнышко, обжигал их встречный ветер, слепивший глаза придорожною пылью, и радовал тихий полдень с его чуть уловимым звоном и стрекотом. Звездная ночь нередко заставала их среди поля, и на заманчивый огонек их костра выходил иногда бродяга, беглый каторжник, и без боязни рассказывал им о темных рудниках и, обогревшись, уходил и скрывался во тьме... Встречались им по пути цветущие поляны, густые рощи или необъятная ширь — до самого неба, и среди этой шири вдруг попадался где-нибудь на краю дороги одинокий деревянный крест. Невольно снимали шапки, глядя на него, прохожие, задумывались и вздыхали... Чей покой бережет этот безмолвный сторож? Кто лежит под ним? Убит ли здесь проезжий богач, или злой человек, или бедняк, изнемогший в нужде, остался тут на вечные времена?.. Ни имени, ни времени, ни причины не объясняет крест, и стоит он среди степи, как упрек, как загадка...

Не раз обгоняла их на пути и почтовая тройка, пролетавшая сломя голову с звоном и громом, и изумленно глядел на них развалившийся в тарантасе седок. Выпрямился он, ровняясь с ними, и дивился той беспощадной нужде, которая гнала их по проселкам и трактам.

Чем дальше, тем бодрей становился Сашутка.

— Не сдавай, дедушка! Не сдавай! — весело покрикивал он, когда Устиныч, то и дело останавливаясь, молча садился в траву и, причмокивая, сокрушенно качал головой.

Силы ему изменяли, и он дивился на самого себя.

— Ладно, батюшка, не берись. И без тебя довезем, — уговаривал его Трифон, отстраняя от пристяжки, но Устиныч впрягался снова.

— «Не берись, не берись!» Как это так «не берись»? — обижался он. — Нешто здесь парой возможно?.. Ну-ка, ну, Сашутка!.. Ну-ка, наляжь!

Сашутка весело налегал на свою пристяжку, и тележка катилась по-прежнему, но ненадолго. Устиныч опять останавливался и опять садился в траву.

На ночлег они уже не остановились в поле, а добрели до деревни, где их пустили во двор, под навес.

Всю ночь ворочался Устиныч под своим армяком, то засыпая и бредя во сне, то пробуждаясь в холодном поту.

— Эх, милый, не спится! — говорил он сам себе, и непонятная грусть щемила до боли его старое сердце. Он вздыхал, досадливо причмокивая по привычке, и крутил головою. — Знать, надорвался.

И ему вдруг стало жалко себя. Потому стало жалко, что прожил он семьдесят лет на свете, сгорбился, поседел, изломался, а ничего, кроме горя, кроме нужды и лишений, не видал от жизни. Даже теперь, на старости лет, когда и без работы уже стонут и ноют его надломленные, простуженные члены, он все еще гнется, все еще ломает спину под нуждою, под невольным ярмом. Идет он тысячу верст, голодает, мокнет под дождем, валяется, как последняя собака, на грязной земле и терпит и сносит все — ради того, чтобы прийти да умереть вдалеке от родины.

— Эх, горе, горе! — вздыхает старик, вспоминая свое родное село с широкой улицей, с рядами серых домиков, с белою как снег колокольнею. Вспоминаются ему и соседи, и старое разоренное гнездышко с раскосыми углами, с растасканной крышей, и хочется ему подняться сейчас же и бежать без оглядки назад, где нет уже ни зерна его, ни клочка земли, — а там пускай оставляет душа его грешное тело, пускай относят его в эту знакомую белую церковь и проводят на знакомый погост, на облюбованное местечко, по соседству с добрыми людьми — земляками...

Нездоровилось Устинычу целую ночь, а наутро он еле поднялся. Ноги отяжелели, на плечах словно висела гора.

«Сломался!» — тоскливо подумал старик, но не сказал никому ни слова.

Выехали они опять на дорогу. Веревка Устиныча часто ослабевала и почти волочилась по земле, а сам он шел медленным, неуверенным шагом, сильно сгорбившись и нахмурясь.

— Нет, ребятушки... не могу!

Старик остановился, скинул с себя веревку и опять сказал:

— Не могу, ребятушки...

Сначала он сел на траву возле придорожного куста, а потом лег и закрыл глаза.

— Чего, дедушка, развалился? — весело окликнул его Сашутка. — Садись, довезем!

Подошел Трифон. Молча поглядел он на отца, на переполненную тележку и, не зная, что делать, наклонился к Устинычу:

— Что лег-то? Может, дойдешь до деревни? Тележку-то без тебя осилим. Хоть сам-то иди!

Несколько минут простоял он молча над стариком, беспомощно опустив голову, потом прошептал:

— Экое дело какое!..

Подошли было бабы к Устинычу, и старуха, встревожась, начала было ныть и причитывать, но Трифон оглянулся и закричал на мать:

— Замолчи, что ль!

Старуха умолкла и тихо заплакала, а Трифон сморщился, закусил до боли губу и долго стоял неподвижно, отвернувшись в другую сторону.

Весь день простояли они на одном месте. Под Устиныча подстелили рогожи и армяки, чтоб ему было теплее, но он все дрожал и стучал зубами.

Развели костер.

«Неужто ночевать будем?» — думал Трифон и не знал, как быть и на что решиться.

Вся семья молча думала одну общую думу, и только Устиныч сквозь бред выговаривал иногда постороннее словечко, то кому-то жалуясь, что «способия» не дают, то кого-то браня и прогоняя:

— Мое место! Пошел ты! Говорят — мое!.. Убирайся...

Через минуту он приходил в себя и, глядя с тоской на Сашутку, говорил ему:

— Знать, милые, не дойду... Ничего не поделаешь...

Для вас старался... вас-то жалко... Думал, вам-то хорошо будет...

Он опять закрывал глаза и сердито вскрикивал:

— Мое место! Прочь пошел! Отойди!

И жутко становилось Сашутке от этого голоса, и тоскующее сердце его подсказывало, что дедушка отгоняет от себя смерть... Об этом же думали и другие.

От внезапного треска костра вздрагивал иногда даже Трифон. Все ежились, все приуныли...

Так застала их тихая полночь.

IV

День был праздничный. Все село собралось на дороге посмотреть на диковинное зрелище. Несколько троек ехало позади черного полка, на котором стоял высокий свинцовый гроб, покрытый сухими венками с белыми и черными лентами. Это возвращался на родину сибирский богач, скончавшийся где-то вдалеке, за границей.

В это же время на сельский погост несли дощатый, наскоро сколоченный гроб, в котором лежал Устиныч.

Теперь для него все было окончено. Освободилась его душа, изнывавшая семьдесят лет в его теле, ради которого он столько грешил, столько терпел нужды и горя, завидовал, унижался, боялся, и все это — прах и ничто. Такой же прах, такое же ничто, как и там, в запаянном свинцовом гробу, из которого уже никогда не выйти вечному одинокому пленнику.

А Устиныч вместе с своим тесовым гробом вскоре сгинет в глубине темной могилы, смешается с землею и когда-нибудь выглянет опять на здешний свет зеленой травинкой и будет опять красоваться на солнышке.

Зарыли Устиныча. Насыпали над ним бугорок из рыхлой земли, в которую Сашутка воткнул молодое деревцо с корнем и зеленью.

Старуха еще долго сидела на могиле с мокрым лицом и с красными пятнами вокруг глаз.

Молчание первым нарушил Трифон.

— Ну, Сашутка, — сказал он глухо, — теперь значит... парой.

Мальчик взглянул на отца, взглянул на свою одинокую пристяжку, и слезы брызнули у него из глаз.

Когда выехали они на дорогу и когда село с его колокольней и крестами погоста должно было сейчас скрыться

за поворотом, скрыться навеки от них вместе с могилой Устиныча, Трифон остановился.

Все оглянулись и начали молча креститься и кланяться, а Сашутка, скинув с себя пристяжку, бросился на колени и до земли поклонился той стороне, где лежал его седой друг... Он уперся лбом в холодную землю, и не хотелось ему оторваться от нее, пока не прохрипит опять над головою ласковый знакомый голос: «С богом, Сашутка! С богом!..»

И некому было уже так крикнуть, некому было утешить и ободрить его, и осиротевшей душе Сашутки не на что было откликнуться.

— Ну, трогай, Сашутка! Пора, — сухо раздался строгий голос отца, и точно ударил он его по сердцу этой строгостью.

В последний раз взглянул Сашутка на видневшееся вдалеке село, в последний раз поклонился погосту и, обливаясь тихими слезами, нехотя взялся за веревку...

Через месяц изнуренная «пара» докатила, наконец, тележку до новой земли.

1894

СУХАЯ БЕДА*

I

В студеную зимнюю ночь, когда вокруг все было черно и беззвучно, чуваш Максимка безмятежно спал на своей койке, накрывшись тулупом... Вдруг ему показалось, что дверь со двора, которая с вечера заперта была на крючок, распахнулась внезапно сама собой и в комнату ворвался сильный ветер, а вместе с ним в клубах морозного пара появился на пороге высокий старик, весь в белом, с белой бородой, и поплыл точно по воздуху прямо к тому месту, где было окно; но, проходя мимо койки, он обернулся и взглянул на Максимку ясными строгими глазами и исчез...

Обомлевший от ужаса, Максимка почувствовал, что холодный пот капает у него с лица, а сердце прыгает и колотится в груди, точно сорвавшись с своего места. В комнате по-прежнему мрак и тишина. От ужаса мысли Максимки путались; жутко было лежать зажмурясь, но взглянуть в эту черную ночь было еще страшнее, и ни за

* Из цикла «По Сибири».

какие сокровища в мире он не вылез бы теперь из-под своего тулупа.

Это был сухощавый крепкий парень лет двадцати трех; лицо у него было широкое, бесстрастное, без живых красок, глаза маленькие, усики жидкие, точно повыдерганные. Родом он был чуваш, один из тех приволжских чувашей, прозванных в шутку «Василиями Иванычами», и Максимка по привычке всегда оборачивался на такой окрик, к удовольствию уличных мальчишек, кричавших ему при встрече: «Василий Иваныч!» — и с хохотом разбегавшихся, когда тот обертывался и наивно спрашивал: «А?..»

Над ним все издевались, все почему-то думали, что Максимка может чувствовать только тогда, когда его бьют, а понимать — когда его ругают; все считали его дураком, но сам о себе он был совершенно иного мнения; он умел играть на шыбыре[1], мог делать пряники и пюремечи[2], умел петь сколько угодно песен, а надуть на базаре торговца, да еще самого ловкого, было его любимым занятием,— поди-ка, много ли найдется таких людей! Он очень гордился этим и, когда его бранили дураком, не обижался, а только думал про себя: «Ладно, погоди ужо!..» Он любил весеннее щебетание птиц, любил тихие звездные ночи, когда глядит на него с высоты ясная Семизвездница, похожая на ковшик, а поперек неба белеет Дорога Диких Гусей[3], про которую рассказывал ему дед так много страшного и таинственного. Максимка любил в такие ночи посидеть на воздухе и помечтать о своей судьбе; это доставляло ему удовольствие, а если случалось стащить у хозяйки комочек соли и луковицу, то звездная ночь да этакое лакомство делали его почти счастливым. Он переносился мыслями на родную Волгу, вспоминал, как она широка, вспоминал окрестные поля и деревни, свои милые далекие картины. Помечтать о них Максимка всегда любил; иногда и тосковал по родине, но вернуться на Волгу не собирался: что ему там делать? Разве найдешь еще где-нибудь такую девушку с такими ясными глазами, как Феня, такую ласковую, но строгую-престрогую, которой даже страшно сказать, что она хороша? А на родной стороне Максимке жилось не сладко: в жены ему досталась баба вдвое старше его, с зычным

[1] Шыбыр — пузырь вроде волынки. *(Примеч. автора).*
[2] Пюремечи — картофельные ватрушки. *(Примеч. автора).*
[3] Так называют чуваши Млечный Путь. *(Примеч. автора).*

голосом и крепкими кулаками, совсем не умевшая ценить в своем муже доброго сердца. Что ни день, то выходила ссора, что ни ссора, то бабьи побои да жалобы, и не стерпел, наконец, Максимка; а когда он бывал взволнован либо пьян, то становился жестоким. Он зарычал на жену, как зверь, отколотил ее напоследках веревкой, сорвал у нее с головы сурбан[1], соблюдая дедовский обычай, разодрал его надвое: половину бросил жене, другую часть взял с собою и ушел; но, когда уходил, растрогался и заплакал.

За судьбу свою он не страшился: лучше его никто не умел играть на шыбыре, и Максимка твердо верил, что не пропадет, если станет показывать это уменье по далеким ярмаркам, о которых слыхал много соблазнительного. На его счастье, была пора, когда с утра до ночи тянулись по Волге обозы с товарами, когда в людях нуждались, и Максимка, нанявшись в обозники, исходил много дорог и городов, много видывал разных людей и многому научился от них, пока, наконец, не попал в здешний город. Надеясь всех удивить своей музыкой, он, с волынкой за плечами, отправился в первый же кабак с предложением, но кабатчик смерил его взглядом с головы до ног и, заметив, что лицо у парня скучное, одежда рваная, ответил кратко, но вразумительно:

— К черту-с!

Музыкант не обиделся и пошел дальше. На постоялом дворе хозяин был внимательнее и переспросил, глядя на шыбыр:

— Это что ж за история?

— Шыбыр,— повторил Максимка.

— Нука-сь, послушаю.

Максимка задудел, а хозяин в раздумье почесал затылок; потом Максимка запел; тогда хозяин с сокрушением чмокнул губами и, вздыхая, промолвил:

— Нет, этакой подлости нам не требуется...

Куда ни обращался потом Максимка, везде ему отвечали одно и то же; наконец, он и сам понял, что его заунывный шыбыр и его грустные песни здесь не по месту, а веселых он петь не умел. Отовсюду его стали гонять с его музыкой; сначала выгоняли попросту, потом начали толкать в шею, а если где и не колотили, то обещались поколотить в следующий раз... Как провел он целую зиму, чем кормил-

---

[1] Сурбан — повязка из длинного полотенца. Разрывая сурбан, чуваши исполняют обряд развода. *(Примеч. автора).*

ся и где ночевал,— до этого никому не было дела; известен Максимка стал только через год, когда, бросив мечту о песнях, он благополучно служил у Емельянихи в ее пряничном заведении, отпирал ворота, колол дрова, а во время ярмарки бегал на посылках, от хозяйских жильцов. Особенно любил он Афанасия Львовича Курганова, который, бывало, приедет к ним на ярмарку и начнет сорить деньгами: того ему купи, за этим сбегай,— и Максимку сразу приметили все, кто раньше не хотел его знать.

— А! Старый приятель!— ласково останавливал его кабатчик, когда видел, что Максимка то и дело бегает к соседу менять пустые бутылки на свежие.— Заходил бы ко мне, приятель, за покупочкой!

— Ладно!— подмигивал ему Максимка.— Какой я тебе приятель?— и пробегал мимо.

Благодаря наступившей ярмарке Максимка и теперь был в таком же почете по соседним кабакам, а приезд Афанасия Львовича, ожидавшийся со дня на день, его веселил и радовал, как праздник: опять у него будут и деньги в кармане, и, главное, ненавистная Емельяниха, гроза и бич Максимки, будет гнуться перед Кургановым, говорить тихим и сладким голосом; да и мало ли удовольствий ожидалось от этих дней!

Емельяниха, у которой служил Максимка, была известна всему городу под именем «ведьмы», и это прозвище не раз смущало суеверную душу Максимки. Емельяниха была старая, злая и ворчливая женщина, с лицом желтым и сморщенным, как печеное яблоко. Сначала она жила бедно, а потом выписала откуда-то племянницу, Степаниду Егоровну, молодую вдову с черными глазами, и жизнь потекла у них сытая, довольная; потом обзавелись они домиком, который на ярмарку сдавали приезжим; затем на подмогу выписали Феню, белокурую худенькую сиротку, кормили и растили ее четыре года, одевали, как барышню, но только из Фени не вышло того, что вышло из Степаниды Егоровны: вместо того чтобы петь под гитару, Феня читала библию; от гостей, к которым ее выводили, она убегала; от их шуток, вместо того чтобы покраснеть и опустить глаза, она бледнела и сверкала глазами так сердито, что подгулявшему гостю не было никакого удовольствия.

Не предвидя от нее проку, на Феню безнадежно махнули рукой, прогнали на кухню и взвалили на нее всю черную работу.

— Наплевать!— сказала Емельяниха.— Ежели дура на-

стоящего счастия не понимает, так пускай с своим лешим зубы точит. Туда и дорога!

«Лешим» был не кто иной, как Максимка, которого Феня всегда утешала, а когда самой приходилось жутко, горевала с ним вместе. Раннее детство ее прошло в ином кругу, она жила в губернском городе у своего дяди, камердинера старого одинокого антиквария, собиравшего монеты, иконы, медали. Уже четыре года прошло, как умерли в один день и дядя и антикварий от какой-то заразы; уже третью ярмарку проводит здесь Феня, но примириться с новою жизнью она не могла; здесь все для нее было чуждо и враждебно, все не согласовалось с последним заветом дяди, который, умирая, говорил ей:

— Ни в горе, ни в радости загнанными людьми не гнушайся: в них много сердца и правды много. Запомни мое последнее слово: береги себя. Не надейся на свою красоту. Вырастешь — тогда поймешь, о чем я говорю, а сейчас только запомни.

— Запомню, запомню!— шептала девочка, стоя перед ним на коленях.

— Честно живи, Фенюша,— говорил умирающий,— темных людей полюби, утешай скорбящих...

С этим заветом и умер дядя, когда Феня была еще подростком. Долго старалась она понять эти последние слова, она знала их наизусть, но многое стало ей ясно только теперь, когда она выросла. Она с удовольствием променяла роль хозяйской родственницы на роль прислуги, терпеливо работала на Емельяниху, безропотно переносила попреки куском хлеба, но когда становилось уже не под силу терпеть, приходила к Максимке и отводила с ним душу.

— Что мне делать, Максим?— жаловалась иногда Феня.— С бабушкой просто житья нет...

— У, йомзя!— сердито ворчал Максимка, браня посвоему ненавистную Емельяниху.

— Я убегу от них.

— А куда?

— Куда глаза глядят.

Максимка с беспокойством глядел на ее свежее, почти детское лицо с ясными голубыми глазами и чувствовал в это время, как в груди у него переворачивается что-то. Он никогда не мог равнодушно слышать, если Феня начинала при нем мечтать о побеге, о том, как она уйдет куда-нибудь в монастырь и будет там работать до самой смерти.

— А то какая моя жизнь?— пригорюнивалась Феня,

складывая на коленях руки и глядя задумчиво вдаль.— Там лучше будет: стану поститься, петь на клиросе... Я и за тебя, Максим, буду молиться, чтоб и ты тоже в рай попал, а то ведь ты — нехристь! Тебя за это в аду станут мучить...

От таких предположений оба они задумчиво вздыхали; потом Феня добавляла:

— Ходи, Максим, в церковь да богу молись; тогда, может, мы вместе с тобой в раю будем жить...

— А чего ж делать там будем?— с живым интересом спрашивал Максимка, не имевший никакого понятия о религии, хотя был крещеным и очень гордился этим.

— Как — что делать?— удивлялась Феня.— Будем праведными... с богом будем беседовать, видеть его будем всегда!

Максимка разочарованно вздыхал, либо говорил на это: «Гм!..», либо молча чесал затылок, а то спрашивал:

— Только и делов там будет?

В церковь он не ходил, во-первых, потому, что не понимал, по-каковски там поют и читают; об евангелии слыхал только от Фени и интересовался одними чудесами; о боге он знал лишь одно, что где-то на небесах живет «русский бог» — такой добрый и милостивый, что перестал не только бояться его, но даже о нем и помнить.

Страшнее всего на свете была для Максимки полиция, поэтому, когда Феня упрекала его в чем-нибудь и говорила: «Побойся ты бога, Максим!» — тот возражал беспечно:

— Чего бога бояться? Бог небось не исправник.

Между ним и Феней общего не было ничего, но сдружила их печальная участь. Вечно обруганный и озлобленный, одичалый в одиночестве, Максимка вызывал к себе жалость. Глядя на него, она вспоминала всегда завет дяди — полюбить и утешить темного человека, и, как умела, утешала Максимку, а когда приходилось самой искать утешения, то Максимка делался ей незаменимым другом.

II

Город, о котором идет речь, был маленький, уездный. Стоял он далеко на Севере, за Уралом, в стороне от железной дороги и от больших путей. Судьба закинула его в такое захолустье, что ни через него, ни мимо него ехать было некуда.

В обыкновенное время здесь все было спокойно, власти

не знавали ни тревог, ни сомнений, а городской голова, простяк и труженик, не брезговал иногда нарубить собственноручно вязанку дров и делал это не ради моциона или принципа, а больше по простоте душевной; по моде не одевался, ходил в рубахе с высоким жилетом, в простых шароварах и в валенках. Однако не всегда бывало так просто и пусто в городе, иначе про него не знал бы никто, что он существует на свете, а он был не только известен, но даже знаменит в своем роде: ежегодно зимою здесь открывалась ярмарка на целый месяц, на которую съезжалось так много всяких людей из столиц, с Волги и Сибири, что становилось тесно, съезжались купцы, доктора, фотографы и артисты, съезжались губернские жулики и столичные шулера... Каких только имен и профессий не красовалось тогда на вывесках, каких не привозилось товаров! Но, помимо товаров и денег, приезжие завозили с собою необыкновенный шум и веселье: открывались трактиры на всевозможные вкусы, с арфистками и без арфисток, с музыкой и без музыки, до кабака включительно; открывался театр для более взыскательной публики, где исполняли «Гамлета» и «Дон-Карлоса» вперемежку с такими комедиями, о каких в столице не всякий имеет понятие, открывался цирк с забавными пантомимами и свыше десятка бань, которые считались здесь почему-то тоже за места увеселительные...

Для города ярмарка была — все: она прославила его имя на тысячи верст, кормила и поила всех жителей, поэтому и готовились к ней, как к великому празднику, и все горожане менялись перед нею, точно по мановению волшебства; они бросали обычные дела, отколачивали забитые квартиры, готовили лучшие платья, и многие уже заблаговременно ходили с красными носами и опухшими глазами, уверяя, что это будто от хлопот и бессонных ночей. Городской голова на время ярмарки облекался в черный сюртук, надевал крахмальную манишку, немецкие сапоги и разъезжал по почетным купцам, отдавая визиты. Нередко, впрочем, случалось, что, явившись во всем параде к приезжему, представитель города важно входил в переднюю и здоровался сначала с лакеем за руку, расспрашивал, как он поживает, все ли в добром здоровье, а затем уже позволял ему снять с себя шубу и ботики. Происходило это по очень простой причине: наниматься в лакеи к ярмарочным гостям имели большую склонность местные мещане, не считавшие никакую работу унизительной, была бы лишь доходна,

а с ними со всеми городской голова был круглый год в наилучших отношениях, с иными даже приятель и кум.

В один из морозных февральских дней, когда ярмарка была в полном разгаре, в городскую заставу въехала старомодная повозка с большим лубочным чепчиком, запряженная тройкой потных коней, и, звеня колокольчиками, не спеша поплелась по дороге.

— Куда прикажете?— оборачиваясь к седоку, спросил ямщик.

Из повозки выглянула на минуту голова в сибирской оленьей шапке, закутанная по уши в доху, и прозвучал в ответ резкий молодой голос:

— Сказано, к Емельянихе!

На улице было людно. Везде кипела деятельность и спешка; озабоченные лица людей и торопливая походка — все свидетельствовало о делах и недосуге.

Вот, выйдя из двери магазина, ловкий торгаш встряхивает мех перед покупателем; вон двое горячо спорят, очевидно из-за цены, и взмахивают уже руками, как бы готовясь закрепить рукобитьем сделку; тут соблазнили кого-то сверкающие за окном брильянты, там — вывешивают напоказ цветные материи. Все спешат, суетятся, волнуются... Эта лихорадочная жизнь сразу охватила приезжего.

— Да ну, живей!— крикнул он ямщику и при этом толкнул его в спину.

Должно быть, и ямщик успел проникнуться общим настроением поспешности; не обидясь за толчок, он подобрал вожжи и, лихо загикав на коней, погнал усталую тройку так быстро, что снежная пыль залепила ему бороду, лицо и одежду.

Дом Емельянихи стоял вдалеке от центра. Это было небольшое строение с мезонином в три окошка, с серым дощатым забором и зелеными воротами, на которых была прибита железка с лаконической надписью: *Пряники.* Ворота всегда были заперты, и, чтобы проникнуть во двор, нужно было долго звонить; на звонок обыкновенно выходил Максимка, развалистой, неторопливой походкой, а иногда выбегала Феня. Осадив лошадей перед этими воротами, ямщик не успел еще соскочить с облучка, как из повозки, распахнув шубу, вылез молодой человек лет двадцати восьми и направился прямо к калитке.

Оттуда навстречу ему уже выбежали из дома две женщины, Емельяниха и Степанида Егоровна, обе в накинутых наскоро шубейках; за ними опрометью бежал Максимка, а

в верхнем окне, чего приезжий уже вовсе не поспел заметить, прислонясь щекой к стеклу, глядела на него белокурая головка, что называется, «во все глаза», точно желая его разглядеть раньше, чем другие.

— С приездом, Афанасий Львович! Добро пожаловать! Милости просим, гость дорогой! — почти вырывая из рук поклажу, говорила ему старуха, стараясь кланяться ниже.

Кивнув ей головой, Курганов подошел прямо к Степаниде Егоровне и, сняв перед нею шапку, протянул руку.

— Здравствуйте, Степанида Егоровна!— проговорил он с улыбкой, слегка заигрывающим тоном.— Вы на меня и взглянуть не хотите?

Действительно, Степанида потупила перед ним глаза, но, услышав упрек, быстро окинула его взглядом, улыбнулась и опять опустила голову.

Через минуту они все трое входили уже по лестнице в мезонин, а следом за ними тащил на спине чемодан Максимка, чуть не плясавший от радости под своей ношей. Он был чрезвычайно доволен, что дождался, наконец, человека, который, точно красное солнышко, обогревает всех живущих здесь в доме, перед которым молчит и ежится даже сама Емельяниха.

Афанасий Львович имел вид молодцеватый; голос у него был громкий, взгляд упорный и смелый. Приезжая к Емельянихе, он распоряжался у нее, как у себя дома, и все его здесь слушались и любили, потому что он ни на что не скупился, был всегда весел, денег не считал и обладал удивительной способностью подчинять себе всех окружающих. Он был из числа людей, которым жизнь — грош, но, пока они живы, им подавай всего, чем жизнь красна. Ничем не стесняясь, всего требуя, за все щедро платя, Курганов любил жить на широкую ногу и любил, чтобы все кругом него кипело, двигалось и жило. Бывало, крикнет во весь дух: «Максимка!», и Максимка являлся перед ним свежий, бодрый, смотрящий во все глаза в ожидании приказаний. «На почту!— скажет Курганов, подавая пакет.— Да живо!» Или крикнет внезапно: «Беги, разменяй!..» Давая Максимке сторублевую бумажку, а иногда две и три,— он подкупал его доверием, какого тот отродясь не видывал ни от кого даже на двугривенный.

Когда Афанасий Львович, войдя в свою комнату, помещавшуюся наверху, рядом с комнатой Степаниды, умылся и переоделся, молодая хозяйка пригласила его к чаю. На

столе, кроме самовара, стояла водка, закуска и на чёрной сковороде шипела яичница.

— Прошу покорно, Афанасий Львович!

Курганов вошел, неся в руках большой сверток.

— Сначала возьмите гостинец, Степанида Егоровна,— сказал он, передавая подарок.— Недавно ездил в Москву... Какие материи стали там вырабатывать, что твоя заграница!

Степанида раскраснелась от удовольствия, притворно смутилась и, принимая сверток, молча улыбалась, не зная, что сказать.

— Что вы это, Афанасий Львович... Вы совсем меня избалуете.

— Ну-ну,— возразил тот, ласково махнувши рукою.— За кем другим, а за вами не пропадет.

Он пододвинул стул и сел к самовару.

— Чайку не угодно ли? Или, может, позавтракать? Небось проголодались в дороге.

Курганов оглядел быстрым взглядом бутылки и, потирая руки, ответил:

— От чая откажусь, а вот водочки выпью. Удивительно вы понимаете мой характер, Степанида Егоровна! Что дорожному человеку требуется? Чарка водки да поцелуй на закуску!

Он не спеша открыл бутылку, налил две рюмки и предложил чокнуться.

— За счастливый приезд, Степанида Егоровна!

— Кушайте на здоровье!

Он выпил, крякнул и, притянув свободной рукой к себе Степаниду, поцеловал ее в губы, потом начал закусывать и расспрашивать про нынешнюю ярмарку — много ли приезжих, хорошо ли торгуют и в каком трактире поют лучшие арфистки.

Степаниде было на вид около тридцати лет. Высокая, дородная, с крупными черными глазами и с непонятной улыбкой, не то застенчивой, не то задорной, она производила загадочное впечатление на свежего человека, но Курганов был не из тех, которые задумываются над чем-нибудь в жизни, а тем более над женскими взорами и улыбками. Степанида считалась вдовою, но о вдовстве своем, кажется, не печалилась; для развлечения у нее имелась гитара, на которой ее выучил кто-то играть «За рекой, на горе», а в шкафчике стояла наливка для хороших знакомых, и покойный пристав, не тем будь помянут, в долгие зимние вечера

нередко засиживался здесь до рассвета. Да и не одному приставу знакома была «вдовья» наливка...

Наскоро позавтракав, Афанасий Львович спросил вина.

— Ну, выпейте, Степанида Егоровна! Говорят, старый друг лучше новых двух... Много новых-то друзей завели за зиму?

Он поднял стакан и молча улыбался, ожидая ответа. Степанида чуть было не смутилась под его взглядом; она хотела ответить упреком, но раздумала и сказала игриво:

— А хошь бы и много, Афанасий Львович?

Однако сейчас же раскаялась в таком ответе и печально вздохнула, словно желая сказать, что никакие друзья не могут заменить ей *одного* человека, а какого — поди угадай!

Выпив залпом стакан, Курганов лукаво погрозил ей пальцем и, поклонившись, вышел из комнаты, а затем уехал на ярмарку.

III

Когда свечерело и деловая ярмарка затихла до утра, то до утра же зашумела веселая ярмарка. Магазины давно уже заперты, но по трактирам песни, хохот и музыка; всюду набилось народу, что мух на мед, и некуда присесть запоздавшему посетителю.

У Емельянихи хотя и не трактир, но гостей набралось немало; хлопают пробки, льется вино, а табачный дым, словно туман, висит в комнате и щиплет глаза. Это деловая компания празднует приезд Афанасия Львовича. Степанида Егоровна, улыбаясь и отшучиваясь, сама подносит гостям стаканы, и все с нею чокаются, все кричат и глядят на нее полупьяными полувлюбленными глазами; всем нравится ее пышный, колыхающийся стан, ее сочные, розовые губы, звенящий, увлекательный смех и маслянистые черные, как вишни, глаза; но никому она не отдает предпочтения, и напрасно стараются гости закручивать стрелкой усы, приглаживать бороды, капули и проборы — все для нее одинаковы; только к Курганову, сидящему на диване поодаль от компании, подходит она чаще, да и то по делу, потому что он настраивает ее гитару.

— Знать, попортилась, Афанасий Львович, давно уж в руки не брала,— говорит она и снова отходит к столу.

То поднося вина, то рассказывая о гитаре, то жалуясь, что разучилась играть, Степанида Егоровна все время,

пока Курганов подвязывал и пробовал струны, переговаривалась с ним, возбуждая зависть в гостях, а когда тот и сам подошел к столу и, настроив гитару, предложил спеть, то хозяйка, а за ней и гости хором затянули «Милую», но сбились, расхохотались и запели «Крамбамбули», продолжая чокаться и подливать в стаканы. Заглушая нестройный хор, кто-то громко запел, указывая обеими руками на Курганова:

Приехал на ярмарку ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец...

Феня, притаившись за дверью, не спускала глаз с Афанасия Львовича. Ей было приятно смотреть, как он иногда развалится на диване, как неожиданно встанет, чокнется и выпьет вина, или проведет рукой по струнам, или запоет... Какие у него добрые глаза, и как он весел! Другие тоже сидят и пьют, хохочут, кричат, но видно, что они все пьяны и грубы, а он такой добрый-добрый... Фене нравился больше всего голос Курганова; в нем было что-то душевное и простое. Но отчего же голос его такой грустный, когда он поет? Все радуются и кричат, а у Фени от этого голоса щемит на сердце и хочется заплакать...

...Всю ночь не смыкал я, бывало, очей,
Томился и думал я только о ней.
Теперь все прошло. Пролетела весна,
И молодость жизни далеко ушла...—

раздавался голос Курганова, и Фене казалось, что Афанасий Львович действительно о чем-то горюет, и, улыбаясь, она думала: «Хороший... добрый человек!..»

...А старость все ближе и ближе подходит,
Готовлюсь я в вечность совсем перейти,
А счастье все дальше... да дальше уходит...

Гостей веселило пение Курганова, и когда он кончил, все зашумели, полезли с ним чокаться, а Фене казалось, что он, может быть, плачет и ему не до вина.

— Эй! Кто там!.. Максимка!..— закричал неожиданно Курганов, хлопая в ладоши.— Максимка!.. Шампанского сюда!

У Фени екнуло сердце. Она хотела было убежать, но заколебалась и, наконец, сделала шаг вперед и вошла в эту дымную комнату, куда ей было запрещено показываться.

— Что прикажете, Афанасий Львович? — проговорила Феня, останавливаясь на пороге.

Но вместо приказания Курганов протянул вперед руки и весело воскликнул:

— А, Фенюша! Иди! Иди сюда! Я уж давно про тебя спрашиваю.

Степанида Егоровна молча положила гитару и, пожав плечами, недовольная, вышла из комнаты.

— Что прикажете, Афанасий Львович? — снова повторила Феня, опуская глаза и не двигаясь с места.

Ее появление заинтересовало гостей. Начали переглядываться, подмигивать в сторону Курганова и улыбаться, а находившийся тут же в компании татарин в цветной тюбетейке, пивший пиво, грузно поднялся из-за стола и, подойдя к Фене, начал ее рассматривать, повторяя вполголоса: «Хор-руш товар! хоруш товар!»

Курганов взял его за плечи, молча повернул и посадил снова за стол.

— Пей, Хасан, за мое здоровье, а за товарами завтра придешь.

Все захохотали, и смущенный татарин, взявшись снова за пиво, проговорил с усмешкой:

— Скупой караванбаш, ай, бачка, скупой! Все себе берет, гостям ничего не дает...

Феня не обратила внимания на улыбки и шутки гостей и молча дожидалась приказаний Курганова.

— Вот что, Феня, — сказал Афанасий Львович: — вели Максиму подать шампанское... все давай!.. весь кулек!.. А ты позови бабушку да скажи, чтоб непременно пришла. И сама приходи. Слышишь?

— Я не могу, Афанасий Львович, — прошептала Феня. — Я лучше здесь, в коридоре, побуду.

— Говорю, приходи! Не придешь, так приведу сам. Да Емельяниха пусть тоже приходит. Никаких отговорок чтоб не было. Понимаешь?

— Тащи сюда всех! — послышались голоса. — Хозяйку сюда! Шампанского!

Поднялся веселый крик и смех.

— Ну, живо, Феня! — командовал между тем Афанасий Львович, беря ее за руку. — Скажи Степаниде Егоровне, что гости, мол, сердятся. Присылай их обеих!

Не успела Феня повернуться и выйти в коридор, как чья-то холодная костлявая рука схватила ее за волосы и поволокла вперед в темноту. Потом раздалась пощечина. Затем застучали быстрые шаги Фени, молча сбегавшей по лестнице с мокрым от слез и закрытым ладонью лицом.

Поданное шампанское еще больше развеселило гостей; к тому же вернулась Степанида Егоровна, а за нею вошла и сама Емельяниха, надевшая для парада чепец и на плечи большой персидский платок. Она всем приветливо улыбалась и, когда ей наливали вина, отодвигала стакан и говорила:

— Сами кушайте на здоровье, дорогие гости! Благодарю покорно.

— Ну, выпей, бабушка! — приставал к ней Курганов, пододвигая стакан.

Емельяниха его отодвигала и говорила:

— Сами кушайте, Афанасий Львович!

Курганов снова придвигал стакан.

— Ну, выпей, Емельяновна!

И они продолжали двигать друг к другу стакан до тех пор, пока Курганов не зацепил его рукавом и вино пролилось на скатерть.

— Эх, старая! — весело воскликнул он и потянулся за новым стаканом.

— Говорю, батюшка: угощать меня — только добро портить.

— Ну, уж теперь не уйдешь! Пей, Емельяновна.

Начались тосты: сперва за Курганова, потом за хозяек, потом за каждого из гостей. Пир разыгрывался не на шутку. Пили уже без разбора — и коньяк и шампанское; окурки бросали куда попало; под столом катались пустые бутылки, вино проливалось на скатерть, и у гитары, переходившей из рук в руки, оборвали струну.

— Да где же, наконец, Феня? — вспомнил вдруг Курганов.— Отчего она не пришла? Емельяновна, приведи Феню!

— Ну вот, батюшка, очень она тебе нужна! Знаешь, какая гордячка... На что такая потребовалась?

— Еще расплачется на людях-то,— с неудовольствием добавила Степанида Егоровна.— Оставьте ее, Афанасий Львович... Вот лучше я вам винца холодненького подолью.

Чарочка моя серебряная,
На златом-то блюдечке поставленная! —

вдруг запела Степанида Егоровна, с улыбкой предлагая Курганову чокнуться.

Эх, кому чару пить,
Кому выпивать? —

грянули вслед за нею дружные голоса гостей.

Пить чару, пить чару
Степаниде да Егоровне
На здоровье, на здоровье,
На здоровьице!

Все потянулись к ней со стаканами и рюмками, а она, кокетливо потряхивая головой и подергивая плечами, продолжала петь, поддразнивая разгулявшихся гостей:

Ай, жги, жги, жги,
Говори да разговаривай!

В Степаниду Егоровну точно вселился бес: она не то что ходила, а как будто плыла по комнате с поднятыми для объятий руками, дразня всех своим пышным бюстом, и задорно припевала:

За-х-хочу — пол-л-л-люблю!
Захочу — раз-люб-лю!
Я над сердцем вольна,
Жизнь на радость нам дана!

— Эх-ма! Ах ты! да ах ты, ну!! — вскрикнул кто-то весело и задорно, и сразу несколько голосов подхватили мотив, застучали по полу каблуки, захлопали в такт ладоши, и залихватская плясовая песня завладела общим настроением. Кто-то, загремев стульями и пустыми бутылками, выскочил на средину комнаты и под гам и крики прошелся «колесом», разводя руками и откидывая во все стороны ноги, изредка притопывая и приседая.

— Браво, браво! — кричали гости.

Одни кричали «браво», другие пели, поддерживая плясовой мотив.

Курганов пел и играл на гитаре, татарин звонил стаканами по бутылкам, и от топанья всей компании дрожали пол и стены.

Максимка, с разинутым ртом и опущенными руками, наблюдал из темного коридора в полуотворенную дверь, испытывая полное удовольствие. Крики, пение и дикий хохот производили на него впечатление не чужого веселья, а своей личной радости. Он видел, как Курганов наливал вино, как пил, как заставлял пить Емельяниху, и та, низко кланяясь, пила. Он с торжеством замечал, что хозяйка пьянеет, и когда она, выпив последнюю рюмку, замотала головой, Максимка не выдержал.

— Х-хы, хы!..— радостно и искренне воскликнул он и даже присел, обнимая живот.

Чем дальше, тем веселее кричали гости. Пляска не унималась.

Максимка ликовал, особенно когда увидел, что и Курганов пустился вприсядку. За ним выбежала Степанида и плавно закружилась с поднятыми руками, колыхаясь и подергивая плечом, а Курганов возле нее так и выбрасывал из-под себя ноги вправо да влево. Максимка был в восторге, глядя на них; лучшего удовольствия ему никто в мире не мог бы доставить. Наконец, восторг его превзошел всякие ожидания; от радости он чуть не подавился, когда увидал, что сама Емельяниха, растопырив руки и махая над головою платком, кружится среди комнаты под общий крик и хохот; клок седых волос выбился наружу, щеки ее были красны, глаза мутны, и широкая улыбка делала лицо ее до того безобразным, что Максимка потешался над нею от всей души.

— Гляди, гляди! — шептал он Фене, толкая ее локтем.

— Господи! — прошептала Феня, качая головой.— Бабушка-то... бабушка... Стыд-то какой!..

Гам, смех и песни, а порой и неосторожное словечко, сорвавшееся с языка, еще долго оглашали весь дом. Наконец, гости стали целоваться с Кургановым и, пошатываясь, выходить к шубам.

Было уже под утро.

IV

Со следующего дня Курганов горячо принялся за дело и бывал иногда занят так, что не успевал пообедать. Домой он заезжал, чтобы достать или убрать какие-нибудь бумаги, затем опять уезжал и возвращался поздно ночью совершенно усталый. Максимка бегал по его поручениям тоже целые дни, то с письмом, то со свертком, и вовсе отбился от Емельянихи, говоря, что идет по приказу Афанасия Львовича, а сам в это время успевал завернуть на часок в трактир, где и блаженствовал без всяких опасений, благо водилось у него немало кургановских денег.

Лихорадочная жизнь ярмарки разгоралась день ото дня. Дела и веселье, работа и удовольствия перепутались и сплелись настолько между собою, что посторонний человек не решил бы, где кончалось одно, где начиналось другое. Без угощения ничего нельзя было поделать; с иными

бились по нескольку дней, кормя обедами, напаивая вином, возя по театрам; случалось, что пропивали больше, чем наживали, но, спасая честь и достоинство фирмы, на это не обращали особенного внимания.

Не дремал за это время и городской голова. «Вот-с, батенька, сударь вы мой,— говорил он, объезжая знакомых,— по заведенному порядку подписочка махонькая... в пользу городских бедных... Может, наличными соблаговолите, а то и товарцем: всяко деяние благо».

Одни давали денег, другие жертвовали вещи в аллегри, театры обещали отпустить лучших певцов, а трактиры — арфисток, и в назначенный день вся ярмарка, от мала до велика, справляла благотворительный праздник.

В этот день Афанасий Львович был особенно озабочен. Он приезжал домой и перебирал бумаги, считал на счетах, опять уезжал и, наконец, призвал Максимку:

— Вот тебе письмо... Понимаешь? Беги сейчас на почту, бери тройку и поезжай во весь дух на ту станцию... Понял?

— Понял,— весело подмигнул Максимка, очень любивший, когда ему поручали важное дело.

— Во что бы то ни стало нужно догнать Климентовича! Понимаешь, Климентовича! Спроси смотрителя, проехал Климентович или нет; если проехал, гони еще станцию, две, три — все равно! Понимаешь? Нужно догнать и передать вот это письмо.

Максимка почувствовал прилив такой нежности к Курганову, что ему захотелось поцеловать его фалду, которую тот небрежно откинул, держа руку в кармане.

— Вот тебе письмо,— сказал Курганов, передавая пакет.— Вот тебе деньги на дорогу... Обратно скачи во весь мах и к утру привези ответ. Двадцать рублей на чай получишь. Но если ты его не догонишь...

— Кереметь[1], догоню! — воскликнул в азарте Максимка.— Чего не догнать?

— Ну, так марш! Бегом! Живо!

Афанасий Львович даже топнул и ударил в ладоши, а Максимка, сунув письмо и деньги за пазуху, бросился опрометью вниз, так что задрожала и затрещала под ним вся лестница. Его душа переполнилась уважением и любовью к Курганову: катить на тройке, исполнить важное

---

[1] Кераметь — свирепое божество чувашей. (*Примеч. автора*).

дело и получить двадцать рублей было для него таким удовольствием, какого еще — умрешь, не увидишь...

Уже с обеда в пассаже гремела музыка. Городские дамы, расфранченные и разодетые, заседали за лотерейными колесами; у супруги городского головы еще со вчерашнего вечера ожесточилось сердце на чужие карманы; жена исправника и жена лесничего сперва стесняясь исполняли свои обязанности, но мало-помалу начинали тоже входить в азарт. А народа прибывало и прибывало. По старинным традициям, в этот день вся ярмарка должна была посетить базар, и в пассаже поэтому набиралось такое множество публики, любящей потолкаться, позевать, послушать оркестр и певцов, что выходила вместо гулянья толкотня, дававшая возможность хорошо поживиться не только городским беднякам, но и заезжим карманникам. Развлечения не прекращались до вечера. Всюду пахло свежими елками, лисьим мехом, кофеем, овчиной; от дам благоухало духами, от мужчин — табаком и спиртом.

Вдоволь намявши бока и туго наколотив карманы всевозможными безделушками из аллегри, к вечеру усталая публика разбредалась опять-таки по трактирам доканчивать благотворительный день.

У Курганова знакомых было полгорода. Куда ни придет, куда ни повернется, отовсюду слышно одно и то же:

— Афанасий Львович! К нам на минутку!

И Курганов подходил, присаживался и выпивал, переходя от одних знакомых к другим. Один говорил: «Уважь!» — и Афанасий Львович из уважения выпивал шампанского; другой говорил: «Не обидь!» — выпивал и с этим; третий приставал: «Удостой!» Наконец, у Афанасия Львовича зарябило в глазах. Потеряв меру, он уже сам начал спрашивать шампанское и приставать к знакомым, требуя «уважить», «не обидеть» и «удостоить». Потом с компанией арфисток переселился в кабинет, где ему пели романсы, гладили его по волосам и шутя вынимали из карманов выигранные безделушки...

Стояла глухая ночь, когда он подъехал к своим воротам. На душе у него было пусто, в голове шумело. Прежде чем позвонить, он огляделся кругом; левая сторона улицы была черна как уголь, а правая сияла серебром; серые домики, снежная дорога, крест на колокольне — все блестело и сверкало, и на Курганова напало раздумье. Он стоял возле калитки и не мог налюбоваться картиной, развернувшейся перед ним, словно в первый раз в жизни. Чувство не

то раскаяния, не то одиночества грызло его сердце, и ему становилось жаль своей молодости, уходившей на кутежи. Он глядел на ясное небо, на звезды, на сверкающий снег, и хотелось ему чего-то чистого и высокого, ради чего стоило бы жить и трудиться.

Курганов стоял с опущенными руками, не зная, на что решиться. Ничего, однако, не придумав, он подошел к звонку, досадливо рванул его изо всей силы и громко обругал собаку, залаявшую на него из подворотни.

Дожидаясь его возвращения, на звонок выбежала Феня.

— А где ж Максимка?— строго спросил Курганов.— Небось дрыхнет, скотина?

— Максима вы за город услали. Только поутру вернется.

— А... да! Ну, черт с ним!

Феня заперла калитку и пошла следом за Афанасием Львовичем. Когда они прошли через сени, Курганов остановился на пороге Фениной комнаты и, подумав, сказал:

— Нет ли, голубушка, где-нибудь браги, а то в горле пересохло. Принеси-ка, я подожду.

Феня молча взяла свечу и, стесняясь своего костюма, потому что была в большом платке, накинутом на голые плечи, ежась и закрываясь, вышла в сени, а Курганов вошел в ее комнату, освещенную слабым светом лампадки, и сел прямо на кровать.

V

Было тихо вокруг; капала где-то вода из рукомойника, ударяясь о медный таз, где-то хрипло тикали часы, и больше ничем не нарушалось ночное безмолвие. Комната, где он сидел, была маленькая, низкая, с дешевыми обоями в мелкую шашку, с одним окном, задернутым занавеской, с маленьким зеркальцем на стене, возле которого висело вышитое русским швом полотенце, на стуле лежало сброшенное кое-как платье.

Опустивши голову и сложив на коленях руки, неподвижно сидел Афанасий Львович в ожидании браги, стараясь сосредоточить разбегавшиеся мысли.

— Афанасий Львович... Что это вы где! — со стыдливым упреком обратилась к нему Феня, вернувшись со свечкой и глиняным кувшином в руках.

Заметив брошенное платье, она смутилась еще больше,

но тот, не обращая внимания на ее слова, проговорил рассеянно:

— Знаешь, Феня... Я нынче взял билет... Дай, думаю, на счастье... И вот, погляди, выиграл.

Он начал шарить по карманам и вынул золотое дешевое колечко с бирюзой.

— Видишь?.. Возьми и носи! Это на счастье. Давай я тебе сам надену. Да ну же, подойди, чего боишься!

— Афанасий Львович, пожалуйте к себе!— боязливо настаивала Феня умоляющим голосом.— А то как бы бабушка не проснулась.

— А черт с ней, с бабушкой, если и проснется!— небрежно ответил Курганов.— А это вот духи,— продолжал он спокойно, вынимая из другого кармана флакон, перевязанный голубой лентой.— Всё выигрыши, Феня! Много я этой дряни выиграл нынче; половину бросил. Налей-ка мне бражки стаканчик!

— Идите, право, к себе, Афанасий Львович, вам завтра вставать рано,— умоляла Феня, подавая стакан браги.

Курганов отхлебнул и вытер усы.

— Погоди, Феня... Уйду,— сказал он,— погоди меня гнать.

Он горько вздохнул и в два больших глотка осушил весь стакан.

— Хорошая брага,— похвалил он, начиная закуривать папиросу и чувствуя, что мысли его постепенно начинают путаться.— А ты слышала, Феня, как арфистки поют?

— Нет, Афанасий Львович... Где же мне слыхать, я в трактиры не хожу.

— И не ходи. Там всякое безобразие... Лучше, Феня, книжки читай... Я, пока читал, хорошим был человеком... А это все чепуха... Зло!.. Ты умеешь читать?

— Умею, Афанасий Львович. Меня дядя начал учить. Без него я бы ничего не знала.

— Молодец дядя!

Наступило молчание. Феня стояла возле стены, опустивши глаза, и дожидалась, когда Курганов уйдет, а тот сидел на ее постели с папиросой в зубах и задумчиво глядел на тусклое пламя свечи, вертя в руках выигранное кольцо.

— Ну, поди, я тебе надену,— вспомнил он про подарок.

Феня не отвечала. Курганов опять замолчал.

Несколько минут он пристально и спокойно созерцал Феню. Ее молодое лицо казалось ему красивым и, главное, свежим, девственным, почти детским; волосы ее были глад-

ко зачесаны назад и сплетены в косу; от всей ее фигуры, от свежего лица, от скромно опущенных глаз веяло юностью, простотой и, как казалось в эту минуту Курганову, самобытной прелестью, и он мало-помалу залюбовался ею. Он мысленно сравнивал ее лицо с размалеванными лицами арфисток, которых час тому назад угощал в кабинете, слушая их песни и вольную болтовню, а иных даже обнимал и целовался с ними. Ему становилось гадко от этих воспоминаний. Он глядел на Феню и дивился, как мог он находить удовольствие среди тех, кто доступен каждому без симпатии, без любви, даже без уважения. И ему казалось, что он уже давно ненавидит эти лица с подведенными бровями, этот неискренний хохот, это необузданное веселье, весь этот чад продажной любви, из которого он только что выбрался с тяжелой головой и несвязными мыслями.

— Не гони меня, Феня,— ласково обратился к ней Афанасий Львович, и в голосе его дрогнула скорбная нотка.— Ты меня давно знаешь. Не бойся меня, я не злой человек.

— Что вы, Афанасий Львович! Кто же говорит... Я не боюсь... Сидите сколько угодно.

— А... ты все не про то, Феня! Ты думаешь, что я у вас постоялец, что я твоей Емельянихе деньги плачу, так мне уж и черт не брат! Сижу, мол, где хочу, делаю, что знаю. Нет, Феня!.. Ты лучше вот что скажи: веришь, что я не злой человек, что я тебе ничего худого не пожелаю? Коли веришь, садись рядом, а я тебе буду рассказывать...

— Рассказывайте, Афанасий Львович; я слушать буду все равно стоя.

— Садись, говорю тебе!..

Курганов быстро поднялся и схватил ее за руку выше кисти. Феня взглянула на него с недоумением и страхом и прошептала:

— Афанасий Львович!.. Пустите, ради господа!..

— Я с тобой попросту говорю, а ты все дичишься. Ну, бог с тобой!— упрекнул Курганов и, выпуская из своей руки ее руку, добавил:— Я думал, ты меня пожалеешь, Феня... Ну, налей хоть браги еще!

Он сел опять на постель, а Феня подала ему наполненный стакан.

— Ты думаешь, я счастлив?— продолжал Афанасий Львович, отхлебывая браги.— Нет, Феня, все это чепуха... Да, чепуха! И вся жизнь моя — чепуха, просто хоть пулю в лоб!.. Для чего я живу? Ну, скажи, пожалуйста, я живу для какого черта? А? Кому я нужен?

— Что вы это, Афанасий Львович?— возразила та с недоверием.— Ваша ли жизнь нехороша?

— Чем же она хороша?

— Да все у вас есть... все вас любят... Сами вы такой...

— Какой это «такой»?

— Молодой...— сконфуженно договорила Феня, хотевшая было сказать «красивый».

Курганов вздохнул и с грустью махнул рукой, как бы говоря, что его песенка спета.

— Молодой...— повторил он задумчиво и усмехнулся.— Был молодой, Феня! Был да сплыл!.. Вон уже скоро плешь начнет протираться... А выпито-то сколько?.. Ведь если все это в котел лить, что я выпил, так зелье то котел проест, а не то что живого человека... Э, где уж тут до молодости! Зря прошла! А вот ты отчего такая грустная всегда?— спросил он неожиданно, вглядываясь в ее лицо.— Или живется несладко?

— Я ничего...

— Знаю, как «ничего»! Уж больно Емельяниха-то у тебя шельма, да и Степаниде Егоровне тоже пальца в рот не клади.

— Нет, за бабушку мне надо бога молить,— возразила Феня.— Кабы не она, и жить бы как — неизвестно. Конечно, работы много, да я работать умею, мне нетрудно.

— Плюнь ты на свою бабушку. Терпеть ее не могу, старую хрычовку!

— Как же так, Афанасий Львович! Зачем так говорить, это мне даже грешно. Я, может быть... Я, может, и уйду... Только ведь, Афанасий Львович... Только я сама еще не знаю.

— Уйдешь? Куда уйдешь?

— Так... Куда-нибудь...

Феня, теребя руками концы платка, осторожно взглянула на Курганова, как бы решая, можно ли сказать ему тайну, и добавила:

— В монастырь, может быть, пойду... Я давно собираюсь.

— В монастырь?.. Да ты с ума сошла, Феня!— воскликнул тот.— Зачем тебе в монастырь?

— Что же здесь-то делать, Афанасий Львович?— проговорила Феня, волнуясь все более.— Я ведь... мне ведь...

— Тяжело тебе здесь, вот что!— разрешил ее колебания Афанасий Львович.— А говоришь «ничего»! Какой ничего!

Запрягли в работу, как лошадь, без отдыха. А ты все терпишь, все сносишь.

— Как же не терпеть... Конечно, нужно терпеть... Преподобная Феодора и не это терпела, когда в монастырь пошла... Вот и я, Афанасий Львович, должна претерпеть... В монастыре будет еще труднее...

— Терпеть да терпеть,— проговорил Курганов, грустно кивая головой.— Все только терпеть да страдать... А были ли у тебя радости, Феня? Знала ли ты когда свободу? Видела ли мир божий?.. Ничего ты этого не видала, и ничего ты не понимаешь! Ведь небось тебе и пожить хочется? И полюбить хочется? Правда? Ну, понежиться, что ли, приласкаться к милому человеку? А?

Феня не отвечала; только руки ее проворнее затеребили платок.

— А жизнь-то кругом кипит, манит к себе!.. А ты вот про монастырь думаешь, потому что тебе тяжело здесь; все для тебя чужие, никто тебя не ценит... А ведь мир-то велик, жизнь-то на свободе сладка!.. Эх, Фенюша, Фенюша!.. Нашелся бы такой человек, который бы оценил тебя, полюбил, и ты бы тоже его полюбила,— разве задумаешься? Махнешь на все рукой и пойдешь за ним, куда позовет; правда? Ведь пойдешь? И монастырь забудешь и горе забудешь... С милым человеком год за день кажется... Правда?— допытывался Курганов, каждым словом бичуя Фенино сердце.

Она стояла, низко опустив голову, и молчала. Если б Афанасий Львович понимал, как он мучил ее, как насильно вызывал из глубины души затаенную печаль и неясные думы, называя прямыми именами ее скорби, которых она еще не умела назвать, он замолчал бы, но охмелевшая голова не работала, а язык, как нарочно, становился бойчее.

— Великое дело, Феня,— свобода! Живешь, как хочешь; никто с тебя слова не смеет взыскать; пошел, куда вздумал, вернулся, когда захотел... А тебя небось Емельяниха и к подруге без того не отпустит, чтобы не попрекнуть. Знаю я ее, чертову перечницу!

— У меня нет подруг,— ответила Феня почти сквозь слезы.

Яркое розовое пятно выступило на ее левой щеке около подбородка, а лицо было по-прежнему белое. Курганов заметил это, и волнение Фени слегка сообщилось ему. Он следил за ее пальцами, которые нервно свертывали и раскатывали конец платка, глядел на ее волнующуюся грудь,

на зардевшееся пятно на щеке и думал, что отпускать такую красивую девушку, полную жизни, в монастырь — жалко.

— Знаешь что, Феня!— воскликнул он неожиданно, ударяя себя ладонью по коленям.— Хочешь отсюда уехать?.. Уедем со мной!..

Феня испуганно метнула на него взгляд, вспыхнула вся и, как бы не расслышав вопроса, зажмурила глаза и еще ниже опустила голову.

На Курганова нашло вдохновение. Допивая глотками стакан, он начал рассказывать, где бывал, сколько объездил городов, какие видел страны.

— Поедем, Феня!— говорил он с увлечением.— Я тебе покажу Москву, про которую, знаешь, поется: златоглавая, белокаменная... Небось слыхала?.. Ну, говори, слыхала, что ли? Чего ж ты молчишь, Феня? Слыхала про Москву?

— Да... слыхала...— еле прошептала она.

— Ну вот. И в Петербург проедем; там дворцы стоят, государь живет... Оттуда махнем за границу. Улицы там какие! Дома какие — на крышу взглянешь, шапка свалится!.. Магазины, рестораны — черт знает!.. Здесь у нас снег да метели, мороз за уши дерет, а там где-нибудь на берегу моря — тепло... цветы цветут... Ты видела когда-нибудь море? А виноградники? Идешь, а вокруг тебя рай земной: груши зреют, апельсины на ветках... виноград висит вот этакими кистями!.. Потом в море будем купаться... Волна это издали растет, бежит прямо на тебя... думаешь: ну, разбила!— а она рухнет и расстелется мелкой струйкой, запенится, зажурчит... а мы с тобой выкупаемся и пойдем к себе... кофе пить... Да, Феня! Цены ты себе не знаешь! Ведь если с тебя сорвать эти тряпки да нарядить тебя в хорошее платье, да в экипаж посадить, ведь все завидовать станут!..

Любуясь ее волнением, Курганов все более убеждался, что Феня — красавица и что взять ее отсюда необходимо, и в восторге воскликнул:

— Кончено дело! Едем, Фенюша!

Он встал, шагнул к ней и положил на плечи ей руки.

— Ты ведь будешь меня любить? А? Будешь любить? Скажи, Фенюша, будешь любить? Ну, милая... скажи...

Феня молчала. У нее голова кружилась. Она переставала понимать, где она, что с нею и не во сне ли все это... А Курганов все спрашивал, ласково, вкрадчиво, наклоняясь почти к самому лицу ее:

— Поедешь, Феня?.. Будешь меня любить?

Его рука обвивала уже ее стан.

— Афанасий Львович...— с трудом прошептала Феня; дыхание ее обрывалось, ноги подкашивались.— Ради бога... Афанасий Львович!..

Она медленно подняла на Курганова глаза, не то с упреком, не то с мольбою, и улыбалась ему, и дрожала, и ничего не могла вымолвить.

— Завтра, завтра, Фенюша,— шептал в ответ Курганов, гладя ее по голове.— Завтра утром приди мне сказать... Решайся... В среду я уезжаю отсюда, а если ты поедешь, так завтра же вечером соберемся! Право, Фенюша, хорошо поживем! Так завтра придешь с ответом? Не забудешь, Фенюша?

Феня потрясла головой...

— Не забудешь? Придешь?

Она кивнула, не помня себя. Она хотела что-то сказать ему, но Афанасий Львович быстро обнял ее и крепко поцеловал в губы, в глаза, в щеку... Феня вскрикнула и, как змея, извернувшись всем телом, выскользнула из его объятий, зашаталась и бросилась в сени.

Курганов глядел на захлопнутую дверь, не двигаясь с места; потом достал портсигар и закурил папиросу. Потом, подождав с минуту, он взял свечку и нетвердыми шагами направился к себе наверх, откуда вскоре послышалось его богатырское храпение на весь дом.

VI

Долга и уныла зимняя ночь — тянется, тянется, и не дождешься рассвета. За окном черно; стекла замерзли; проходит час, другой, третий, а черно по-прежнему, точно само время остановилось, и надежда на желанный рассвет переходит в досаду.

Феня уже давно лежала в постели и старалась заснуть. Зажмурив глаза, она читала молитвы, но неотвязная мысль не давала покоя, а взволнованная кровь все стучала в виски... Вода по-прежнему мерно капала из рукомойника, да где-то вдалеке за окном брехала чужая собака. Свет лампадки мягко пронизывал ночной мрак, и отовсюду из этой полумглы на Феню глядели ласковые глаза Афанасия Львовича, везде чувствовалось его присутствие, слышался вкрадчивый голос: «Едешь со мною? Будешь меня любить?»

Феня мяла подушку, которая жгла ей щеки и голову,

и пересохшими губами порывисто шептала: «Господи! Господи! Что же это!..» Ее всю охватывало новое властное чувство, сладкое и мучительное; оно перепутало ее мысли. Монастырь, с его тишиной и покоем, вставал иногда перед нею, как бледный призрак, но сейчас же проносилась внезапная мысль: что там?.. здесь сиротство, и там будет сиротство; а вот Афанасий Львович зовет на жизнь, на свободу, на любовь — и призрак угасал и терялся... Да так ли? Уж не шутил ли он? Нет! Он не станет шутить! Он добрый, хороший... Она силилась не думать, забыть, старалась прогнать от себя назойливые мысли.

На светильнике нарастал нагар, огонек лампадки чуть озарял икону и золоченый венчик. Где-то хрустнула половица; где-то таракан шуршал по обоям...

Взволнованная и измученная, Феня скинула, наконец, с себя одеяло, зажгла свечу и села на постель, сдавив руками виски. Вот и кольцо с бирюзой, которое Афанасий Львович велел надеть и носить... на счастье. Феня надела его, поглядела, подумала и хотела было поцеловать его, но сейчас же сняла и положила на стол; потом спрятала под подушку, но опять достала и положила на прежнее место.

Занавеска неплотно закрывала окошко, и Феня загляделась на край замороженного стекла, в котором красными искрами отражался огонь свечи, дробясь и сверкая.

«Как, должно быть, морозно теперь на дворе!» — подумалось Фене и сейчас же вспомнилось, что где-то «там» теперь цветы цветут... «Так что же что цветы цветут? На что мне цветы? На что мне виноград?..» Но чем старательнее она загораживала руками лицо и уши, чтобы не видеть, не слышать, не думать, тем яснее слышался ей голос: «Едешь со мною? Будешь меня любить?..» И ей казалось, что жизнь ее меняется в эти минуты: позади остается мрак, и холод, и унижение, а впереди блистает радость и воля. Что же делать теперь?.. Уж не пойти ли сейчас, и не сказать ли ему: «Я поеду, я буду вашей служанкой, вашей рабой!..»

Феня встала и взялась было за платье, чтобы надеть и идти, но руки ее опустились, и она снова спрашивала себя: «Что же делать? Что делать?»

Она решалась и колебалась, взглядывала с верой и молитвой на икону и, наконец, бросилась ничком на постель, спрятала лицо в подушки и зарыдала от тоски и отчаяния.

Ей становилось ясно, что Афанасий Львович был единственным дорогим человеком, которого она любила, давно любила... Она всегда первая встречала его, слушала его грустные песни, вместе горевала с ним, но он этого не знал. Да она и сама не знала, и никто этого не знал.

Между тем за окном, загороженным ставнями, забрезжил рассвет. Гнусавый крик петуха раздался под самым окном. Феня вздрогнула и, озираясь, соскочила с постели.

«Неужто утро?!»

Растерянная, она остановилась среди комнаты, прислушиваясь к чему-то, и, точно в ответ ей, загудел колокол...

— Все равно! Будь что будет! — шептала она сама себе и начала поспешно одеваться.

«Побегу скорей в церковь... Пускай господь благословит... и... уеду! уеду!..»

Руки ее тряслись. Она торопилась. Накинув на плечи шубу и накрывшись платком, Феня задула свечу и, перекрестившись, не помня себя, выбежала за дверь.

— Куда? Куда? — закричала Емельяниха, сходившая со свечой по лестнице.— Куда подрала ни свет ни заря?..

Феня вздрогнула и остановилась, но подумала сейчас же: «А... все равно!» — и, махнувши рукой в ответ Емельянихе, выбежала во двор, хлопнула калиткой и скрылась за забором.

Прошло не более получаса, и Феня вернулась. Настроение ее было тихое, почти торжественное. Встретившись с бабушкой, она даже улыбнулась и молча прошла к себе в комнату, но не успела и затворить двери, как на пороге уже стояла Емельяниха.

— Далеко ли гулять изволили? — послышался резкий, дребезжащий голос, и старуха медленно подошла к Фене. Та сидела на постели и спокойно глядела на Емельяниху, не боясь ни гнева ее, ни искаженного злобой лица.

— По своим делам ходила,— ответила Феня.

— По своим делам? — переспросила старуха.— По делам? — зашипела она.— По своим делам?

Она подняла руку и со всего размаху ударила Феню по лицу. Та вскрикнула и откинулась к стене.

— Вот тебе за твои дела! Вот тебе за дела! — и Емельяниха, нагнувшись над нею, поймала ее голову и крепко вцепилась в волосы.— Вот тебе, скромница! Вот тебе, бесстыжая! — приговаривала она, таская Феню за косы, но Феня молчала.

Емельяниха утомилась, опустила руки и отошла на шаг от постели, продолжая ворчать и сверкать глазами.

— Вот как ты постничаешь да кислые рожи строишь?

Феня тяжело дышала, но глядела спокойно, почти весело.

— Бабушка,— проговорила она,— за что вы меня обижаете? что я вам сделала?

Емельяниха в первую минуту не нашлась даже, что сказать,— до такой степени озадачил ее простой и незлобивый тон, но она понимала, что ответить все-таки надо, и, ничего пока не придумав, начала браниться:

— На своей груди тебя, змею, отогрела, а ты вот куда!.. В обиду! Да как у тебя язык-то бессовестный на меня повернулся? Как глаза-то твои бесстыжие на меня смотрят? Тьфу!.. Ворона лупоглазая!

Помолчав, она добавила:

— Негодница!..

Потом опять помолчала и еще добавила:

— Змея подколодная!

— Да что я вам сделала, бабушка? — снова спросила Феня.

— Вот нешто этого не хватало, чтоб ты со мной чего сделала! — накинулась на нее Емельяниха.— Ранним утром, ни свет ни заря, девка бегом бежит, лица на ней нет... За ворота прямо, да и была такова! И спросить не смей, куда, мол, матушка, торопитесь? Махнула рукой, точно на собаку какую, и убежала. Да что ж я тебе после этого?! Кто я такое? Или уж я не хозяйка стала своему дому? Или уж мне и взыскать ни с кого нельзя?..

В это время заскрипела дверь и в комнату заглянул Максимка.

— Ты куда, чучело?! — топнула на него Емельяниха, но он, не смущаясь, вошел и проговорил:

— Письмо привез. Очень скоро нужно.

Протянув пакет, он добавил:

— Велел будить.

— Кто велел?

— А кто писал.

Важность письма, о котором говорилось в доме целые сутки, сразу охладила пыл Емельянихи. Она бережно взяла пакет, оглядела его со всех сторон и проговорила тихо:

— Пойду постучусь... А ты чего ж, дурень, стоишь разиня рот! — крикнула она сейчас же на Максимку.— Или не знаешь, что сапоги не чищены? А ты, сударыня,— обрати-

лась она к Фене,— не меня ли дожидаешься, чтоб я тебе самовар поставила? Ах вы ироды этакие! Вечно за вами гляди да ходи, ничего сами не знаете. Пошел вон, дурак!

Она выпихнула Максимку и, все еще ворча, понесла наверх письмо:

Феня думала: «Все равно!.. Много я терпела, напоследках уж можно еще потерпеть». На душе у нее было мирно, и только сейчас, когда она увидела Максимку, ей стало неловко и стыдно, что его-то она и забыла... Как он останется без нее? Что будет делать?.. Но сейчас же она вспомнила, что Афанасий Львович проснется, захочет выпить чаю, а самовар не поставлен...

Она улыбнулась, сама не зная чему, и весело побежала на кухню.

Максимка сидел уже там. Возле него лежали нечищенные сапоги, а сам он держал на коленях самовар и тер его тряпкой так усердно и сердито, что, казалось, не будь самовар медным, он давно протер бы ему бока. Увидев Феню, Максимка против обыкновения не улыбнулся и не сказал ни слова.

— Будет, Максим, тереть,— проговорила Феня.— Давай скорей, нужно поставить.

Она отняла самовар, налила воды и, насыпав углей, развела огонь.

— Небось устал в дороге? — спрашивала Феня, гремя трубой.— Ночь-то не спал?

— Я сердит,— мрачно ответил Максимка.

— На кого.

Он кивнул по направлению к горнице.

— На бабушку, что ли?.. Чего ж сердиться?

— А зачем она тебя все ругает?

— Ну, Максим, ненадолго... Побранит, да и перестанет.

Феня подошла к нему и, улыбаясь, положила ему на плечо руку.

— Знаешь, Максим?.. Я ведь скоро уеду от вас.

Тот встрепенулся и с недоверием поглядел на Феню.

— Верно, Максим. Далеко уеду... очень далеко!.. Ну да хорошо, я тебе все расскажу, а сейчас побегу стол накрою.

И, оставив Максима в страхе и недоумении, она схватила сапоги, повернулась и убежала.

VII

Курганов проснулся с больной головой. Письмо, которое ему подали, он прочитал и не понял. Потом он выпил воды, умылся и опять прочитал. Дело было серьезное. Он задумался и подошел к столу, чтобы достать бумажник из ящика, куда он запирал его каждый раз на ночь, а ключи хранил под подушкой. Но в ящике бумажника не нашлось. Курганов поспешно схватил сюртук, но и в карманах не было ничего, кроме платка, цветных тесемок от выигрышей и, тоже выигранной, пачки шпилек. Начиная беспокоиться, он поднял подушки и под ними нашел портсигар; потом вернулся к столу, перешарил все ящики, перебрал все бумаги, расшвырял подушки, одеяло, осмотрел всю одежду, поглядел под кровать, под диван, но бумажника не было. «Что такое? — тревожился Афанасий Львович.— Куда он мог деваться?..»

Начиная припоминать, он волновался все более и более. Он уже вспомнил, что там лежало пять тысяч рублей, которые он получил из банка; было еще переводов и векселей тысяч на двадцать да карманных денег рублей триста. Голова его сразу перестала болеть, и мысли прояснились. В смущении он несколько минут шагал по комнате, не зная, за что приняться; наконец, сошел вниз и обыскал шубу.

— Емельяновна,— сказал он, встречаясь с старухой,— взойди на минутку, нужно поговорить.

Он вернулся к себе, а следом за ним вошла Емельяниха.

— Что прикажешь, Афанасий Львович?

— Беда стряслась,— проговорил Курганов.

— Что такое?

— Бумажника не найду.

— Как бумажника? — изумилась та.

— С деньгами, с переводами... Тысяч под тридцать...

— Господи Иисусе Христе! — в страхе перекрестилась Емельяниха.— Да как же ты это, батюшка?

Курганов пожал плечами.

— Не знаю. Пьян вчера был

Старуха качала головой, вздыхала и ахала:

— Что ж это такое! Да ты бы хоть поискал, Афанасий Львович, нет ли где по одеже, или куда не сунул ли в стол, или, может, где обронил за постелью?

Волнуясь не меньше Курганова, Емельяниха встала на колени и подползла под кровать.

— Ах ты, грех какой,— вздыхала она.— Как же это так!

— Пробеги-ка на двор, погляди, нет ли где на снегу или по коридору. За находку не поскуплюсь.

— Да что ты, господь с тобой! Я и задаром тебе весь двор исползаю. Как это так, чтобы пропало! Твое добро пуще собственного! Уж коли только у нас обронил, отыщем, не беспокойся. Чужих у нас не бывает ни в доме, ни на дворе.

Она вдруг запнулась и замолчала.

«А Фенька-то проклятая убегала утром?» — вспомнилось Емельянихе, и она так смутилась, что Курганов даже заметил:

— Что такое?

— Ничего, батюшка!.. В бок что-то кольнуло... Побегу сейчас поищу поскорей...

Она ушла, а Курганов снова зашагал по комнате, вспоминая вчерашнюю ночь и обдумывая возможность потери. Где это могло случиться? В пассаже во время гулянья, или в трактире, или здесь, на дворе?.. Он пожимал плечами и ничего не мог вспомнить. Однако расстаться с такой суммой ему не хотелось. Главное, были векселя... «Ну, денег-то, конечно, уж не воротишь,— думал он,— а вот с векселями как быть?.. Придется заявить полиции... Иначе ни векселей вторых не подпишут, ни переводов не выдадут... А все это пьянство проклятое!..— негодовал на себя Курганов.— Поди-ка вспомни теперь, где кого видел, с кем говорил!..»

Всевозможные мысли, догадки и воспоминания вихрем крутились в его голове. На мгновение ему вспомнилась Феня... Он даже остановился. «Нет, это не то! — сказал он себе.— Где же бумажник? Где я его потерял и как теперь быть с векселями?..» Однако Феня вспомнилась еще раз, вспомнилась и ее комната, пьяная болтовня, поцелуи...

— Эх! — обругал сам себя Курганов: — Свинья! Безобразник!..

Ему сделалось стыдно, и в то же время мысль о бумажнике тревожила все сильнее.

— Феня! — крикнул он, выходя за дверь.— Феня!

На лестнице послышался шелест платья и быстрые, легкие шаги.

Курганов вернулся в комнату, чувствуя себя нехорошо и неловко, но дверь уже отворилась, и на пороге стояла Феня. Он поднял голову и взглянул. Как он ни был рас-

строен, как ни был занят мыслью о пропавших деньгах, но, взглянув на Феню, прежде всего подумал: «Что с нею?..»

Лицо ее было строго и бледно, глаза глядели в упор, точно ждали чего-то, спрашивали, умоляли... Курганов отвернулся и нерешительно проговорил:

— Войди, Феня. Затвори дверь.

Та затворила дверь и молча ожидала вопроса, готовая по первому слову кинуться на колени, целовать и обливать слезами протянутую руку, но Курганов вместо приветствия, смущаясь и отвертываясь, спросил:

— Феня... ты не видала... бумажника?

Глаза ее сразу точно погасли. Она так же прямо глядела на Курганова, так же ждала от него чего-то, но уже блеск, и надежда, и радость пропали.

— Я говорю, не видала бумажника?.. Вчера я потерял где-то бумажник... Не у тебя забыл?

Феня закусила губу и молча качнула головой.

— Я не шучу, Феня... Там было много тысяч!..

— Много тысяч...— повторила Феня, точно сквозь сон, и руки ее опустились.

— Векселя были, деньги, бумаги разные были... Ты не видала?

Она отрицательно качнула головой.

— Я тебе не дарил его?.. Спьяну-то не припомню...

— Вот вы что подарили,— тихо сказала Феня, начиная дрожать и снимая с пальца кольцо.— Вот что подарили... Вот... возьмите! Вот что вы подарили...

Она хотела положить кольцо на стол, но уронила. Хотела было поднять его, но у нее потемнело в глазах; хотела сказать что-то и не смогла. Она зашаталась и побежала вниз, сама не понимая, что с нею делается.

Максимка в это время сидел в одиночестве в кухне и весело соображал, насколько он будет богат, если Курганов отдаст ему обещанные двадцать рублей за работу. Вдруг отворилась дверь, и Максимка от удивления вскочил с места. Феня с криком и рыданиями бросилась прямо на него, обхватила его шею и повисла, точно мешок.

— Максимушка! Максимушка! — рыдала она, дрожа и пряча на его груди свою голову.— Максимушка!.. Я пропала!..

Ее рыдания и слезы совсем ошеломили его. Он глядел на Феню разгоревшимися глазами и чувствовал, как где-то глубоко внутри его, там, где он предполагал свою душу, совершается что-то необыкновенное, странное и таинствен-

ное. Он не спрашивал и не говорил ничего, но пальцы сами сжимались в кулаки, а Феня, повиснув на его шее, вздрагивала и захлебывалась в слезах. Неполные, неясные слова прорывались иногда сквозь рыдания; они были внезапны и несвязны, мешались и повторялись.

— Какая я... какая я несчастная!.. Максимушка, какая... Максимушка, пожалей меня!.. Какая я... какая несчастная!..

Между тем наверху, в комнате Афанасия Львовича, кричали еще шибче, чем здесь. Емельяниха, взволнованная и оробевшая, доказывала, что бумажник в ее доме потеряться не мог, что она исползала все мышиные норки, но ничего не нашла, и что ей очень обидно, почему Афанасий Львович не верит, а Степанида Егоровна, вышедшая на крик из своей комнаты, горячо упрекала Курганова в легкомыслии и нападала на него тоже с криком.

— Вольно же вам по чужим спальням таскаться. Где ночевали, с тех и спрашивайте... да, с тех и спрашивайте!

— Вы про что это такое? — рассердился Курганов.

— А про то, что нечего на меня кричать! — дерзко ответила Степанида.— Сами виноваты! Так вам и надобно! Жалко что еще мало!..

— Да перестаньте вы, Степанида Егоровна!— кричал Курганов.

— Все ваши гадости мне хорошо известны, Афанасий Львович! Очень хорошо известны!

— Да перестаньте же, черт возьми!

— Нечего черкаться! Никто не виноват в этом. Спросите лучше бабушку, она все расскажет... она все знает.

— Чего я стану рассказывать?— испугалась Емельяниха.— Сама ничего не знаю, чего тут рассказывать!.. А тебе, Степанида Егоровна, стыдно и даже грешно!

— Ничего не грешно! А вы спросите ее, спросите!— обратилась она к Курганову.

Тот насторожился и внимательно взглянул на старуху.

— Говори, Емельяновна. Я не шучу. Десятки тысяч не пустяки, на ветер бросать я их не намерен. Лучше рассказывай, а не то — церемониться не стану!

— Да есть на тебе крест-то, Афанасий Львович?— растерялась совсем Емельяниха.— Что такое я видела? Ничего не видела и на душу греха не хочу брать. Только сроду у меня таких делов не бывало, и уж ты меня, ради бога, не путай. А тебе, матушка,— обратилась она к Степаниде,— стыдно!

— Нисколько не стыдно. За живое затронет, так ничего не стыдно!

— Да замолчите вы! — топнул на них Курганов.— Кричите да ссоритесь только. Я ничего не хочу знать, а вот если бумажник вы мне не найдете, я заявлю полиции.

— Так откуда ж я тебе возьму твой бумажник? — рассердилась в свою очередь Емельяниха.— Ишь ты, дело какое: посеял невесть где, а тут за тебя теперь отвечай!

Афанасий Львович топнул и мигом выпроводил из комнаты обеих хозяек, а сам надел шубу и уехал. Проходя двором, он увидел, что Кунак, лохматая Максимкина собака, повернул к сеням морду и, зажмурив глаза, воет тонким протяжным голосом...

«Ну,— подумал Курганов,— пошла теперь суматоха!» — и, кликнув извозчика, велел везти к исправнику, которого считал своим добрым знакомым и надеялся на его скорую и энергичную помощь.

Не прошло и часа, как у ворот кто-то громко и нетерпеливо зазвонил раз за разом. Максимка бросился отпирать, распахнул калитку и даже отшатнулся от внезапного испуга. Перед ним стоял полицейский с крутыми рыжими усами... А полицейских ни Максимка, ни его верный Кунак не могли равнодушно видеть.

— Где хозяйка?

— Дома, дома,— поспешил ответить Максим, пятясь к забору, между тем как Кунак, ощетиня шерсть и поджавши хвост, прыгал и неистово лаял на вошедшего.

Полицейский молча и важно прошел мимо в горницу, пробыл там минут десять, и когда возвращался и его провожала Степанида Егоровна, то, идя, он повторял все время с видимым наслаждением:

— Двадцать четыре часа!.. Дело ярмарочное!.. Двадцать четыре часа!..

Произносил он это каким-то особенным тоном, словно торжествовал, и голос его отзывался болью в смущенном сердце Максимки.

Когда же, заперев за непрошеным гостем ворота, Максимка вернулся в кухню, он увидел, что Феня неподвижно сидит на скамейке с сложенными на коленях руками. Она была очень бледна. Максимка подошел к ней и молча сел рядом.

— Что ты, Максим, какой страшный?— сказала Феня тихо и спокойно, вглядываясь в его смуглое сердитое ли-

це.— Нужно терпеть, Максимушка... На том свете нам все воздастся...

Голос ее был необыкновенно ласков и ровен, а глаза были ясные и светлые.

Затем она медленно вздохнула и, глядя куда-то вдаль, промолвила:

— Бог с ним, с Афанасием Львовичем! Обидел он меня... очень обидел...

И по лицу ее поплыли тихие слезы.

— Стыд ему... стыд ему!— повторяла Феня, а Максимка пристально смотрел мимо нее, в угол, злыми глазами, и недоброе чувство к Курганову разрасталось в нем с каждой секундой.

— Теперь мне одна дорога — в монастырь... Вспоминай меня, Максимушка... Вспоминай... А я все претерплю... все... И ты терпи.

Максимка слушал и молчал, а между тем сердце его болело, сжималось и стонало. Он чувствовал, что внутри у него что-то растет все больше и шире, растет и распирает ему всю грудь и все горло, так что дышать становится трудно.

— Вот я ему... Ладно!— проговорил он, наконец.— Погоди ужо!

И Максимка, погрозив кулаком, тряхнул головой.

— Ладно!

— Что ты! Что ты, Максим!— испугалась Феня, схватывая обеими руками его кулак.

Максимка сверкнул глазами и вскочил со скамейки.

— Зарежу! Больше ничего!

Но, видя, что Феня укоризненно качает головой, он смутился.

— Как тебе не стыдно, Максим?— сказала она.— Рехнулся ты, что ли?.. Ах, Максим, Максим... Видно, мне и с тобой нельзя... и тебе нельзя душу открыть...

Она махнула рукой и ушла.

VIII

Ярмарка давно уже затихла, и усталый народ либо отдыхал, либо веселился, позабыв дневные заботы, и никто, конечно, не знал, что есть один человек, который сидит в это время на дворе на бревнышке и, не поднимая головы, думает горькую думу. Мороз пощипывает его за нос и за уши; на небе блестит месяц, окруженный громадным беле-

соватым кольцом; где-то жалобно воет Кунак, где-то за воротами весело громыхают бубенчики, но ничто не выводит Максимку из оцепенения; как он сел, так и сидит с опущенной головой, точно примерз. Медленно бродят у него тяжелые мысли, медленно сосет его сердце какая-то невидимая змея, и никак не может Максимка понять, что такое случилось.

А случилась такая напасть, что у Максимки заледенела вся кровь.

Сначала пришла к нему Феня и упрекнула, зачем он так напугал ее; потом она заставила его поклясться перед иконой, что не тронет Курганова; и Максимка поклялся.

— Не трону его, не зарежу,— обещал он Фене, крестясь на образ.— Вот те Микола-бог — не трону!

И, говоря это, Максимка думал: «Ну, теперь не трону. Уж верно: не трону...»

После этого как раз и случилась беда. Приходил опять полицейский с рыжими усами, потребовал Феню и все время называл ее «сахаром».

— Ты куда же, сахар, бегала поутру?.. Откуда у тебя, сахар, колечко явилось?— спрашивал он, улыбаясь, а потом велел ей надеть шубу и увел неизвестно куда.

От одного его вида, от голоса, каким он говорил «сахар», у Максимки подгибались колени. Феня тоже тряслась и просила позвать самого Афанасия Львовича.

— Как же ему не грех меня обижать!— говорила она, а полицейский, улыбаясь, ей отвечал:

— До всего, сахар, дойдем! Дело ярмарочное: в двадцать четыре часа все отыщем!..

Если бы Феню уволок в лес медведь, или она упала бы в Волгу, или загорелся бы со всех сторон дом, Максимка мог бы тогда показать свою силу, но теперь, когда случилось самое страшное дело и Феню увел полицейский, Максимке нечего было делать; и вот он сел на бревно и сидит и видит только одно — что бессилен.

Мало-помалу оцепенение его начало проходить; но чем яснее становились мысли, тем больнее делалось на душе.

«А... погубил?!» — думалось ему про Курганова. И сознание, что Курганов погубил Феню, внезапно озлобило его так, что он вскочил и, ударив изо всей силы кулаком по бревну, прошипел сквозь зубы:

— Куштан![1]

---

[1] Куштан — мироед. (*Примеч. автора*).

Курганов, которого он так недавно уважал и любил за лихие проделки, за пляску, за брань, за уменье пьянствовать целую ночь напролет, теперь был ему ненавистен, как самый лютый враг, и Максимка, снова сжав кулаки, проговорил:

— Тёпь, пу́лдор!..[1]

Хотя он всегда говорил и думал по-русски, но когда доходило до злобы (а в злобе Максимка уже не помнил себя), то бранился по-своему, по-чувашски.

Прислушиваясь к вою, Максимка приходил в ужас и суеверно убеждался все более и более, что Феня погибла, и еще сильнее в нем закипала ненависть к Курганову, к этому злодею и мироеду, перед которым даже Емельяниха теперь казалась ангелом... В волнении и страхе он вышел на улицу, сам не зная зачем.

Сильно морозило; снег весело хрустел под ногами, и шаги пешехода можно было бы слышать за полверсты; улица, занесенная снегом, белела и искрилась под луною, а крест на колокольне сиял и горел, будто его только что облили свежим золотом.

Но нет! Не мил ему теперь белый свет! Ему хотелось мрака, такого же долгого, тяжкого, какой охватил его душу. И Максимка шел, не разбирая пути. Чья-то собака накинулась на него с лаем, но он толкнул ее в морду ногою, и, когда та взвизгнула, на сердце у него стало легче. Злоба, одна только злоба наполняла его всего. Кусая губы, он шел все быстрее, не чувствуя под собою ног; иногда до слуха его доносилось яростное скрипение,— это он сам же скрежетал своими здоровыми белыми зубами и не замечал, что скрежещет. Не знал он также, зачем и куда идет, и опомнился, только когда вернулся домой, обогнув весь город.

В доме все было тихо. Максимка один бродил по двору, не находя места, куда деваться; голову его палило, точно огнем, перед глазами кружились красные пятна. Усталый и промерзший, он вошел в свою каморку, где было тепло, и, не снимая ни тулупа, ни шапки, сел на постель. Но что же ему делать? Проклятый куштан не выходил из мыслей, а сердце стонало и злобилось все больше и больше. «Погубил... погубил, куштан!» — говорило оно Максимке, и Максимка снова поднялся и зашагал из угла в угол большими осторожными шагами, без шума, затаив дыхание. Поминутно он останавливался и озирался. Глаза его дико блужда-

---

[1] Сгинь, провались! (*Примеч. автора*).

ли, а скуластое смуглое лицо разгоралось румянцем. Как хотелось ему в это время пробраться к Курганову ночью и перерезать горло, чтобы знал куштан в другой раз, как обижать и смеяться! Но клятва связывала ему руки, и он от ужаса чуть не задыхался.

Ему хотелось скорее, сейчас же, сию же минуту встретить Курганова, чтоб рассчитаться. Он уже предвкушал наслаждение, с каким защемил бы проклятого «хозя» между ворот, да так, что затрещали бы кости!

Бессильная, безысходная ярость душила его. Он заметался и, подбежав к двери, ударил по ней кулаком так свирепо, что дверь распахнулась, и волна морозного воздуха обожгла ему воспаленное лицо.

Позабыв, что крещеный, в исступлении сорвал он с головы шапку, поднял к звездному небу руки и, дрожа и бледнея, воскликнул:

— Хаяр-Кереметь![1]

Он бросился ниц на землю, зарыдал и застонал, произнося страшные заклинания:

— Злая Кереметь! Лихая Кереметь! Погуби врага! Умертви врага!

Глаза Максимки налились кровью и сверкали, как горячие уголья. Тяжело дыша, он поднялся; его грудь, рукава, лицо и волосы были в снегу. Скрестив на груди руки, он низко поклонился на восток и опрометью бросился в комнату, где заперся и повалился ничком на койку. Так он долго лежал. Сердце в нем билось до боли, замирало, душило его, и было так жутко, что он не смел поднять головы. Когда же Кунак завыл под самым окном, Максимка вдруг встрепенулся и, озираясь с суеверным страхом, приподнялся и сел.

Ему казалось, что «та́мок-хуран»[2] уже разверзает свою пасть, чтобы поглотить куштана; там будет ему голодно и холодно, там не найдет он ни дома, ни воды, чтоб утолить жажду, ни друга, ни брата, ни отца, ни детей.

Если Максимка и не очень твердо верил, что все это непременно случится с Кургановым, то во всяком случае желал ему этого искренне, с радостью и от всей души.

---

[1] Хаяр-Кереметь — самое свирепое божество, приносящее скорбь и бедствия, имя которого небезопасно упоминать даже в молитве. *(Примеч. автора).*

[2] Та́мок-хуран — ад, место вечного несчастья и голода. *(Примеч. автора).*

Он сидел на своей койке, торжествовал и вместе злился, скаля зубы и сжимая кулаки.

Еще никто и никогда не видал в таком виде Максимку. В нем уже нельзя было бы и признать того послушного, безропотного парня, которого били по щекам, кормили впроголодь и ругали на каждом шагу. Теперь он был бы страшен самой Емельянихе, да и сам затрепетал бы перед собою, если б увидал себя в зеркале.

«Погубил... погубил, куштан!»

Эта мысль не выходила из его головы, и нанесенная обида, точно пламя, разливалась по всей крови.

Он представлял себе Феню, связанную веревками, бессильную, забитую, и нисколько не сомневался, что она пропала теперь... совсем пропала. Скрипя зубами и подняв кулаки, Максимка бешено бросался в угол, но перед стеной кулаки его опускались и из груди вылетали бессильные дикие звуки, похожие на рычание...

IX

На дворе было ясно, точно днем, хотя давно уже наступила ночь; лунный свет широкой мягкой волной проникал через окно в комнату Максимки, и там было также светло. Максимка давно лежал, но глаза его были открыты.

Горькая обида не давала покоя. Мысли его бежали, словно вперегонку, путались и злили его. Сердце стучало и замирало, и было больно дышать. Внутри у него все горело, перед глазами ходили огненные круги, на губах трескалась кожа. Он чувствовал сейчас себя настоящим свободным чувашином, каким были его отец, дед и прадед. Они умели жить на свете, а вот он не умеет...

...Его всю жизнь ругали, били и притесняли, а он молчал и терпел. Вот и сейчас: он не спит, страдает, он обижен и разозлен, а сделать ничего не может, потому что враг его силен. Силен и несокрушим, и не боится гнева Максимки, и даже домой не идет. Не идет домой, а попивает себе вино, да поет, да хохочет...

Нет! Он не даст ему жить спокойно! Он ему покажет, что такое обида!..

Только как же он это сделает? Что с ним сделать?!

Максимка проклинал свое обещание перед Миколой-богом. Изменить ему он не мог и обиды забыть не мог, и бессильная ярость заставляла его рычать и задыхаться.

«Тыпь-шар...»[1] — внезапно пронеслось в его мыслях.

Максимка вскочил.

Вскочил и задумался.

Потом он сел на кровать, уперся в нее кулаками и, неподвижно остановив глаза, медленно и зловеще прошептал:

— Тыпь... шар!

Лицо его стало строго и бледно; губы тряслись.

«А мне что ж!» — думал он, начиная дрожать и улыбаться все шире и шире. Наконец, он засмеялся тонким коротким смехом, походившим на ржание. Звук этого смеха был жидок и слаб, но улыбка и оскаленные зубы и засверкавшие глаза выражали злорадство и торжество победителя.

Ведь вот ему враг не дает покоя, а сам гуляет себе... Так нет же! Пускай и он почувствует, пускай перестанет спать! И уж не жить ему больше весело!..

С души у него точно свалился камень. Стало легко...

О, тогда уже ничем нельзя будет избавиться от Максимки! Его не прогонишь, не ударишь, не выживешь! Он станет всюду преследовать врага, всюду мешать ему, пугать по ночам, отнимать у него всякую радость, отгонять сон и без устали мучить его душу, пока тому не опротивеет белый свет, пока не перестанет он пить и есть и не засохнет от горя и злобы... Нет, не задаром достанется ему гибель Максимки. Ему лихо придется, так лихо, так худо, как не может быть хуже ни одному человеку.

«А мне что ж!— рассуждал Максимка, и погубить себя казалось ему в сущности так просто и так не важно, что обменять свою жизнь на долгую и мучительную гибель врага было только победой.— Ведь с проклятым куштаном ничего иначе не сделаешь: он все будет смеяться да пировать, а тут...»

И Максимка опять засмеялся.

А тут... он не пропустит ему ни одной ночи, чтобы не явиться ужасным призраком, он будет его попрекать своей смертью, душить страшными сновидениями, становиться везде поперек дороги, путать мысли, отравлять веселье... О, тогда уже больше не запоет куштан!.. Выплачет он свои глаза, изорвет свои волосы, иссохнет, завянет и умрет хуже всякой собаки, с проклятием и злобой на самого себя!..

[1] Тыпь-шар — сухая беда, то есть непредвиденное и неодолимое несчастье. «Тащить сухую беду» — это значит, что назло своему заклятому врагу нужно повеситься у него во владении, чтобы заставить его мучиться всю жизнь (*Примеч. автора*).

Максимка весь дрожал. Короткий внезапный смех внезапно же сменялся скрежетом зубов, или звуком крепкого удара по койке, или трепетным шумным вздохом. И злоба, и радость победы, и накопившееся за много лет горе, и ненависть — все слышалось, все изливалось в этих звуках. Максимке было даже весело и нисколько не было страшно. Его радовало и то, что ночь стояла лунная: свечку с собой не для чего было нести, а в мягких валенках он сумеет пробраться так осторожно, что никто не расслышит. От нетерпения и близкого торжества у него захватывало дух. Да, теперь уже он (он, а не Курганов) будет хозяином, и это будет скоро, очень скоро... будет сейчас!..

Максимка встал. Выйдя во двор, он уже не слыхал, как хрустел под его ногами снег, не замечал ни луны, ни звезд на небе, ни лохматого Кунака, с визгом и радостью бросившегося к нему от ворот. Одна только мысль наполняла его всего. С этой мыслью он перешел весь двор, отворил сарай и нащупал впотьмах веревку. Он схватил ее дрожащими руками и наскоро засунул за пазуху, чтобы согреть. Потом, не торопясь, направился к дому и решительным движением руки отворил и захлопнул за собою дверь, которая в ожидании Курганова была не заперта.

Крадучись, он вскоре приблизился к лестнице и отсюда уже, не помня себя от нетерпения, быстро зашагал вверх, оставляя мокрые следы валенок на порожках.

В коридоре было темно. Максимка нагнулся, почти присел, чтобы без шума нащупать скобку, и, нащупав, быстро распахнул дверь, вошел и так же быстро и без шума затворил ее за собою.

Луна здесь глядела прямо в окошко, и по полу распластались светлые широкие пятна, вперемежку с тенями. Убедившись, что вокруг тихо и никто не идет, Максимка начал осматриваться. Прежде всего он увидел письменный стол у окна. Это было не то. Потом увидел постель. И это было не то. В углу белела печка: между печкой и постелью еще что-то белело... Максимка пристальней вгляделся и понял: это висела крахмальная сорочка, зацепленная за гвоздь воротом. Стараясь не скрипеть и не шуметь, он осторожными шагами подошел к сорочке, задумался на секунду и быстро сдернул ее со стены.

В стене торчал большой черный гвоздь, который Максимка сам вбивал в прошлом году для зеркала. Не спуская теперь с него глаз, он начал шарить за пазухой и вытащил сырую оттаявшую веревку. Вынув, он посмотрел на нее.

Потом опять поглядел на гвоздь и опять на веревку... Потом намотал веревку на гвоздь и завязал узлом. Попробовал потянуть — было крепко. Потом из веревки сделал с другого конца петлю и снова попробовал руками. Было тоже прочно. Потом он задумался.

Думал Максимка недолго. Он повернулся лицом к окну и молча погрозил кому-то кулаком, а через минуту висел уже в петле...

Огненным дождем сыпались искры перед его глазами, вспыхнула радуга, какие-то теплые волны, будто из густого масла, подняли его и понесли все выше и выше, быстрее и быстрее... Вот и Феня... красная... огненная... Она целует Максимку... ласкается к нему... на ней нет ни платья, ни сорочки... А вокруг огонь и зарево, и музыка гремит со всех сторон, а маслянистые теплые волны все быстрее и все выше несут... и уносят во мрак...

. . . .

Степанида Егоровна проснулась. Кто-то громко и беспрестанно звонил у ворот, видимо сердился.

«Неужто опять полиция?— испугалась она.— Да чего же не отпирает дурак Максимка?..»

Но звонок не смолкал.

Тогда Степанида Егоровна встала, наскоро оделась и сама побежала к воротам, тревожась и не понимая, отчего нет ни Максимки, ни Емельянихи.

Заслышав издали скрип шагов, Курганов закричал из-за калитки:

— Что ж ты, черт, оглох, что ли!

Но калитка отворилась, и Афанасий Львович изумился.

— Это вы?— проговорил он.— А где же Максимка? Я чуть не полчаса звоню.

Он вошел, сам запер калитку и, следуя за молчавшей хозяйкой, проговорил:

— Степанида Егоровна!.. Как я виноват перед Феней и перед вами... особенно перед Феней! Уж вы извините меня. По пьяному делу, сами знаете, чего только не случается... Ведь бумажник-то мне отыскали.

— Отыскали?— остановилась Степанида Егоровна.— Ну и поздравляю, что отыскали.

— Арфистка проклятая вытащила... после базара... Только вас-то всех перессорил да огорчил понапрасну... Ужасно совестно! Уж вы простите, что так обидел.

— Ну, что за обида! — обрадовалась та. — Наше ведь женское горе короткое, Афанасий Львович: поцелует милый человек — вот и все прошло!

Она засмеялась и весело взбежала на лестницу. Курганов тоже засмеялся и промолвил вдогонку:

— За этим дело не станет!

Войдя наверх, Степанида Егоровна остановилась возле612 кургановской двери; Афанасий Львович тоже остановился.

— Хотите мириться? — спросил он с улыбкой.— Завтра ведь уезжаю...

Та потупила голову.

— Ну?.. — повторил Курганов. — Хотите?

Степанида Егоровна молча сбросила с себя шубейку и положила ему на плечи руки.

— Конечно, хочу!

И оба они рассмеялись. Затем поцеловались и, обнявшись, вместе вошли в комнату.

— Только чур: про Феньку чтоб я не слыхала больше!

— И без того стыдно, Степанида Егоровна!— ответил Курганов. — А все это пьянство проклятое!.. Вот и сейчас: целую ночь с сыщиками возился, но уж пьян я больше не буду... Ни-ни! Ни за что!..

Афанасий Львович, смеясь, нашарил в кармане спички зажег огонь — и оба они вдруг побледнели и вскрикнули...

1897

ЕЛКА МИТРИЧА*

I

Был канун рождества...

Сторож переселенческого барака, отставной солдат, с серою, как мышиная шерсть, бородою, по имени Семен Дмитриевич, или попросту Митрич, подошел к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой:

— Ну, баба, какую я штуку надумал!

Аграфене было некогда; с засученными рукавами и расстегнутым воротом она хлопотала в кухне, готовясь к празднику.

— Слышь, баба, — повторил Митрич. — Говорю, какую я штуку надумал!

— Чем штуки-то выдумывать, взял бы метелку да вон паутину бы снял! — ответила жена, указывая на углы. — Вишь, пауков развели. Пошел бы да смёл!

Митрич, не переставая улыбаться, поглядел на потолок, куда указывала Аграфена, и весело сказал:

---

* Из цикла «Переселенцы».

— Паутина не уйдет; смету... А ты, слышь-ка, баба, что я надумал-то!

— Ну?

— Вот те и ну! Ты слушай.

Митрич пустил из трубки клуб дыма и, погладив бороду, присел на лавку.

— Я говорю, баба, вот что,— начал он бойко, но сейчас же запнулся.— Я говорю, праздник подходит... И для всех он праздник, все ему радуются... Правильно, баба?

— Ну?

— Ну вот я и говорю: все, мол, радуются, у всякого есть свое: у кого обновка к празднику, у кого пиры пойдут... У тебя, к примеру, комната будет чистая, у меня тоже свое удовольствие: винца куплю себе да колбаски!.. У всякого свое удовольствие будет,— правильно?

— Так что ж? — равнодушно сказала старуха.

— А то,— вздохнул снова Митрич, — что всем будет праздник как праздник, а вот, говорю, ребятишкам-то, выходит, и нет настоящего праздника... Поняла?.. Оно праздник-то есть, а удовольствия никакого... Гляжу я на них, да и думаю; эх, думаю, неправильно!.. Известно, сироты... ни матери, ни отца, ни родных... Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему такое — всякому человеку радость, а сироте — ничего!

— Тебя, видно, не переслушаешь, — махнула рукой Аграфена и принялась мыть скамейки.

Но Митрич не умолкал.

— Надумал я, баба, вот что, — говорил он, улыбаясь, — надо, баба, ребятишек потешить!.. Потому видал я много народу, и наших и всяких людей видал... И видал, как они к празднику детей забавляют. Принесут, это, елку, уберут ее свечками да гостинцами, а ребятки-то ихние просто даже скачут от радости!.. Думаю себе, баба: лес у нас близко... срублю себе елочку да такую потеху ребятишкам устрою, что весь век будут Митрича поминать! Вот, баба, какой умысел, а?

Митрич весело подмигнул и чмокнул губами.

— Каков я-то?

Аграфена молчала. Ей хотелось поскорее прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митрич с своим разговором ей только мешал.

— Нет, каков, баба, умысел, а?

— А ну те с твоим умыслом! — крикнула она на му-

жа. — Пусти с лавки-то, чего засел! Пусти, некогда с тобой сказки рассказывать!

Митрич встал, потому что Аграфена, окунув в ведро мочалку, перенесла ее на скамью прямо к тому месту, где сидел муж, и начала тереть. На пол полились струи грязной воды, и Митрич смекнул, что пришел невпопад.

— Ладно, баба! — проговорил он загадочно. — Вот устрою потеху, так небось сама скажешь спасибо!.. Говорю, сделаю — и сделаю! Весь век поминать будут Митрича ребятишки!..

— Видно, делать-то тебе нечего.

— Нет, баба! Есть что делать: а сказано, устрою — и устрою! Даром что сироты, а Митрича всю жизнь не забудут!

И, сунув в карман потухшую трубку, Митрич вышел во двор.

II

По двору, там и сям, были разбросаны деревянные домики, занесенные снегом, забитые досками; за домиками раскидывалось широкое снежное поле, а дальше виднелись верхушки городской заставы... С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их бывало так много, и так они были бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич. Домики бывали все переполнены, а переселенцы между тем все приходили и приходили. Деваться им было некуда, и вот они раскидывали в поле шалаши, куда и прятались с семьей и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь неделю, две, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле мало-помалу пустело, дома освобождались и тоже пустели, а к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да еще нескольких детей, неизвестно чьих.

— Вот уж непорядок, так непорядок! — рассуждал Митрич, пожимая плечами. — Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились?

Вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоявшему у ворот.

— Ты чей такой?

Ребенок, худой и бледный, глядел на него робкими глазами и молчал.

— Как тебя звать?

— Фомка.

— Откуда? Как деревню твою называют?

Ребенок не знал.

— Ну, отца как зовут?

— Тятька.

— Знаю, что тятька... А имя-то у него есть? Ну, к примеру, Петров или Сидоров, или, там, Голубев, Касаткин? Как звать-то его?

— Тятька.

Привычный к таким ответам, Митрич вздыхал и, махнув рукою, более не допытывался.

— Родителей-то, знать, потерял, дурачок? — говорил он, гладя ребенка по голове. — А ты кто такой? — обращался он к другому ребенку. — Где твой отец?

— Помер.

— Помер? Ну, вечная ему память! А мать куда девалась?

— Померла.

— Тоже померла?

Митрич разводил руками и, собирая таких сирот, отводил их к переселенческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и тоже пожимал плечами.

У одних родители умерли, у других ушли неизвестно куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал.

«Божьи дети!» — называл их Митрич.

Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, и там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, какую он видывал у богатых людей.

«Сказано, сделаю — и сделаю! — думал он, идя по двору. — Пускай сиротки порадуются! Такую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут!»

III

Прежде всего он отправился к церковному старосте.

— Так и так, Никита Назарыч, я к вам с усерднейшей просьбой. Не откажите доброму делу.

— Что такое?

— Прикажите выдать горсточку огарков... самых ма-

хоньких... Потому как сироты... ни отца, ни матери... Я, стало быть, сторож переселенский... Восемь сироток осталось... Так вот, Никита Назарыч, одолжите горсточку.

— На что тебе огарки?

— Удовольствие хочется сделать... Елку зажечь, вроде как у путных людей.

Староста поглядел на Митрича и с укором покачал головой.

— Ты что, старик, из ума, что ли, выжил? — проговорил он, продолжая качать головой. — Ах, старина, старина! Свечи-то небось перед иконами горели, а тебе их на глупости дать?

— Ведь огарочки, Никита Назарыч...

— Ступай, ступай! — махнул рукою староста. — И как тебе в голову такая дурь пришла, удивляюсь!

Митрич как подошел с улыбкой, так с улыбкой же и отошел, но только ему было очень обидно. Было еще и неловко перед церковным сторожем, свидетелем неудачи, таким же, как и он, старым солдатом, который теперь глядел на него с усмешкой и, казалось, думал: «Что? Наткнулся, старый хрен!..» Желая доказать, что он не «на чай» просил и не для себя хлопотал, Митрич подошел к старику и сказал:

— Какой же тут грех, коли я огарок возьму? Сиротам прошу, не себе... Пусть бы порадовались... ни отца, стало быть, ни матери... Прямо сказать: божьи дети!

В коротких словах Митрич объяснил старику, зачем ему нужны огарки, и опять спросил:

— Какой же тут грех?

— А Никиту Назарыча слышал? — спросил в свою очередь солдат и весело подмигнул глазом. — То-то и дело!

Митрич потупил голову и задумался. Но делать было нечего. Он приподнял шапку и, кивнув солдату, проговорил обидчиво:

— Ну, так будьте здоровы. До свиданьица!

— А каких тебе огарков-то?

— Да все одно... хошь самых махоньких. Одолжили бы горсточку. Доброе дело сделаете. Ни отца, ни матери... Прямо — ничьи ребятишки!

Через десять минут Митрич шел уже городом с полным карманом огарков, весело улыбаясь и торжествуя. Ему нужно было зайти еще к Павлу Сергеевичу, переселенческому чиновнику, поздравить с праздником, где он

рассчитывал отдохнуть, а если угостят, то и выпить стаканчик водки. Но чиновник был занят; не повидав Митрича, он велел сказать ему «спасибо» и выслал полтинник.

«Ну, теперь ладно! — весело думал Митрич.— Теперь пускай говорит баба, что хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам! Теперь, баба, шабаш!»

Вернувшись домой, он ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча да придумывал, когда и как все устроить.

«Восемь детей, — рассуждал Митрич, загибая на руках корявые пальцы, — стало быть, восемь конфет...»

Вынув полученную монету, Митрич поглядел на нее и что-то сообразил.

— Ладно, баба! — подумал он вслух.— Ты у меня посмотришь! — и, засмеявшись, пошел навестить детей.

Войдя в барак, Митрич огляделся и весело проговорил:

— Ну, публика, здравствуй. С праздником!

В ответ раздались дружные детские голоса, и Митрич, сам не зная чему радуясь, растрогался.

— Ах вы, публика-публика!.. — шептал он, утирая глаза и улыбаясь.— Ах вы, публика этакая!

На душе у него было и грустно и радостно. И дети глядели на него тоже не то с радостью, не то с грустью.

IV

Был ясный морозный полдень.

С топором за поясом, в тулупе и шапке, надвинутой по самые брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запушены снегом, и борода Митрича заиндевела, и усы замерзли, но сам он шел ровным, солдатским шагом, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал. Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя — водки и колбасы, до которой был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам.

Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец; потом приладил ее, чтобы стояла, и, когда все было готово, потащил ее к детям.

— Ну, публика, теперь смирно! — говорил он, устанавливая елку. — Вот маленько оттает, тогда помогайте!

Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал:

— Что? Тесно стало?.. Небось думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает?.. Ну, ну, публика, не сердись! Тесно не будет!..

Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица, печальные и задумчивые, внезапно повеселели... Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза.

Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками.

— Ну-ка, ты, кавалер! — обратился он к мальчику, стоя на табуретке.— Давай-ка сюда свечку... Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.

— И я! И я! — послышались голоса.

— Ну и ты,— согласился Митрич.— Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвертый другое... А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите... Вот мы, значит, все и будем при деле. Правильно?

Кроме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:

— А ведь... жидко, публика?

Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал:

— Жидко, братцы!

Но, как ни увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме восьми конфет, он ничего не мог.

— Гм! — рассуждал он, бродя по двору. — Что бы это придумать?..

Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился.

— А что? — сказал он себе. — Правильно будет или нет?..

Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет?.. Выходило как будто «правильно»...

— Детишки они малые... ничего не смыслят, — рассуждал старик. — Ну, стало быть, будем мы их забавлять... А сами-то? Небось и сами захотим позабавиться?.. Да и бабу надо попотчевать!

И не долго думая Митрич решился. Хотя он очень

любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения.

— Ладно!.. Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. И хлебца по ломтику отрежу, и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку!.. И себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство! Ай да Митрич! — весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. — Ай да затейник!

V

Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленым воском, смолою и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и, когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крики и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена в удивлении всплескивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши да покрикивал:

— Правильно, публика!.. Правильно!

Затем он взял гармонику и, наигрывая на все лады, подпевал:

Живы были мужики,
Росли грибы-рыжики,—
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!

— Ну, баба, теперь закусим! — сказал Митрич, кладя гармонику. — Публика, смирно!..

Любуясь елкой, он улыбался и, подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружки колбасы, и наконец, скомандовал:

— Публика! Подходи в очередь!

Снимая с елки по куску хлеба и колбасы, Митрич оделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с Аграфеной выпил по рюмочке.

— Каков, баба, я-то? — спрашивал он, указывая на детей. — Погляди, ведь жуют сиротки-то! Жуют! Погляди, баба! Радуйся!

Затем опять взял гармонику и, позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая:

Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!

Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такою радостью, что он не помнил, бывал ли еще когда-нибудь в его жизни этакий праздник.

— Публика! — воскликнул он, наконец. — Свечи догорают... Берите сами себе по конфетке, да и спать пора!

Дети радостно закричали и бросились к елке, а Митрич, умилившись чуть не до слез, шепнул Аграфене:

— Хорошо, баба!.. Прямо можно сказать правильно!..

Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих «божьих детей».

Елку Митрича никто из них не забудет!

1897

МЕЖДУ ДВУХ БЕРЕГОВ

I

Одиноко кричит где-то пароход... Голос его разносится далеко окрест по пустым берегам, по широкому лону реки. Непонятно, для чего он кричит, когда вокруг не видно ни жилья, ни хижины, ни человека. Непонятно и то, куда торопится так Иртыш, стремительно гоня по простору свои быстрые бурые воды. Крутыми холмами извилисто тянется на много верст правый берег, весь обросший березами и тальником, где в тени плодятся рыжики да на припеке — морошка, а левый берег раскидывается до горизонта зеленым ковром от самой воды до самого неба. И ни жилья вокруг не видно, ни хижины, ни человека. Иногда лишь среди тишины всплескивается большая рыба и, как камень, идет ко дну, в илистые глубины, оставляя на поверхности широкий струйчастый круг — на минуту; иногда поперек, через реку, дикие утки перелетают, вытянув шею и нос в одну линию; редко-редко на крутом берегу встретится татарский поселок с длинным дощатым минаретом, серым от непогод, или русская деревушка с плетнями, с горшками на кольях и с тряпками на верев-

ках. И опять пустота, безлюдие, песчаные откосы и зелень — на много верст, на много часов.

Одиноко кричит пароход... Нет ему ни встречного, ни попутчика, но он кричит уже час — настойчиво, протяжно, и громко, точно воет, жалуясь на непосильное бремя.

Называется он «Сокол». Сам он маленький, окрашенный в белый цвет, с большой черной трубою. Напрягаясь изо всех сил, он старательно тащит на длинном канате за собою огромную баржу с тяжелым грузом и кричит только раз в сутки, задолго оповещая окрестные села о своем приближении. В сутки раз он кричит и в сутки раз останавливается: брать дрова и провизию.

На пароходе была кухня и был повар Иван Михайлович, сухощавый, благообразный старичок, ходивший в белом халате и белом колпаке. Человек он был крайне угрюмый и признавал только одни обязанности.

— Я-с обязан накормить команду, — строго говорил он пассажиру, пытавшемуся получить у него обед, — а вы обязаны о себе сами заботиться. Пожалуйте провизию,— я должен ее изготовить, а запасаться провиантом — это уже ваша-с личная обязанность.

— Да где же я ее возьму, провизию? — вскипал голодный пассажир.

— Будет остановка и берите-с.

— Да когда ж она будет? Едем, едем, точно по океану. Когда она будет?

— Завтрашний день-с.

— Да я с голоду подохну! Что за безобразие!

На это Иван Михайлович спокойно пожимал плечами.

— Что ж делать-с, граманжа пуста, — указывал он на запертый чулан с лаконической вывеской «Граманжа».— Обязаны сами о себе заботиться. Кипятку, извольте-с, дам,— говорит он в утешение.

Проморив пассажиров за первые сутки, он достиг того, что все начали ежедневно вступать с ним в ласковые переговоры и вежливо просить о себе позаботиться.

— Уж, пожалуйста, Иван Михайлович, на завтра мне супцу оставьте... немного... тарелочку. Потом еще чего-нибудь на мою долю купите... Что найдете... все равно. Я все люблю.

Тоскливо и медленно проходили дни и вечера. Из плывших на пароходе в большинстве были крестьяне, старухи, женщины с детьми и рабочие, ютившиеся на деревянных нарах возле машины, где было тепло и тесно.

Пассажиров второго класса было немного, но и те прятались по отдельным каютам, так что «Сокол» мог показаться безлюдным. Иногда лишь на палубу выбегал офицер с всклокоченной бородой и, ежась от холодного ветра и потирая руки, решительными быстрыми шагами проходил взад и вперед по палубе и снова скрывался. Иногда являлся капитан, высокий молодой человек, почти юноша, в кожаной куртке, валяных сапогах и в оленьей шапке: он молча подходил к стеклянной вышке, где лоцманы вертят рулевое колесо, молча и тоскливо глядел вперед несколько минут и, посиневши от холода, уходил обратно к себе. Нередко появлялся на палубе человек средних лет, одетый в ватное пальто и широкополую шляпу, с редкой русой бородкой, в очках и теплых перчатках. Накинув на шею плед, он долго простаивал на одном месте и глядел на бесконечную линию берега, на сменяющиеся холмы и откосы.

— Вы не доктор? — неожиданно спросил его офицер, выбежав из своего подполья.

— Нет, я учитель.

— А в карты вы не играете?

— Нет.

— Ну, до свидания!

Офицер побежал обратно вниз по лестнице, и когда осталась видна только его голова, он крикнул учителю:

— Не прозевайте, сейчас остановка!

Действительно, «Сокол» вскоре остановился. Часа два стоял он у бревенчатого помоста. По перекинутым сходням все время ходили взад и вперед матросы с носилками, ссыпая в люк дрова с грохотом и прибаутками.

Не напрасно, однако, кричал «Сокол» так задолго до своего прихода: окружные жители успели принести сюда кто что мог. Остяки-рыболовы привезли в челноках стерлядей и нельмы, бабы захватили хлеба, ватрушек и молока, мальчишки притащили уток и огурцов, девочки — яиц и ягод, а старики — домашней браги в берестовых бураках.

Пассажиры повеселели. Только повар, Иван Михайлович, был недоволен чем-то и, заложив руки в карманы, угрюмо пробирал двух мужиков, а те молча и виновато чесали затылки и глядели вкось, оба в разные стороны.

После долгого ненастья к вечеру погода переменилась, и когда «Со́кол» тронулся в путь, ветер уже затих, стало тепло и ясно, и пассажиры вышли на палубу. Их было

всего четверо: молодой семинарист, ехавший в Москву в университет, старый чиновник с кокардой, учитель и турист — иностранец, говоривший свободно по-русски. К ним подошел капитан, стал рассказывать туристу об Иртыше, об инородцах — и разговор вскоре сделался общим.

— Не желаете ли сегодня на палубе поужинать? — ласково спросил Иван Михайлович, подходя к капитану.— Ишь господь какую благодать посылает, — добавил он, указывая на берег и на небо и нюхая чистый речной воздух. — Очень хорошую нельму приобрел по вашему поручению и сливок хороших... Могу бламанже предложить.

Капитан хотел что-то ответить, но в это время на палубу вбежал офицер; вид у него был возбужденный, глаза растерянные.

— Иван Михайлович! — обратился он прямо к повару. — Голубчик! Случилось несчастие!

— Что такое-с? — забеспокоился тот.

— Водка вся вышла!

Они глядели молча друг другу в глаза, как бы желая проникнуть один другому в самую душу. Затем Иван Михайлович пожал плечами и проговорил обычным угрюмым тоном, сразу утратив свое недавнее добродушие:

— Не обязан об этом беспокоиться.

— Знаю, милый. Но нет ли бутылочки?

— Спиртного не держу и держать не имею в виду-с. Бламанже могу предложить.

— Ну, дорогой мой... Иван Михайлович! — продолжал умолять офицер. — Вместо блян-манже дайте мне блян-буар!

Но Иван Михайлович, пристально поглядев на взлохмаченную голову офицера, на его просительно протянутые руки, ответил решительным тоном:

— Сам не пью-с и вам не посоветую.

И с этими словами, искоса поклонившись, он ушел вниз.

Офицер развел руками и, не то про себя, не то обращаясь к компании, проговорил:

— Вот чертов характер!.. Кабы мне такой, я бы навил веревок из жизни!

— Хотите браги? — предложил капитан. — Я себе целый туяс купил.

— И я купил браги,— хотите? — предложил учитель.

Офицер поклонился учителю и капитану, как бы бла-

годаря, но отказываясь от предложения, и, уловив на себе пристальный взгляд иностранца, поспешил ему объяснить:

— Брага, видите ли, вроде пива, только похуже, и вроде, пожалуй, кваса, но получше его; а в общем — бурда! Кто желает разводить в желудке лягушек, пускай пьет эту самую брагу. А я насчет водочки: о-де-ви, как говорят французы, то есть «вода жизни». И действительно, это так!

Все улыбнулись.

— Плохо жить нам без вина: жизнь печалями полна! А у нас Иван Михайлович самого-то главного и не держат... Ох, эти мне нравственные люди! — вздохнул офицер и вдруг обернулся в сторону.

— Ты чего на меня радуешься, Душков? — спросил он, увидя пред собою рослого солдата в белой рубахе, в накинутой на плечи шинели.

Солдат, только что подошедший, стоял перед офицером, улыбаясь, сверкая весело глазами и зубами и приложив к козырьку руку, как бы отдавая честь по-военному.

— Ты чему-то рад?

— Так точно, ваше высокородие: подо́зрел! — ответил Душков.

В его тоне и в голосе слышалась фамильярность, приятельская нота.

— Что подо́зрел?

— Водки полон туяс!

— Водки?! Где?!

— Старичишка у машины греется... Самосидку везет.

— Самосидку?.. Арестовать!

— Наложил арест, ваше высокородие. В каюту поставил.

Офицер весело потер руки.

— Мой адъютант, — рекомендовал он Душкова. — Фельдфебель, ближайший сотрудник мой и секретарь. Способнейший человек!.. Господа, — обратился он к попутчикам, — водочку, слава богу, достали; вот теперь, значит, можно и побеседовать.

— А что это такое — самосидка? Я не понимаю, — заинтересовался иностранец.

— Самосидка, — объяснил офицер, — это самая сквернейшая водка в мире! В России она самогоном называется, а у нас в Сибири — самосидкой. Это одно и то же.

Ее гонят здешние бабы... деревенские женщины... пейзанки... Гонят в лесу, в хлеву — контрабандой, без акциза... Из пуда муки выходит целая четверть, да за работу двугривенный... Дешево и сердито! Можете судить, что это за нектар получается. Сама она крепчайшая, цветом зеленая, на вкус противная... Пьешь — точно гвозди глотаешь. А наши сибирские остяки-инородцы ее очень правильно называют: «огненная вода». Ловко сказано! Именно — огненная... Ну-с, — обратился он снова к Душкову, — где ж старичишка?

— Обмер, ваше высокородие. Очень перепугался, — отвечал солдат прежним веселым тоном.

Оба они, видимо, ликовали. Оба улыбались, глядя друг на друга, но, несмотря на улыбки, вид у них был какой-то сумрачный. Воротники у них и околыши на фуражках были черные, канты на шинелях и на погонах тоже черные, и оба они производили впечатление чего-то мрачного и траурного.

— Что за полк? — спросил иностранец, наклоняясь к капитану и разглядывая мрачные мундиры.

— Тюремная команда, — шепнул в ответ капитан и громко обратился к офицеру: — Водки не дурно бы выпить... Только уж вы старика-то не трогайте. Шут с ним!

— Зачем трогать! Мы с ним по-приятельски войдем в соглашение. Я заплачу ему хорошо... Честью клянусь, хорошо заплачу, да еще спасибо скажу. И его самого напою. Эй, Душков! Айда! Веди к старику.

Они ушли, а на палубе начали накрывать для капитана обеденный стол.

II

Когда свечерело, на мачте у «Сокола» и на задней барже подняли по фонарю. Они висели высоко над рекою среди сумерек и простора ясными точками, как две новые планеты. Из-за холмов поднималась луна огромным бледно-розовым шаром, легким и золотистым, почти прозрачным. Пароходные колеса монотонно шумели и будоражили воду, и далеко за «Соколом» тянулся по Иртышу волнистый след. Дальний огонек баржи и луна отражались в реке, и серая зыбь и темные стремнины сверкали, чернели и дробились на бегу золотыми брызгами.

На палубе вокруг стола сидели с капитаном прежние пассажиры. Перед ними был чай в стаканах, перед неко-

торыми брага, а перед офицером в чайнике стояла водка, которую он иногда разливал по чашкам и, выпивая, закусывал огурцом. Рядом с офицером сидел владелец водки, кудрявый старик, крепкий и низкорослый, в теплой поддевке татарского покроя.

— Для меня вы очень интересный человек, — сказал, обращаясь к нему, иностранец. — Все, что вы говорили о себе, так для меня неожиданно... Как ваше имя, чтобы я мог называть вас?

Старик крякнул, покосился на офицера и на учителя, потом взглянул на чиновника и, привставши, отрекомендовался:

— Прежде был переяславский мещанин Николай Саввич Щеголихин, а теперь, как уже доложил, являюсь ссыльным Российской империи... ограничен в правах и могу присутствовать только на той стороне реки, а вот на этой — не могу. Еду хотя посередке того и другого, между двух берегов, но контрабандой... И вот господин офицер меня давеча в дрожь вогнали: думал, сейчас меня схватят за мою самосидку и — конец моему беззаконному путешествию! Оказалось же, господин офицер, вы приятный человек и зла мне нисколько не желаете. Давайте поэтому — еще по чарочке?..

Офицер, видимо захмелевший, взял чайник, налил две чашки, потом поднял высоко над головою руку и, погрозив в воздухе пальцем, сказал Щеголихину:

— Какие там ссыльные... какая там контрабанда... Не болтайте пустого! Вы ничего не говорили, я ничего не слыхал. Пьем — и никаких разговоров!

Оба выпили. Офицер потряс головой и, обмакнув огурец в солонку, откусил половину, а Щеголихин осторожно, почти нежно, отломил от черного хлеба кусок корки, поднес его к одной ноздре, потом к другой, понюхал обеими ноздрями и положил обратно.

— А вас, позвольте узнать, как величают? — спросил Щеголихин, глядя на иностранца ласковыми глазами.

— Меня зовут Хельсн... Марк Хельсн. Родина моя Норвегия, моя специальность — химия. Я давно знаю Россию, люблю ее язык, люблю русских людей, кроме тех, которые сами называют себя «истинно русскими». Извиняюсь, я, может быть, говорю резко, но от этих слов веет чем-то затхлым, недоброжелательным, и я не люблю их.

— Русский язык — прекрасный язык, — похвалил Щеголихин, рассматривая на свет пустую чашку и подвигая

ее к офицеру.— Особенно, знаете, ежели сердце излить, то ни на каком языке так не объяснишься. Впрочем, я никакого языка и не знаю, кроме русского.

— Например, некоторые слова у вас удивительно красивы в звуковом отношении, — продолжал Хельсн. — Возьмем хоть слово «заподозренный». Как звучит!

— Заподозренный?.. Да, хорошо, — согласился учитель. — Никогда не обращал внимания на это слово. А хорошо.

Щеголихин перебил его:

— Вот тоже прекрасные есть слова... Например: «угрызение». Или, например: «подстрекательство».

— Есть и такие слова, — добавил чиновник, — как «перереформированный», где сам черт ногу сломает, или не ногу, а язык.

На пустынном берегу вдалеке пылали костры.

Увидев их, все замолчали и стали глядеть...

Учитель поднялся вдруг со стула, прошелся возле компании взад и вперед быстрыми шагами, нервно потирая руки, и опять сел на прежнее место. Потом опять вскочил и, ни к кому не обращаясь, проговорил почти нараспев:

— И подстрекательство, и заподозренный, и перереформированный — все это слова, и только слова!.. И совесть и доблесть, идея и люди — все это тоже слова! И только одни слова. И разум и вера — слова и слова!

— Даже самое слово «слово» есть тоже только слово! — добавил офицер.

Все подняли головы.

— Вы правду сказали, — внезапно остановился учитель возле Хельсна, не обращая внимания на офицера. — Правду сказали, что у нас, у русских, много хороших слов. О, к сожалению, слишком много хороших слов! Но слова так словами и остаются! А есть слова... хорошие! драгоценные!.. А черта ли из того?..

Все удивленно глядели на учителя и молчали. Только чиновник, предчувствуя что-то неладное, вслух пробормотал:

— Вот так история!

— Хуже географии! — добавил офицер и весело поглядел на компанию.

Учитель не был расположен шутить и, пользуясь репликой, ответил презрительно:

— Дело не в географии.

И вдруг загорячился, возвышая голос почти до крика:

— А хоть бы и в географии!.. Я вашу сибирскую географию-то четыре года изучаю. Четыре лучших года из жизни! Тоже вот как и он, — указал он на Щеголихина, — нахожусь между двух берегов. Не знаю, как он, а я никому зла не сделал. Я хотел только счастья народу... Может быть, он виноват перед обществом... может быть, на его душе есть грех...

Учитель невольно остановился на полуслове: Щеголихин изменился в лице и медленно вставал, опираясь обеими руками о стол.

— Простите, простите! — горячо крикнул учитель. — Я не хотел вас обидеть. Я не то сказал, что хотел.

Но Щеголихин уже начал говорить. Он говорил тихо, почти шепотом, с расстановкою и внятно, хотя волнуясь:

— Видите ли... нужда бывает на свете... Нужда!.. Что же мне делать было: дочь свою, что ли... родную дочь продать? Вот и сделал я дело... Скверное одно дельце сделал. И сделал я его, а дочь свою... не продал! Утвердился во мнении — и не продал!

Он опять сел. Руки у него дрожали, взгляд растерянно блуждал по столу. Увидав чайник, Щеголихин налил себе в чашку, молча выпил и, понюхав обеими ноздрями корку, положил ее обратно.

— А что вы изволили сказать «грех перед обществом», — добавил он, — так это все пустяки. В своем позоре ничего я особенного не вижу... Стеснение для себя вижу, неудобство вижу, но чтобы душой скорбеть — этого во мне нет. Потому что я, извините, это самое общество-то... не уважаю!

Последнее слово он как-то выкрикнул, точно оно не сходило свободно у него с языка, как другие слова. Выкрикнул — и замолчал.

— Сказано смело, — зло усмехнулся чиновник.

Щеголихин поглядел на него и продолжал, но более спокойно, более уверенно:

— Я человек неученый... За три фунта баранок меня учили... в год за три фунта баранок. Но все же я кое-что знал в свое время и любил кое-что. Людей выдающихся ценил и сейчас ценю. А ваше общество, позвольте вас спросить, как ценит своих лучших людей?

— Памятники им строит.

— Памятники... Вон Федор Михайлович Достоевский вместо памятника-то на каторгу угодил... Зимою, в мороз,

в реку лазил за упавшим топором... падучую болезнь себе нажил... А уж то ли не человек был!

— Ну, это дело особое,— возразил чиновник.

— Пусть будет особое, — согласился Щеголихин. — Ну, а вот Никитин Иван Саввич, известнейший поэт русский... по бедности двор постоялый держал. Это тоже дело особое? Щи варил да подавал всяким кулакам да извозчикам, водку откупоривал жуликам да всяким, может, грабителям... Горевал, страдал!.. А Суриков Иван Захарыч? Желудок с голоду в комок у него ссыхался, старое железо на морозе пудами ворочал. Кольцов Алексей Васильич — свиней пас! Кричал он нам, бедняга: «Тесен мой круг, грязен мой мир, горько мне жить!» А мы вот все свое говорим: дело особое! Помяловский — крупный талант — спился с тоски от вашего общественного мнения, да так и погиб ни за грош. Успенский Николай — этот в ночлежных домах пресмыкался, милостыню просил. Дочь родную плясать заставлял под гармонью; на улице бритвой горло себе перерезал... Э-эх! А ведь головы-то какие были! Души-то! Сердца-то такие!.. Писатели были, поэты! Печальники наши народные!..

— Откуда вы все это знаете? — удивился учитель.

— Да это ни для кого не секрет. Это в книжках написано. Откуда все люди об этом знают, оттуда знаю и я. Вычитал из книжек — вот и знаю.

Он, видимо, волновался и бесцельно шарил по столу обеими руками, точно нащупывая себе опору.

— Шевченко был тоже — Тарас Григорьевич — украинский певец... Гений! Талант! А какое гонение видел? В солдатах был не в зачет, в степи оренбургской да в тамошних крепостях содержался, а уж про нужду его и говорить нечего! Как про него господин Некрасов великолепно выразился: «Был оскорбляем он всяким невеждою...» Вот они, памятники-то ваши каковы!

В голосе его дрогнули слезы.

— Нравится вам людей хороших травить, травить, а затравивши, начать уважать: вот, мол, как перестрадал человек. И хороший был, и умный был, а — пострадал. Давайте, мол, начнем его теперь почитать! А уж он-то, человек-то, давно умер, и ему на все ваши почести, извините за выражение: тьфу! И больше ничего.

— Браво, браво, господин Щеголихин! — воскликнул Хельсн, вставая и протягивая старику руку. — Я вас искренне уважаю за эти слова. Вы правы: ваше общество

любит жертвы и требует себе жертв. Я пришелец, чужой для вас человек, но я не хотел бы быть сыном вашей родины, которую я, повторяю, очень люблю. Я люблю ее, но виню: вы не цените ваших лучших людей, вы злорадствуете над ними, травите их, любуетесь их агонией и величаете их же, но уже умерших да заключенных.

— Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,— тихо и грустно добавил Щеголихин, перебивая речь Хельсна.— К вам посылаются мудрые и пророки, а вы иных убиваете, иных будете бить и гнать из города в город... Да! — вздохнул он.— Приходили и к нам хорошие люди, приходили открыть нам свет истины, а мы...

— А вам надобно жертв, лишений, чужих страданий и мук, — вновь заговорил горячо Хельсн, обращаясь в сторону чиновника. — Для вас это какое-то удовольствие. Но я хотел бы вас спросить: как смеете вы требовать всего этого? Как смеете вы насиловать чужую жизнь, чужую и лучшую? Надо шире дорогу вашим талантам, а не уже. Легче им жизнь, а не тяжелей. А вы умиляетесь: как претерпел! И заморив одних, требуете и сейчас от других, чтоб и они претерпели ненужные гонения. Для чего? Вы требуете от ваших талантов, чтоб они были нищи, были в ссылке... Нет! Культурные нации этого не желают для своих лучших граждан!

Щеголихин поправил его:

— У нас, я вам скажу, очень много почетных граждан. Особенно потомственных почетных. А настоящих-то граждан и нету. Нет ли у вас взаймы, у варягов? Потому что земля наша велика и обильна, а граждан в ней нет. Уж извините, ваше высокоблагородие, — обратился он к офицеру, — это говорит человек ссыльный...

— Для меня вы сейчас человек не ссыльный, а... а пьяный! — пробормотал в ответ офицер.

— Покорнейше благодарю!— улыбнулся Щеголихин.— Действительно, вы сказали сущую правду. Только, не в обиду будь сказано: водка — великое дело! За водку любой остяк довезет меня в челне — куда захочу, хоть до Петербурга. Вот и вы, господа: не будь у меня водки, вы бы меня, может, схватили: не езди, мол, человек бесправный! Теперь же я чувствую себя обеспеченным... Вот она, сила-то какая заключается в водочке-то на русской земле!

— Неужели только в водочке видите вы всю силу? — почти вскрикнул учитель.

— Большущая в ней сила по нынешним дням и людям, — ответил, не смущаясь, Щеголихин. — Но подождем, не долог уж срок. Скоро разом все станет кверху ногами.

— А головами куда? — презрительно спросил чиновник.

— Головами-то?.. — переспросил в свою очередь старик. — Известно — рогами вниз!

— Вы проповедуете ересь, господин ссыльный!

— Это он спьяну! — заступился офицер.

— Будь пьян, да умен, говорит пословица! — не унимался чиновник.

Хельсн тоже вступился:

— Давайте лучше говорить о достоинствах вашей страны. Какие громадные возможности у вас впереди! Сколько у вас всюду и всяких самородков: то глыба магнита, то медь, то самородок золота чуть не в обхват, а то самородки-люди, один другого интереснее, один другого значительней — мечтатели, мыслители, поэты, изобретатели, и всё это, все они от земли, от корней самого народа!.. Да, страна ваша покажет в будущем всем небывалый пример!

— Нам только толчок нужен! — добавил Щеголихин.— Знаете, как на бильярде: кием по шару, — крепкий удар: трах! — и дело сделано. Вот!

После этого все задумались и долго молчали.

III

Ночь становилась все красивее: река играла и золотилась, и звезды точно купались в ее зыби; черной зубчатой стеной тянулись по берегу холмы: ни звука не доносилось с земли, не виделось нигде огня, не чувствовалось близости человека; только внизу под бортами шумела вода, которую бил неустанно крыльями «Сокол» и тяжело раздвигал ее своею грудью.

Отвернувшись от компании, офицер сидел без фуражки, с расстегнутым воротом мундира и глядел на луну, на речные стремнины, на берега. Одной рукой он приглаживал волосы, разлезавшиеся в разные стороны, а другой рукой придерживал холщовый мешок, только что принесенный ему Душковым.

— Это гусли... простые дешевые гусли, — проговорил он, развязывая мешок и вытаскивая нечто похожее на большую треугольную чиновничью шляпу.— Два с полтиной

на Волге были заплачены. А как поют!..— Эй, вы, гусли-мысли! — воскликнул он неожиданно и всем корпусом повернулся вновь к компании. Он тронул струны ловким и легким движением пальцев и приложил ухо почти к самым гуслям, любовно прислушиваясь к их голосу.

Засучив немного рукава мундира, он начал что-то играть, что-то грустное, легкое, точно сказочное. Все притихли.

Никто не ожидал, что этот офицер с грубым лицом и грубым голосом, выпивший чайник водки, мог извлекать из дощатого ящика такие звуки, полные тоски и вместе неги. Даже лицо его преобразилось в эти мгновения; оно потеряло выражение грубости, власти и довольства, оно стало кротким, задумчивым и ясным.

Все с удивлением глядели на офицера, а он, не обращая ни на кого внимания, играл и, видимо, наслаждался.

— Вот дак так, ваше высокоблагородие! — воскликнул Щеголихин, когда офицер положил ладони на замолкнувшие струны.— Вот так превращение случилось!

— А что? — спросил офицер.

— Да как вы играете-то удивительно!

— Что ж такое: ведь вы вон за три фунта баранок учились, а про литераторов русских того наговорили, что и мне не все было известно. А ведь я корпус кончил, юнкерское кончил... в академию собирался... А теперь вот — конвойным служу... каторжников с места на место переправляю... Мало ль чего в жизни не случается!

Он протер глаза, точно после долгого глубокого сна, и добавил:

— А я, собственно говоря... композитор... в душе. Музыка — моя жизнь. Только заниматься ею не приходится... И ноты, бывало, писал, и песни сочинял... А теперь арестантов вожу... От тюрьмы до тюрьмы вся моя дорога... Дайте-ка еще самосидочки: она, проклятая, помогает.

Хельсн, долго вглядывавшийся в офицера, встал и заговорил, прерывая молчание, овладевшее было всеми:

— Удивляюсь... Понять не могу... Все вы какие-то несчастливые, безвольные... Точно у вас у всех есть в запасе еще несколько жизней: не удалась одна — не беда, будет другая, и третья, и пятая, и десятая... А ведь жизнь — только одна, и, кроме нас самих, никто ей не хозяин.

— Э, все у нас здесь таковы, — вздохнул капитан. — У всех на душе лежит какой-нибудь камень. Где у нас счастливые? Нет их. У всякого изломана жизнь, у всякого

и на душе камень и за пазухой камень. Человек человеку — волк! Все мы плывем между двух берегов: от одного берега отошли, а к другому не подошли. Ну, и «плывет наш челн по воле волн». Глупо, конечно. Но что ж поделаешь!

Все молчали; все приуныли. Все задумались о жизни — о своей, о чужой и об общей, о той жизни, которая связывает всех людей, бывших и будущих, во что-то единое.

— Бывало, романсы писал... а теперь — тюремщик!..— вздохнул офицер. — Бывало, в Омске у острога Достоевского плакал от чистого сердца... А теперь...

— А я вам скажу, — перебил его Щеголихин, — я баням Коробейникова поклонялся в Омске!.. Да! Баням, в которых Федор Михайлович бывал арестантом... Да. Поклонялся им — баням! Вот как! А вы давеча про памятники говорили. Вот вам и весь у нас памятник великому человеку: бани! Да и те не такие уж, как в его были время.

— Странно мне, господа, очень странно все это слышать,— сказал Хельсн с искренней грустью.

— Да. Чуть не целую ночь всё сидим да друг другу на что-то жалуемся. Конечно, это странно,— согласился учитель. — Все жалуемся да плачемся, точно евреи на реках вавилонских... Только нет у нас, как у них, одного общего Вавилона: у нас у всякого свой Вавилон! Все мы разрознены и одиноки, потому мы так и бессильны. Нет у нас общей веры, одного для всех общего дела. Жалкие мы люди!

Он закрыл рукою глаза и замолчал.

— Да. Продали мы черту души! — подтвердил офицер и начал рассеянно перебирать струны, потом откашлялся, выкрикнул снова:— Эй, вы, гусли-мысли! — и тихо запел густым надтреснутым басом:

На реках вавилонских
там сидели мы и плакали,
когда вспоминали о Сионе...

Голос его был груб, но струны заливались своей особой песней — печальной, и нервной, и прекрасной.

Там пленившие нас требовали
от нас слов песней и притеснители
наши — веселья: пойте нам из
песней сионских...

Щеголихин следил за мотивом с напряженным вниманием и, уловив момент, подтянул офицеру высоким тенором, с дрожью в голосе:

— «Како воспоем песнь господню на земли чуждей!»

— «Как нам петь песню господню на земле чужой»! — продолжал офицер, прислушиваясь к Щеголихину.

И оба они — один по-русски, другой по-церковно-славянски — продолжали псалом, то поджидая один другого, то обгоняя. Выходило странно, но хорошо.

Все слушали. Но каждый думал о чем-то своем.

Всякому становилось больно за свою надломленную изъязвленную жизнь; всякому грезился свой Иерусалим, который он и оплакивал.

Все молчали и слушали.

— «Если забуду тебя, Иерусалим, да будет забвенна тогда правая рука моя!» — угрюмо басил офицер, с любовью перебирая звучавшие нежно струны и внимательно прислушиваясь к голосу Щеголихина.

А тот, словно в каком-то самозабвении, восторженно напрягаясь и боясь как бы не отстать от совместного пения, покрывал своим трепетным тенором голос офицера и восклицал по-церковному:

— «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя!..»

И все мало-помалу стали чувствовать друг в друге случайных и чужих людей, у которых не было до сих пор и теперь еще нет общего единого горя, нет общего Вавилона. И радость, и плен, и надежды — у всякого свои.

Хельсн понял это раньше других и ему стало жаль их. Он хотел встать и крикнуть им:

«Проснитесь! Проснитесь же, русские люди!»

Но прежде чем он успел сказать, чиновник громко зевнул и проговорил лениво:

— Пойдемте... спать!

1903

КРАМОЛА*

I

С весны 1905 года, неизвестно зачем и откуда, в Москве стал появляться в так называемом «городе» прилично одетый господин лет сорока, с пушистыми бакенбардами и в цилиндре, не очень модном и не новом; так же не очень нов и не очень моден был его костюм, и это придавало ему много солидности; ничто не обнаруживало в нем ни легкомысленного франта, ни прогорелого барина, напротив — виделся в нем простой человек, которому некуда было девать свободного времени; этим и объясняли его склонность поговорить, пошутить и рассказать множество новостей, особенно про войну, про японцев, про наши неудачи, в которых повинна интеллигенция.

Появлялся он то в Охотном ряду, где заглядывал в мясные и зеленные лавки, восхищался певчими птицами, то захаживал проведать купцов на Старую площадь, то в Ряды, то появлялся на торговых подворьях, и везде стали знать его в лицо и разговаривать с ним. Обыкновенно он выби-

* Из цикла «1905 год».

рал такие лавки, где торговцы бывали попроще и посерее, а заходил к ним в такое время, когда они бывали не очень заняты.

В мясной лавке он покупал курицу или говядины, в колониальной — папирос, в галантерейной — галстук, а познакомившись, заходил нередко и так: потолковать от нечего делать или «почесать язык», как выражались торговцы.

— Ну-ка, отец-благодетель,— обращался он весело к одному из приказчиков,— заверни-ка мне фунтик колбаски.

— Ну-ка, отец-благодетель,— достань десяточек папирос,— говорил он в другом месте.

Поэтому за ним и укрепилось прозвище «Благодетель», хотя в глаза его все называли просто господином. Кто он такой и как его имя — почему-то никто не спрашивал, интересовались им только мясники, с которыми он имел особенную склонность беседовать. Здоровенные ребята, с мускулистыми руками и толстыми лицами, в грязных, засаленных фартуках, обвешанные кругом бедер широкими длинными ножами, они иногда загадывали друг другу: кто такой Благодетель? Одни говорили, что он непременно дворцовый лакей, потому что у него баки очень вылощены.

— И все знает. Сколько раз про войну предсказывал: что скажет, то, гляди, и случится назавтра. Ты попробуй распахни ему пальто: у него небось все пузо в золоте!

Другие не соглашались:

— Нет. Лакей не может так разговаривать. Да у них и харчи казенные: на что ему говядина или сырая курица!

— А может, он для любовницы покупает?

— Вот нешто для любовницы... Только он скорее всего по монопольной части — оттого все и знает.

— А зачем у него баки-то такие, если он по питейному делу?

— А чего ж им не быть? Это у менялы баки не вырастут, а акцизному можно и с баками...

К хозяевам Благодетель относился более почтительно, здоровался с ними за руку и вздыхал о плохих барышах, а на плохие барыши купцы всегда любят пожаловаться.

— Ведь этак дела-то в двести лет не поправятся,— сочувственно говорил Благодетель, качая головой и задумываясь.— Кого ни послушаешь, одно и то же: плохо и плохо. А что за причина? Что за напасть пошла на Россию?

— Насчет делов — это верно что напасть. Наши дела теперь, по-русски сказать...

— Не договаривайте. Знаю, как скажете.

— То-то и оно! Всякий знает, как ежели по-русски про теперешние дела сказать...

Однажды Благодетель явился в мясную лавку поутру, в самый разгар торговли. Все были заняты: рубили, резали, вешали, получали деньги, завертывали, считали; возле прилавков, дожидаясь очереди, стояли кухарки в теплых платках, с сумками и корзинками.

— Я подожду,— сказал Благодетель.— Мне не к спеху.

И сел на табурет возле конторки.

— Дожили до времечка... нечего сказать!— вздохнул он, видимо сердясь на кого-то.

На слова его никто, однако, не обратил внимания. По-прежнему раздавалось на разные голоса: «Людской говядины-то не положили...» — «С вас два рубля тридцать восемь...» — «Баранины восемь фунтов...» — «Сдачи извольте получить...»

Работа кипела: хрустели под топором кости, звенели на мраморной доске деньги, щелкали счеты,— и Благодетеля не замечали. Тогда он встал и громко сказал:

— Слышали новость? Всех крестьян опять скоро крепостными сделают.

Мгновенно все затихло и остановилось, точно в вертевшееся колесо кто-то просунул палку. Все руки опустились, все глаза глядели на Благодетеля, а он, будто не замечая этого, закуривал папироску и молчал.

— То есть... как... крепостными?..— вымолвил чей-то голос, в котором было и недоверие, и страх, и злоба.

— Как в старину было. Будут опять господа, будут и крепостные. Так решили сделать ученые люди — интеллигенты. У них уж дело налажено.

— Чтоб им издохнуть!— взвизгнула молодая горничная с завитыми волосами и с брошкой.— Чэрти!.. Право, чэрти!

— Сперва они решили спровадить всякое начальство,— продолжал Благодетель,— чтоб без него легче с вами управиться, а потом и всех крестьян расписать себе: кому сколько достанется.

— Мы люди вольные! Пущай сами себя расписывают!— волновались слушатели.

— Теперь да: вольные, пока начальство за вас.

— Да нешто дозволим?!— закричали мужчины.

— Без начальства дозволите.

— Как бы не так!

— А что сделаете-то?

— Да мы их...

— Что?

— В морду!

— Кого в морду-то?

— Всех!

— Тогда будет поздно.

Он поглядел на взволнованные, раздраженные лица и добавил:

— Разве не слышали, что они даже на самого царя хотят наложить свою опеку? Это называют они конституцией!.. Чтобы царь наш только бумаги ихние подписывал, а править всем государством будут они.

Все облегченно вздохнули и стали даже смеяться.

— Эна куда!.. Мы подумали, указ такой вышел. А это... что! Дураки они, и больше ничего.

— И чэрти!— добавила горничная, капризно встряхивая плечами.— Право, чэрти.

И опять заговорили по-старому: «Котлет отбивных...» — «Кому солонины?..» — «А то ишь выдумали: крепостные!..» — «Шесть по осьмнадцати — в кассу!..»

Однако новость, пущенная Благодетелем, не умерла тут же, в лавке. Вернувшись по домам, прислуги сообщили другим прислугам; те в свою очередь взволновались и за себя и за родных, сидевших где-то по глухим деревням, и невольно начали приглядываться осторожно к хозяевам и к гостям, и иногда им стало казаться, что среди господ происходит что-то новое и секретное, чего не бывало раньше.

— Шушукаются,— передавали горничные кухаркам, а те сообщали в лавках:

— Шушукаться начинают...

Благодетель, когда его спрашивали, не отрицал опасности, однако стал добавлять, что всего этого желают только студенты да ученые.

— А настоящие господа здесь ни при чем: чиновники, дворяне разные, генералы... Эти разве затеют такую гадость! Это все мутят волосатые эти... ученые дураки!

— Взять бы этих волосатых!— горячо воскликнул лавочник, молодой хозяин.— Взять бы их всех за волосы, да в пучки повязать, да в Америку багажом; там все одно купля-продажа негров! А мы бы их по дешевым ценам: пятачок за пучок, а в пучке целый десяток! Гы-гы-гы! — расхохотался он над своим предложением и долго не мог успокоиться, и все мясники его хохотали вместе с ним.

Благодетель серьезно глядел на их веселые жирные лица, на белые здоровые зубы, на крепкие складки щек и, когда ликование затихло, сказал, приложив ко лбу палец:

— А что?.. Ведь об этом стоит подумать: хорошая мысль... надобно подумать. Вы умный человек, господин Красавицын, и настоящий русский, истинно русский человек! Почем знать: может быть, из вас для России судьба готовит нового Минина.

Красавицын даже растерялся от такой неожиданной похвалы. Он стоял молча, с опущенными глазами, сохраняя на своем молодом румяном лице гордую и счастливую улыбку.

— А я вот не знаю, как сделаю,— раздался новый голос.— Но только ничему этому не бывать.

Это сказал, волнуясь и бледнея, юноша лет восемнадцати. Он выговорил это не громко, но твердо.

— Я сам крестьянин. И отец мой и дедушка — крестьяне. И тому, что вы сказали о крепостных,— не бывать!

Благодетель приподнял над головой цилиндр и согнул шею.

— Радуюсь, молодой человек. От души радуюсь,— сказал он, вглядываясь в возбужденное лицо юноши, в сдвинутые брови и раздувавшиеся ноздри.— С такими молодцами всякие страхи исчезают, как дым. Подумайте: вот уже двое в одну минуту. Да этак вся Москва за нами пойдет! Вся Россия!

Он надел цилиндр и протянул руку:

— Рад познакомиться. Вы чем же занимаетесь, молодой человек?

— С дедушкой иконами торгую; вот здесь, у подворья, лавка Синицына. А с Денисом Петровичем,— указал он на Красавицына,— мы в дальнем родстве.

— Побываю у вас, побываю,— отвечал Благодетель.— Я уж бывал кое у кого из ваших соседей. Дедушка-то ваш не очень занят? Не обидится?

— Нет. Дедушка любит поговорить.

— Вот и прекрасно. Кстати, мне нужно крестик золоченый купить. Так я побываю. Очень приятно.

Он весело пожал руки обоим молодым людям, поклонился приказчикам и ушел, тихонько напевая, точно мурлыкая:

— Славься ты, славься, наш русский...

II

Яшу Синицына с одиннадцати лет взяли из школы и начали приучать к делу.

С утра до вечера он находился в лавке, где писал покупателям письма под диктовку старших, лизал языком и наклеивал гербовые марки на счета, ел у разносчиков горячие пироги и наливал дедушке, отцу и себе в толстые стаканы чай из медного огромного чайника. Свободного времени было у него, несмотря на занятия, много, и он, прогуливаясь по своей Линии, расширял знакомство среди соседей, дежурных городовых, артельных сторожей и разных людей, заходивших в лавку как по делам, так и без всякого дела. Дедушка любил побеседовать, и у него было много знакомых, которые только для этого и заходили. Здесь Яша много раз слыхивал, что дедушка — крестьянин, и хотя платит в гильдию и считается временным купцом, но коренного звания своего не желает менять.

— Родился крестьянином и помру крестьянином,— твердо и с удовольствием говорил обыкновенно дедушка.— Вот и сын тоже ни во что иное не лезет, и внук не полезет. Так и будем все крестьяне, какими господь создал.

Через год уже и Яша говорил своим знакомым не без достоинства, что он крестьянин, как его отец и дедушка, и что он это звание никогда не променяет ни на какое иное.

Лавка их была небольшая, вся заставленная иконами и киотами, на прилавке под стеклянной крышкой лежали мелкие образки и крестики, и все вокруг хорошо пахло кипарисом и свежим масляным лаком, так что о. Федор, заштатный священник, когда входил, бывало, в лавку, то прежде, чем поздороваться, втягивал в себя ноздрями воздух и разводил руками:

— Благоухание-то какое!

В лице и во всей фигуре этого священника было нечто загадочное и затаенное; большие серые глаза его были грозны и проницательны, но он старался всегда сощуривать их и делать ласковыми; голос его был громок и резок, но он старался говорить тихо и мягко, точно боясь, что за настоящие взоры и за настоящий голос его сейчас же прогонят. А жизнь его была не легкая, полная бедствий, гонений и нищеты, и он теперь ломал себя и свою натуру, чтобы как-нибудь не сорваться и не остаться голодным.

— Пустой человек!— говорил про него дедушка.— Всю жизнь с места на место гоняют... Кабы не семейный, и на порог бы к себе его не пустил.

Однако, когда Федор надолго пропадал, дедушка начинал все чаще о нем вспоминать и даже беспокоиться.

— Что-то давненько наш попик-то не бывал. Жив ли, непутевая голова?

Время шло, и Яша привыкал. Его посылали к мастерам с заказами и научали распознавать старинные образа и складни; беседовали с ним про «мездринный» клей, про грунтовку «левкасом» и про «твореное» золото, которым делаются узоры на одежде святых. Он уже стал отличать рублевскую живопись от суздальской, кустарную от монастырской и товар свой научился узнавать по первому взгляду, хотя это было и не так легко на первое время, особенно с иконами божьей матери. Троеручицу, Живоносный источник, Утоли моя печали, Прозрение очей, Взыскание погибших — он заучил без труда, но Владимирскую, Казанскую, Иверскую, Корсунскую, Египетскую — он перепутывал и долго не умел различать. Потом дедушка стал рассказывать ему про разные стили, или «пошибы» — строгановский, московский, фряжский,— знакомил с руководствами «толковыми» и «лицевыми» и указывал то на «резкость», то на «плавность» рисунка.

— Всему тому цена разная,— умудрял старик,— все равно как рублю и двугривенному. И в обман себя ты не должен давать никому.

Лавка у них была холодная, без печей. В зимние морозы она так выстывала, что в чернильнице замерзали чернила, а бумага, на которой Яша писал, делалась как лед и жгла ему руку. Завернутый в шубу и туго подпоясанный для тепла кушаком, Яша окунал перо в чернильницу, подцепляя на кончик его блестящие черные кристаллы, вроде черного снега, и начинал дышать на перо молодым, горячим дыханием: снег таял, и перо делалось влажным; Яша пользовался моментом и наносил на бумагу несколько строк, потом опять поддевал из чернильницы на кончик пера черного снега, опять оттаивал его дыханием — и продолжал дописывать счет; руки зябли и ныли, и он, отрываясь нередко от работы, бросал перо на половине слова и согревал посиневшие пальцы тем же дыханием, а иногда грел их о стенки медного чайника, если тот бывал в это время горяч.

— На то и руки, чтобы ими работать,— утешал он себя.— Нечего их жалеть.

Отец Яши тоже в свое время не жалел себя на работе, но его хватило ненадолго; теперь он был хворым и слабым, сильно страдал от неизлечимых болезней, в лавке почти не бывал и вообще не замечал ничего вокруг себя, зато дедушка вглядывался в Яшу опытным, проникновенным взором и наедине с самим собою, молча кивая сам себе седой головой, думал с удовольствием: «Деловой человек получается!»

Линия, где торговали Синицыны, вся состояла, направо и налево, из таких же лавок; по ней целые дни ходили люди, выкрикивали на разные голоса разносчики, и только к вечеру все пустело и затихало, когда купцы затворяли ставнями окна и двери, запирали их замками, запечатывали на них пломбы из черного липкого вара и расходились по домам.

III

На Спасской башне пробило полдень. Зычные тяжелые удары один за одним монотонно прорезывали воздух, точно падали куда-то с высоты, расплываясь и тая над окрестными улицами и дворами, полными суеты.

К этому времени на подворья стремятся всякие разносчики; скорым шагом проходят они по линиям с ящиком на ремне через плечо или с лотком на голове; все выкрикивают нараспев свои товары и, дорожа временем, останавливаются лишь на минуту, чтобы отпустить кому-нибудь горячих пирогов, или рыбы, или мяса, и спешат дальше — к другим, громко предлагая каждый свое и на свой особый голос и лад:

— Горячая вет-чина!

— Белужка малосольная!

— Кишки бараньи: с кашей, с огнем!

Главным вниманием пользуется пирожник, молодой веселый парень с вздернутым, коротким носом; он громче и звонче всех кричит о своих пирогах еще издали, стараясь придать окрику непонятное балагурство.

— Спи... рогами!— слышится его удалой голос, соответствующий плутоватому, дерзкому и веселому его лицу.

— Ну-ка, цыкни пирожника,— говорит торговец, заслышав его приход, и магазинный мальчик бросается со всех ног за дверь.

— Цс! цс!.. Рогач!.. Рогач!.. С чем нынче пироги?

— С луком-говядиной, с селедочными башками, с кашей с яйцами, с клубничным вареньем,— отчетливо и торопливо перечисляет пирожник, приподнимая над ящиком угол теплого одеяла, из-под которого клубится пахучий пар.

Пробило полдень, и в лавку Синицына вошел священник о. Федор. Как всегда, он потянул носом воздух, пахнущий маслом и кипарисом, и похвалил:

— Благоухание-то какое!

Затем поздоровался.

— В полночь враг человеческий приходит, а в полдень — друг человеческий,— пошутил он, взглядывая на стенные часы.

— Где пропадал-то?— спросил дедушка, накрывая газетой только что принесенные пироги.

— Не пропал — отыскался!— ответил Федор.— Это кому живется весело, тот пропадает, а нашего брата и могила не берет... В больнице лежал: думал в последний заштат выйти,— нет! выздоровел!

— Все ропщешь?— упрекнул дедушка.

— Возропщешь, Семен Никитич, когда пять дочерей и ни одной копейки! Впрочем, я это шучу. Я после болезни что-то веселым сделался, давно таким и не бывал. Хорошо похворать. Правда, хорошо: и в тепле полежал, и кормился как следует, и чаем поили — чего еще!

— А табачку небось не давали понюхать?

— Да. Этого не давали. Скучно тому без табаку, кто привык.

Дедушка вынул из кармана серебряную табакерку, похлопал ее по стенкам, открыл и поднес Федору.

— Ну-ка, понюхай.

Придерживая осторожно широкий отвисший рукав, Федор двумя пальцами взял щепоть табаку и сунул по очереди в обе ноздри.

— Ах, хорош табачок!— сказал он, улыбаясь.— Очень хорош!.. Скучно без него... кто привык.

— А ведь ты похудел, батюшка!

Федор вместо ответа провел ладонями себя по тощим бокам, по впалой груди и, помолчав, опять сказал:

— Ах, хорош табачок!

Несмотря на сырую и холодную погоду, он пришел в легкой рясе и черной соломенной шляпе. Ряса, особенно на спине и плечах, выцвела, и трудно было понять — была ли она зеленая и теперь стала желтеть, или была желтая и начала зеленеть; внизу ее образовалась уже бахрома, а ворот-

ник был в нескольких местах заштопан. Под глазами у Федора, которые он все старался защуривать, синели болезненные полоски, и мохнатые брови над ними беспокойно подергивались; волосы его были жидки и редки, но непокорны и в беспорядке дыбились на темени, отчего и казалось, будто над головой у него стоит дым — как над вулканом; и это очень подтверждало отзыв о нем благочинного, который в клировых ведомостях, в графе о поведении, написал, когда Федора увольняли за штат: «Поведения он весьма тихого, но характера горячего, а в защите своих прав и доброго имени настойчив до самозабвения...» Последнее слово было даже подчеркнуто.

— Садись-ка да расскажи,— пригласил дедушка.— Вот пирожка не хочешь ли пожевать; не знаю только — которые с чем.

Он снял с пирогов газету и опять сказал:

— Поешь. Тут был который-то с рыбой.

— С рыбой хорошо,— согласился Федор, беря и откусывая первый попавшийся пирог.

— Постой! Ты с вареньем взял.

— Ничего, я и с вареньем люблю,— сконфузился тот.— Хорошо тепленького проглотить... хорошо!.. Ну, вот и позавтракал; спасибо,— говорил он, вытирая сладкие губы.

— Возьми еще пирожок да чайком прихлебни.

— Спасибо. Не откажусь... Вот он и с рыбой попался. Солененькая рыбка... хорошо! Очень соленая... прелесть!

— Ну,— проговорил дедушка, раскалывая щипцами сахар на мелкие части,— у нас без тебя нового было много, а хорошего — ничего: торговля плохая, товар наш из моды выходит; не только икону купить, а и в церковь лоб перекрестить не идет наша публика, вот до чего доучились. И ни бог и ни царь на них не потрафляют; все не по-ихнему! Крепостными хотят всех крестьян опять сделать... Нешто это терпимо!

— Не удастся им это!— горячо крикнул Яша из-за своей конторки.— Ни за что не допустим!

Федор в недоумении раскрыл свои большие серые глаза и глядел то на дедушку, то на Яшу, отодвинув от себя даже стакан с чаем.

— Христос с вами! Кто же этого хочет? Никто не хочет!

— Студенты хотят! Ученые хотят!

— Крепостных желают, такие-сякие!— сердился дедушка, сжимая в кулак свою сухую, уже слабую руку.— Надо им показать... крепостных-то!

— Да что вы, миленькие мои!— пытался успокоить их Федор, начиная нервно гладить себя по бокам и груди.— С чего это вы так вдруг?

Он встал, но опять сел.

— Что вы, что вы!.. И нет этого нигде, и быть этого не может, и сказал вам, должно быть, про это человек невоспитанный... худой человек!

— Вот кто сказал,— с удовольствием перебил старик, указывая на дверь, которую отворял Благодетель, входя в лавку.— Добро пожаловать, господин! А мы как раз об теперешних делах рассуждали.

Федор поднялся со скамьи, нагнул немного голову в ответ на поклон Благодетеля и отошел в сторону, за большое распятие, стоявшее среди магазина, и оттуда глядел пристальным холодным взором на незнакомца.

— Очень рады вас видеть; садитесь,— говорил дедушка, указывая на освободившуюся скамью.— А его можете не стесняться,— кивнул он на Федора,— это свой человек и старинный приятель.

— Духовные лица чрезвычайно желательны и должны быть украшением нашего дела. И во многом они нам будут полезны... Кланяюсь вам, батюшка.

— И я вам кланяюсь,— просто ответил Федор, не выходя из-за распятия.

Все помолчали.

— Знаете князя Сардинина?— спросил Благодетель.

— Как не знать: известный князь.

— А вы знаете, что он обещал нам тысячу рублей на расходы? Он очень сочувствует нам и советует собраться да решить — как и что. Сегодня вечером, в восемь часов, пожалуйте в здешний трактир; там мы все и устроим. Комнату я уже взял.

— Дедушка, надо пойти!— вызвался Яша.

— Непременно идите. И вы, Семен Никитич, пожалуйте. Может приехать и сам князь!— с таинственной важностью сообщил Благодетель.

— А кто да кто будет?

— Красавицын придет — родственник ваш; соседи ваши будут, брандмейстер один... Хоругвеносцы хотели прийти... Народу человек тридцать соберется. А в следующий раз всех позовем; а у нас теперь — тысячи!.. Не угодно ли, батюшка, и вам пожаловать?— обратился он к Федору.

Но тот отвечал по-прежнему сухо и холодно:

— Я вина не пью.

— Какого вина?— удивился Благодетель.

— Никакого.

— Да ведь у нас будет собрание; деловое собрание. Патриотическое!.. Никто про вино и не думает.

— Извиняюсь. А мне показалось, будто зовете вы нас попировать на княжеские деньги. Значит, я не так понял. После болезни я вообще что-то стал непонятлив. Да и в больнице у нас случай был: тоже одного молодого человека на собрание пригласили, очень серьезное собрание, вот как у вас. А наутро оказались все пьяные и в непотребном доме... После этого молодой человек и в больницу попал... Вот я и спутал все это. Уж извините.

Всем стало неловко. Все молчали.

Федор, облокотясь на нижнюю перекладину креста, стоял с согнутой спиной и молча ожидал неприятности. Ему было жаль покидать эту лавку, жаль было и Яшу, и дедушку, и самого себя, но сердце его начинало гореть, и он мысленно обрекал уже себя на изгнание. Он ждал сейчас, что Благодетель обидится и скажет ему что-нибудь резкое, и вот сердце его разгоралось и готовило достойный ответ.

Но в это время вошли покупатели, и разговор кончился.

— Так мы вас ждем,— сказал Благодетель.

— Непременно,— ответил Яша.

А дедушка уже был занят продажей и, не слушая их, говорил кому-то с упреком:

— Этот лик нехорош? Помилуйте: надо бы лучше, да не бывает-с!..

IV

Трактир, в который вечером отправился Яша, находился недалеко от их лавки и занимал собою под огромным многоэтажным домом обширный подвал с толстыми каменными стенами и сводчатым каменным потолком. Маленькие окна его выходили прямо на тротуар, точно лазейки, и посетителям видны бывали днем только одни ноги прохожих и слышались только беспрерывные глухие звуки шагов. Трактир этот назывался «Низок» и напоминал собою внутренность корабля: так же вела вниз от солнца и воздуха широкая лестница, так же были накрыты столы в общих обеденных комнатах, а по длинному коридору вправо и влево были отгорожены крошечные кабинеты, похожие на каюты, где с утра до ночи горели лампы.

Одну из общих комнат хозяин отвел для простого народа и понизил в ней все цены, чтобы чернь не лезла к чистой публике, а на стене повесил рукописное объявление: «Покорнейше просят посетителей по-неприличному вслух не выражаться». Эту комнату, совершенно отдельную от других, он и уступил Благодетелю, потому что она по вечерам обыкновенно пустовала. Ее вымели и убрали, накрыли посредине один длинный стол и освежили воздух; только забыли снять рукопись со стены с «покорнейшей просьбой», которая так и осталась на заседании.

К восьми часам начали собираться гости.

Первым пришел торговец сырыми кожами Матюгов, высокий старик с большим животом, с седой окладистой бородой и красным лицом, говоривший всем про себя, что он не только патриот, но и «столп отечества»; на груди его висели две медали за две коронации: одна — темная на красной ленте, другая — белая на голубой ленте. Однажды в пьяном виде он сломал себе ногу и с тех пор ходит с палкой, прихрамывает и воображает себя пострадавшим героем.

Пришел еще один торговец никому не знакомый, сумрачный и молчаливый; если он и отвечал иногда на вопросы, то говорил больше непонятными междометиями: «делишки — хны; денежки — турлы, обстоятельства — хрю!»

Потом явился меняла, низенький человек с безбородым сморщенным лицом и тонким женским голосом, вообще похожий на старую бабу, надевшую сюртук.

Мясник Красавицын приехал прямо из лавки с работы, не успев переодеться, и хотя молодым лицом своим с розовыми щеками и голубыми глазами напоминал херувима, но вокруг себя разносил запах крови и сала. Он привез себе на подмогу еще молодца из лавки — с короткой бычьей шеей и тупым лбом.

Пришел со спутанными волосами и всклокоченной бородой содержатель бань Друзьев, которому все время хотелось не то заснуть, не то выпить еще водки, не то разбить зеркало.

Приехал подрядчик Осьмухин, которому многие были должны крупные суммы, а сам он был должен другим еще больше; одевался он в поддевку и высокие сапоги, но ездил на дорогих рысаках и резиновых шинах.

Пришел маклер Сучилин, с желтыми обвисшими усами, весь в морщинах, с худыми дрыгающими ногами и с длинным корявым носом, в очках, очень сердитый и нико-

му не верящий без расписок ни под какие слова. У него было огромное знакомство и огромные связи, но он был зол на всех за то, что его никогда не избирали в настоящие маклеры и он всю жизнь был так называемым «биржевым зайцем» и не мог иметь шнуровой книги, а шнуровая книга с печатью — была его заветной мечтой.

Когда вошел Яша, все сидели уже за столом; одни молчали, другие разговаривали о ценах:

— Осетрина как вздорожала!

— К рыбе приступа нет!

— Уважаю я осетрину.

Мало-помалу подходили все новые лица: пришел издатель сонников и страшных предсказаний, пришел похоронный кондитер, пришли лабазники, хозяин двадцати лихачей и хоругвеносцы. Среди них вошли незаметно и четыре сыщика — второго сорта — на случай поддержать настроение. Вскоре комната наполнилась, и Благодетель приступил к делу.

Прежде всего он отрекомендовался:

— Русский патриот, Василий Васильевич Воронов, преданный своему отечеству, престолу, самодержавию и православию. По совету князя Сардинина я пригласил вас сегодня, почтенное собрание, обсудить наши русские дела и принять меры к спасению нашего государства, которому грозит великая опасность от внутренних врагов, более дерзких и опасных, чем враги внешние... Вот господин Щов, только что вернувшийся из Петербурга, лучше меня объяснит вам суть дела. Господин Щов, будьте любезны сказать вступительное слово.

Из-за стола поднялся высокий худощавый человек с маленькими бесстрастными глазами, гладко остриженный, с выбритой бородой и подрезанными усами; лицо это, казалось, было очень удобно гримировать и придавать ему любое выражение.

— Почтенное собрание!— начал он, вынимая из кармана бумажку и все время косясь на нее.— Трудное и ужасное время переживает наше дорогое отечество. Изменники и крамольники, потерявшие честь и совесть, кричат по всей России: «Долой правительство и царя, мы сами хотим управлять народом и царством». Они хозяйничают уже в городах и земствах, выжимают с крестьян земские сборы и мечтают опять восстановить крепостное право.

— Крамольники!— крикнули четыре голоса из разных углов, и в ответ им по собранию глухо пронесся ропот.

— Они отрицают бога и православную веру, отрицают отечество, царя и верных слуг его, убивая лучших людей, преданных губернаторов и честных министров. Кто же эти люди, ведущие нас на край пропасти? Эти люди — студенты, профессора, учителя, адвокаты, писатели и жиды!

Новая волна ропота пронеслась по собранию.

— Взглянем же, что стало с нашим народным хозяйством. Все разорено: дела испорчены, кредит подорван, и все это началось с проклятого слова «доверие», которое, не подумавши, бросил один либеральный министр назло действительной опоре России — самодержавию! Этим проклятым словом он вверг страну в несказанные беды. А другой министр, покровитель жидов, прямо отдал отечество на растерзание инородцам и всяким врагам...

— Правильно!— закричал вдруг банщик, очнувшись от спячки.— Все жулики и изменники!

Он ударил по столу тяжелой ладонью и, перебивая оратора, горячо продолжал:

— Всех их к чертовой матери!

Настроение вдруг поднялось. Много голосов заговорило сразу, но банщик кричал громче всех, стуча по столу:

— К чертовой матери! Всех их к чертовой матери!

Оратор пытался что-то сказать, но его уже не слушали, а бранили обоих министров, называя их предателями. Кто-то прибавил к двум третьего, потом прибавил еще одного, а потом уже все загалдели вообще про начальство.

— Велика больно власть дана!— сердился один.

— Теснят народ и знать ничего не желают,— перебивал другой.

— Зазнались!— добавил третий.— Ни суда на них, ни управы!

— Жертвы наши разграбили, а мы-то сдуру несли денежки-то. А они по карманам.

— Денежки наши — турлы!.. Фью!

— А полиция? Житья нет! Что захочет, то и ломит без меры, без толку: штрафует, орет, придирается.

— Пристав у нас был — этакое животное!

— А наш-то пристав: намедни так на меня и хрипит, так и топочет ногами.

— А моего дворника из Москвы выслал. Спрашивается: за что?

— Зазнались! Пора бы им кулаки-то сшибить!

— Только себе морды отращивают, окаянные!

— Всех их к чертовой матери!

Говорили и кричали все разом, и чем больше шумели, тем больше разгорячались. Бранили войну, бранили каких-то мошенников, роптали на налоги и ругали полицию. Настроение слагалось не в пользу оратора. Напрасно пытался он перейти снова к речи, напрасно кричали сыщики про жидов и студентов, и напрасно махал руками Воронов, призывая к порядку.

— Почтенное собрание!.. Почтенное собрание!..— надрывался он, обливаясь холодным потом.— Вы не про то! Тише! Не про это речь! Подождите!.. Почтенное собрание!

Но страсти разгорелись, и им уже не было удержа.

— Минин! Спасайте!— бросился, наконец, Воронов чуть не со слезами к Красавицыну.— Лезьте на стол. Кричите им что-нибудь!

Красавицын точно ждал этого. Ловко занес он на стол ногу и вдруг вырос над всем обществом с раскинутыми врозь руками.

— Народ православный!— гаркнул он во весь голос.

Неожиданность удалась. Все повернули глаза к новому оратору и притихли, тем более что привезенный им молодец успел кое-кого пырнуть пальцами под ребра и сказать: «Гляди! гляди!»

— Народ православный!— повторил Красавицын, не зная, что говорить дальше; сердце его колотилось, кровь стучала в виски.

Самолюбие не позволяло ему слезть теперь со стола, не сказавши ни слова, и он с своей высоты глядел почти с ужасом в эти десятки чужих глаз, в эти бороды и лица, обращенные к нему в ожидании чего-то важного и большого. Это молчание, которое он вызвал своим окриком, теперь давило его. Он понимал, что еще секунда — и все расхохочутся, и он уйдет, сгорая со стыда, а завтра весь город будет знать, как Красавицын говорит речи.

— Народ православный!— воскликнул он еще раз, теряясь, не рассуждая и делая что-то бессознательное.

Трясущимися руками он распахнул вдруг полу своего пиджака и, хватая из бумажника деньги, запальчиво мял их и бросал на стол, приговаривая.

— Вот!.. Вот!.. Вот!..

Потом вытащил кошелек и так же страстно и неожиданно для самого себя раскрыл его над столом, и, когда зазвенели рубли, полтинники, золото и мелочь, он почти уже шепотом восклицал, но резко, на всю комнату:

— Вот! Вот!

От денег, сыпавшихся на скатерть и на пол, и от той страстности, с которой Красавицын все это делал, впечатление было велико и сильно. Все осторожно начали подгребать бумажки в одну кучу, а некоторые нагибались и поднимали с пола монеты.

— Жертвую!— восклицал Красавицын, овладевая опять собою и чувствуя, что честь спасена.— Сложимся, объявим подписку, наймем добровольцев: пусть дуют проклятых крамольников!

— Бить!— радостно поддержали сыщики.

— Бей их! Бей!— ответили еще голоса, а Воронов захлопал в ладоши и весь просиял.

— Кладу и я от себя на доброе дело,— сказал он, медленно роясь в бумажнике.

— И я кладу на алтарь отечества!— добавил торговец с медалями, выбрасывая золотой.

И другие все согнули головы над кошельками, стараясь достать и положить в общую кучу так, чтобы другие не заметили — сколько.

— Теперь мы видим,— говорил Воронов,— как велико негодование против крамолы во всех слоях населения. Нам дорого ваше сочувствие, а за средствами и силами дело не станет: народ горит желанием сокрушить врагов родины. Да погибнет крамола!— торжественно воскликнул он, поднимая над головою кулак.

— Бить! Бить!— поддержало собрание.

— Телеграмму послать в Петербург!— настаивал кто-то.

— Уже близится радостный час,— громко продолжал Воронов, покрывая голосом общий шум,— когда все мы, истинно русские люди, соберемся победоносно под святые стены Кремля, под благовест и трезвон наших московских колоколов. Из соборов вынесем мы торжественно наши хоругви и святые иконы и крестным ходом двинемся тысячными толпами по древней столице, колыбели нашей веры и самодержавных царей! Да сгинет измена! Нет пощады крамольникам!

— Ур-а-а!— закричали сыщики, а остальные горячо поддержали:

— Правильно! Дельно! Нечего их миловать!

— Сочувствуем!— кричал банщик, ероша волосы.— Гнать их всех к чертовой матери!..

V

Не прощаясь ни с кем, Яша незаметно ушел.

Странное, смутное чувство испытывал он, выйдя на свежий воздух. Магазины все были заперты и темны, и все эти торговые улицы и переулки, оживленные днем, теперь были тихи и безлюдны. Полная луна освещала пустые тротуары и мостовую, золотила железные глухие ставни дверей с висячими большими замками и гляделась в серые зеркальные стекла. Кое-где сидели сторожа на принесенных ящиках, скучливо прохаживался городовой, и только изредка проезжали экипажи, точно среди глухой ночи, хотя было вовсе не поздно и на других улицах было еще светло, оживленно и людно.

Часа два тому назад Яша шел сюда возбужденный и бодрый, а возвращался теперь усталый и подавленный. Он не понимал себя, чувствовал какое-то недоумение и не знал, что сказать завтра дедушке.

Путь его лежал через Кремль.

По обычаю, снявши шапку в Спасских воротах, он с непокрытой головой шел против сквозного ветра и думал о том, как все они, тысячными толпами, вскоре пойдут здесь с пением и хоругвями, а те — другие — будут в это время лежать по кладбищам и больницам с переломанными костями. И ему было жутко и в то же время соблазнительно ожидание этого.

— Яша! А, Яша!— услышал он осторожный оклик и вздрогнул от неожиданности.

Перед ним стоял Федор и протягивал руку, но не так, как здороваются, а как благословляют.

— Отец Федор!— изумился Яша.— Вы как здесь?

— Я здесь у приятеля... Еще ведь не поздно. Я все тебя поджидал: второй раз выхожу глядеть. Ну что? Кончилось собрание?

— Я ушел. Другие еще остались.

— Ночь-то какая красавица!— шепнул Федор, взглядывая на небо.— Вот хорошо как! Чисто летом!.. Я тебя провожу немножко. Я сегодня ночую здесь вот,— кивнул он куда-то в сторону.— Мне не поздно: меня пустят.

Они шли уже рядом.

На Федоре было надето чье-то чужое черное пальто, похожее на монашеское, очень узкое, которое он все старался запахивать, но оно расходилось и обнажало ему то ноги, то шею.

— Расскажи, Яша, что было?

Яше и самому хотелось высказаться раньше, чем сообщать дедушке. Федора он знавал с детства и, хотя считал его человеком пустым и пропащим, все-таки верил ему и не стеснялся с ним.

— Пойдем к памятнику,— звал его Федор,— там скамеечка есть; посидим, потолкуем. Очень мне интересно, Яша. Даже спать не могу.

— Пойдемте,— согласился Яша.

Они пересекли плац-парад и, взглянув мельком на статую Александра, вошли в гулкую сквозную галерею, всю освещенную луной, с черными тенями от колонн и арок, распластавшихся наискось по каменному полу.

— Со всей России сюда жертвы несли,— промолвил Федор, оглядываясь направо и налево.— Весь народ давал по грошам да по монетам в память освободителя. А его вон куда занесли, за ограду, в четыре стены!.. Все боятся, как бы народ-то дальше не заговорил про свободу... Вот и спрятали... Свобода, видно, вроде сокровища: всякому хочется взять, да не всякому хочется дать.

Они сели на гранитную скамью у самого обрыва, откуда при свете луны виднелось Заречье с его домами и колокольнями, с длинными фабричными трубами, утопавшее в туманной серебристой мгле.

Яша начал рассказывать, а Федор молча слушал и только изредка покашливал или произносил «гм! гм!», словно подтверждая что-то.

— Что же, ваш Воронов своим колокольным звоном хочет весь народ, что ли, сделать счастливым?— спросил, наконец, Федор, неожиданно и ласково накрывая своей холодной рукой Яшину руку.— Нет, Яша! Народ по деревням с голоду пухнет, и ему не до колокольного звона. Голодному нужен хлеб, а обиженному — правда. А святую правду еще никто кулаками да палками не доказывал. Так-то, милый! Ты подумай об этом.

Он помолчал и добавил:

— Где правда и где неправда — кому лучше знать? Образованного человека в этом деле не проведешь: он понимает. И нужду народную понимает получше лодырей или жандармов. Ты подумай об этом.

Яше было неприятно все это слушать. И без того он чувствовал себя сбитым с толку, а тут еще Федор подливал масла в огонь.

— Видишь Александра Второго? Это он отдал приказ

об отмене крепостного права. А народ ему памятник поставил. Подумай-ка.

— А студенты его убили!— воскликнул вдруг Яша и встал.— Прощайте, отец Федор. Мне пора. Вы уж дедушке-то не очень говорите про ваши мысли, а то он вас и в лавку перестанет пускать. Лучше помалкивайте, а то прогонит!

— Помолчу до поры до времени,— жестко улыбнулся Федор, тоже вставая и запахивая свое узкое пальто.

Яше показалось, что он обидел Федора, и ему стало жалко его и стыдно. Чтобы загладить это, он протянул ему руку и сказал, точно прося прощения:

— Приходите в субботу... У нас в Линии будет общественный молебен. Певчих человек двадцать будет... Протодьякона пригласили.

Федор почувствовал настроение Яши. Он понял его и с улыбкой ответил, пожимая в свою очередь руку и забывая обиду:

— А драться не будешь, помолясь богу?

— Нет!— засмеялся тот.

— Ну, ладно; приду. И дедушке ничего говорить не стану. Да ведь он все равно убежден, что я очень люблю студентов и говорю то же, что говорят студенты; а студенты, по его мнению, из человеческих черепов пиво пьют... Стало быть, ни им, ни мне никакого доверия нет. Знаю я это.

Он засмеялся и все еще не выпускал Яшину руку. Ему хотелось сказать Яше что-то хорошее, хотелось сказать спасибо за то, что он устыдился своей грубости.

— Дай я тебя поцелую,— сказал он тихо.— А теперь иди с богом. Прощай.

И когда Яша пошел, Федор через минуту окликнул его:

— Яша!.. Народ может быть счастливым и сытым!

— А как?— спросил тот.

— Подумай,— ответил Федор, и голос его странно и загадочно прозвучал среди ясной тихой ночи.

Яша задумался.

Все в эту ночь для него было тайною и вопросом. Он медленно шел, опустив голову, пытаясь один на один с самим собою разобраться во всем, что сегодня слышал и видел. Острая любознательность томила его: он знал, что манифест об освобождении крестьян подписал Александр Второй и что его же, Александра Второго, убили бомбой...

Почему? За что? Наконец — кто?

Яше было непонятно все это, и он с жестокостью и с

отвращением думал об этих людях, и в то же время ему вспоминались слова Федора о царских слугах, которые и тогда были, и тогда кричали, что освобождение есть погибель и что все это не нужно и невозможно, и тоже, как теперь, собирались колотить образованных людей... Стало быть, ученые люди стояли за что же: за свободу? и за кого: за народ?

А Яша слышал от дедушки, что такое значило быть крепостным. Если бы не свобода, то и Яша теперь был бы где-нибудь пастухом или поваренком или ездил бы на запятках кареты... Его продал бы один барин другому барину, как продают теперь лошадь или собаку, или вот сапоги, в которых он идет... Его драли бы палками и розгами на конюшне, женили бы на кривой пузатой девке, отдали бы на всю жизнь в солдаты — и никто не мог бы вступиться за него и сказать, что все это разбой и ужас.

А все это бывало. Про все это рассказывал дедушка, рассказывал про старую служанку, которая всю жизнь не знала, куда девался ее муж, которого однажды позвали к барину. С тех пор полсотни лет прошло, а она все не знала еще — поминать ли его за здравие, или за упокой...

Проходя через мост, Яша остановился. Облокотясь о перила, он взглянул вниз, где темные далекие воды, сверкая верхними струями, бесшумно стремились куда-то вдаль и тьму. На серебрившуюся поверхность было весело и приятно глядеть, но было жутко и страшно думать, что под этим серебром таится что-то темное, глубокое и живое. Оно также движется, медленно и тяжело, огромное, невидимое, движется во тьме и плывет где-то внизу и тайно уходит куда-то вдаль, и никто не знает, что оно в эту минуту несет в себе...

VI

Дом Синицыных стоял в переулке, невдалеке от моста. Это был деревянный оштукатуренный особняк, небольшой по виду, но очень емкий, с мелкими комнатами, с лестницами, темными закоулками и чуланами; ворота были всегда заперты, и на звонок выходил дворник с двумя собаками.

Яша пробрался сначала в ворота, потом в дверь на черном ходу и, боясь зашуметь, осторожно стал подниматься по скрипучей лестнице к себе в мезонин. От печки, мимо которой он шел, веяло теплом; в сумраке комнат пахло

лампадным маслом, и в тишине было слышно, как шуршали по лестнице и по обоям черные тараканы, большие, похожие на жуков, выползавшие только ночью, о которых деды и прадеды говорили, что они приносят дому счастье.

Все спали в доме. Яша шел по памяти, не зажигая свечи; внезапный хруст половицы иногда пугал его, и он останавливался на секунду, чтобы послушать — не разбудил ли кого.

Не спала только его сестра. На темном полу коридора, под дверью, лежала полоска света, и Яша знал, что эта полоска бывает бледной, если в комнате горит лампадка, а теперь она была ярче и резче — стало быть, в комнате был огонь.

— Дуня!— осторожно шепнул он, останавливаясь возле двери.

Ответа не было.

Яша видел, как полоска вдруг побледнела, а за дверью послышался торопливый шорох и шелест, и было слышно, как сестра задула лампу.

— Дуня!— громче повторил Яша.

— Кто здесь?— раздался неприветливый голос.

— Это я, Дуня.

— Что тебе надо?

Яша не знал, что ответить. Ему хотелось слышать человеческий голос, хотелось в эту смутную для него ночь сказать кому-нибудь про себя и про свои чувства. С сестрой он никогда не разговаривал ни о чем серьезном; здороваясь по утрам, они целовались по детской привычке, но не знали друг про друга ничего и жили чужими. Дуня была годом старше его, однако он, так же как отец и дедушка и как все вообще в доме, относился к ней снисходительно ласково, как к девушке взрослой, которая вскоре выйдет замуж и уйдет из семьи, и потому никто не пытался заглянуть в ее душу.

— Что случилось?— спросила, наконец, Дуня и приоткрыла дверь.

Она была одета и, видимо, еще не ложилась, хотя в комнате было теперь темно и только бледный огонек лампадки делал сумрак прозрачным и спокойным. Она крепко держалась одной рукой за косяк, а другою за дверь, точно оберегая вход от внезапного вторжения.

— Дуня,— нерешительно начал Яша.— Ты читаешь вот книжки... Скажи мне: за что убивают царей?

Она взглянула на него подозрительно и удивленно.

— На что тебе?.. На что тебе это?

Яша молчал и не шел никуда — ни к себе, ни к Дуне. Он стоял, понурив голову, и глядел в сторону, на темный порог.

— Что с тобой?.. Откуда ты пришел?

Дуня пытливо и недоверчиво вглядывалась в его лицо, но оно было темно, и вокруг все было темно.

— Что с тобой?.. Яша!

Он молчал.

Дуня тронула его за рукав.

— Яша!

— Я ничего понять не могу,— ответил он, смутясь и не зная, что теперь делать.— У меня в душе точно мельница какая-то ворочается... Хочется убежать куда-нибудь... Я ничего не понимаю... Решительно ничего не понимаю,— тихо повторил он.

Дуня протянула руку и приложила ладонь к Яшиному лбу: он был холоден.

— Ты здоров?

— Здоров.

Никогда еще они не говорили так, ни разу в жизни.

Прикосновение теплой, легкой девичьей руки вызвало в Яше внезапную и небывалую нежность. И Дуне тоже стало вдруг радостно и хорошо, точно к сиротливой, одинокой душе ее приблизилась другая душа, такая же одинокая и сиротливая, требующая себе отклика.

— Яша...

— Дуня...

Оба они сказали это вместе; они шепотом назвали друг друга по имени, и оба почувствовали, что это ценнее и ближе, чем все их утренние поцелуи за всю их жизнь.

— Войди, Яша,— сказала Дуня, распахивая дверь и снова запирая ее на крючок.— Садись вот здесь,— указала она на стул.— Что с тобой? Говори.

Яша был рад, что в комнате не было огня, кроме лампадки, горевшей в красном стакане перед большой иконой с темным ликом и темными, скрещенными на груди ладонями. Он рад был этому бледному, мягкому свету, этому прозрачному розовому полумраку; ему не хотелось показывать сестре своих глаз, на которые готовы были каждый миг навернуться слезы, и он тихим, прерывающимся шепотом начал рассказывать ей про знакомство с Вороновым, про свое желание умереть за царя и за правду, про сегодняшнее собрание, на которое он шел с трепетом и радо-

стью, но ушел с него смущенный, и, наконец, про встречу с Федором и про свои сомнения.

— Мне надо знать, где правда. Мне непременно надо знать правду.

— Какую правду?— тихо и внимательно спросила Дуня.

Они все время разговаривали шепотом, потому что вокруг все спали, и оба они боялись, чтобы кто-нибудь не проснулся и не подслушал их.

— Я не знаю, где правда и какая она,— говорила Дуня, в первый раз в жизни исповедуя свои думы и свои мечты.— Я знаю одно: все мы несчастны. Все несчастны, которые здесь живем. Не потому, Яша, что дедушка с бабушкой и папаша люди дурные,— не потому. Они люди вовсе не дурные. Может быть, мы с тобой хуже их. Они хорошие, но — по-своему. Они честные и добрые... очень честные... но по-своему... Их не переделаешь. Но мы-то? Я-то сама? Я задыхаюсь здесь. Понимаешь, задыхаюсь. Точно меня зарыли в могилу... точно я для них какой-то щенок или котенок, или... я уж не знаю сама — что я для них. А ведь они меня любят,— я знаю,— желают мне счастья... Но беда в том, что ихнее счастье для меня все равно что для птицы клетка, для живого человека — тюрьма!.. Видишь, какая я нехорошая, неблагодарная...

Она вздохнула и, сложив на коленях руки, опустила голову. Яша молчал: все в эту ночь было для него загадкой и тайной.

— Ты видал ли, Яша, чтобы я улыбалась? Видал ли, чтоб я радовалась чему-нибудь, открывала бы душу? Ты не видал этого? Да и не знал, вероятно, что все это бывает иногда нужно человеку... очень нужно!

Растерянно и изумленно Яша зашептал в ответ искренне, от всего сердца:

— Нешто тебе чего не хватает, Дуня? Ты скажи мне... Я тебе все достану. Только скажи мне, Дуня. Я все достану.

— Свободы мне надо, Яша!— просто и тихо шепнула в ответ ему сестра и в первый раз улыбнулась — горько и ласково.— Свободы! Только свободы, а остальное все неважно, да и все будет; все будет, чего захочу, была бы свобода, Яша!

— Знаешь, что?— вдруг сказала она таинственно и сделалась строгой.— Поклянись мне, что никогда и никому не скажешь ни единого слова, пока сама не позволю.

Она указала на образ:

— Клянешься молчать? Я поверю.

Глядя друг другу в глаза, они молчали, словно испытывая один другого.

— Ну?

— Поверь. Я буду молчать.

— Поклянись, Яша.

Яша встал и перекрестился на образ.

— Вот, ей-богу, не скажу никому,— прошептал он, волнуясь.— Ей богу, никому и никогда не скажу!

Дуня еще колебалась, но уже глядела с доверием на брата. Тайна мучила ее самое. Тайну эту хотелось сказать, но тайна была велика и свята.

— Яша,— тихо сказала она,— взгляни на стол: вот моя тайна.

Яша посмотрел на стол, но ничего особенного не заметил: возле погашенной лампы лежала стопка книг и исписанные страницы бумаги.

— Не пойму, Дуня,— ответил он искренне.

— Ты знаешь меня только, какая я днем и вечером у вас там, внизу; а какая я здесь, у себя, сама с собой — ты не знаешь!.. Что у меня в душе, что у меня в мыслях, что в моем сердце — ты знаешь?

— Откуда ж мне знать? Ты — девушка... у вас свои мысли, свои дела; а у нас, у мальчиков, свои. Ты тоже вот не знаешь, какую я теперь муку переживаю с этой историей. И никогда не поймешь. Я и сам тоже понимать начинаю только, когда я вот здесь... один, ночью... у себя, наверху. Ну-ну, рассказывай свою тайну.

— Какая я там, внизу?— повторила Дуня.— Я вяжу, шью, разливаю чай, запираю чуланы. А вот, Яша, приходит ночь — и я совсем другая. Вы все ложитесь спать, а я запираю эту дверь и сажусь за этот стол.

Она затаила дыхание.

— Я учусь,— выговорила она с благоговением.

— Чему?— со страхом прошептал Яша.

— Учусь!— повторила Дуня и вся засияла от улыбки, от радости, от высказанной, наконец, тайны.— Я, как пленница, Яша, каждую ночь подкапываю свою тюрьму. Каждую ночь я приближаюсь к цели. И настанет день, когда я вырвусь отсюда и уйду, куда захочу.

— Куда?

— Не знаю. На волю!

— Как не знаешь?

— Я сейчас подкапываюсь, как вор, и учусь, как вор,

чтоб никто не знал, но если я уйду отсюда, то, знай, уйду, как царица!

Яша, не понимая ее, глядел на разгоревшиеся ее глаза, на вспыхнувшие щеки и старался разгадать эту новую для него тайну.

— Замуж я не пойду, Яша,— заговорила спокойно и строго Дуня.— Не пойду за ваших хороших женихов — и знаешь, почему? Не по пути мне с ними. Не хочу я ни себе, ни другому несчастия — вот почему. Я убегу от вас; только не теперь; сейчас рано, я не готова. А вот подготовлюсь, и тогда — прощай, Яша!

— Что ты говоришь мне... ушам своим не верю.

— Не бойся: я буду счастлива. У меня характер твердый, спасибо за него нашим предкам. Я — мужичка; мне многого не надо. Я все стерплю; я не изнежилась; мне только свободы нужно, Яша, только свободы, а остальное все сама достану... Сама! Никого не попрошу об этом. Сама!

— Не могу я понять, чего ты хочешь; куда ты нацелилась.

— Одна дорога. Если б нас с тобой учили, как других, если б я имела диплом, тогда мне все пути открыты. А теперь... что я могу?

— Ах, Дуня...

— Я должна сдать экзамен. Это не очень трудно. Ты помнишь Сахарову, батюшкину дочь на даче? Помнишь? Вот она сдала экзамен и стала сельской учительницей... Яша! подумай, быть учительницей в деревне — да что же еще человеку нужно? Это такое счастье!.. Это такая жизнь!..

А Яше, под слова сестры, вспоминались только что слышанные злые наветы на ученых, на учащихся, на молодежь, и сердце его начинала сосать невидимая змея. Он в ужасе и в восторге глядел на сестру, которая казалась ему сейчас ангелом, и думал: «Ведь и Дуню могут убить...»

А она рассказывала ему о своих мечтах и надеждах, о своем будущем счастье...

И долго еще раздавался в этой низенькой комнате среди общей тишины дружный шепот впервые нашедших друг друга сестры и брата. А в соседней комнате мерно всхрапывала их старая нянька, жившая на покое, которой грезились старые страхи, старые радости, и молодая жизнь мчалась мимо нее своими краткими путями к своим целям, к своим радостям...

VII

Настала суббота, о которой говорил Федору Яша.

В этот день вся Линия имела необычайный, праздничный вид. Еще с вечера на двух лошадях привез мужик из деревни зеленых можжевеловых веток и свалил в кучу. Теперь эту кучу разбирал рядской сторож Терентьич; мелкие ветки он разбрасывал по дороге, будто устилая ее зеленым пахучим ковром, а крупными ветвями украшал каждую лавку, засовывая их за петли, за гвозди и за решетки и привязывая к окнам, дверям и к вывескам.

К десяти часам все было готово.

Среди Линии возвышались пустые ящики, подпертые тяжелыми кипами товаров, и все это было покрыто красным сукном и приготовлено для того, чтобы поставить сюда тяжелые огромные иконы, которые ожидались ровно в одиннадцать.

Перед ящиками поверх зелени постелили ковер, покрыли чистой скатертью столик, поставили на него миску с водой, принесли из церкви большие стоячие подсвечники с золочеными длинными свечами и на блюдце насыпали ладану — для кадила.

Старостой ежегодно избирали дедушку, и теперь в его лавке сидел соборный дьякон в ожидании молебна и держал на коленях узел, где был завернут его золоченый стихарь. Тут же сидел певческий регент, вертя в руках камертон, а Федор скромно удалился на свое любимое место за большим распятием и грустно молчал. Чувствуя себя знаменитостью, дьякон небрежно дымил папиросой, не обращая никакого внимания на захудалого попа, и беседовал с дедушкой о торговых делах.

— Едут! Едут! — закричал вдруг мальчик, вбегая в лавку и взмахивая руками.— Иверскую везут!

Не надевая шапок, все вышли из магазина, а регент бросился бегом к своему хору, стоявшему позади ящиков, приготовленных для икон. Все двадцать человек певчих повернули к нему головы и глядели в его глаза: это были подростки и дети, одетые в одинаковые длинные пальто с низко опущенными широкими карманами; были среди них и мужчины, молодые и старые, все без шапок, но с теплыми шарфами на шеях. Регент поднял два пальца, сложенные кольцом, пропел тихонько: «о-о!.. о-о!..», потом махнул рукою — и вся Линия вдруг огласилась дружным приветственным пением.

А по улице в это время подъезжала к Линии огромная, тяжелая карета, которую везли шесть лошадей, запряженные цугом в две и в четыре. На одной из передних лошадей скакал верхом в седле мальчик, обвязанный башлыком, но без шапки, и, взмахивая без надобности кнутом, кричал тонким мальчишеским голосом на прохожих, которые поспешно снимали шапки и начинали креститься. Кучер на козлах и два человека в поддевках, сидевшие на запятках кареты, были также с непокрытыми головами и сытыми лицами.

Как только карета остановилась, эти двое соскочили и отворили дверцы, откуда сначала просунулась чья-то большая нога в тяжелом ботике, потом запестрела золоченая парча с красными цветами, а затем вылез иеромонах, плохонький старичок, державший набок седую голову; риза надета была на нем поверх теплого пальто, и ему было в них неловко поворачиваться; за священником вылез дьякон в таком же золоченом стихаре с красными цветами и в черной скуфье, и оба они, согнув головы, равнодушно пошли по Линии, топча набросанный можжевельник, а торговцы, сторожа и артельщики, человек восемь, вынули из кареты огромную икону, всю в серебре и алмазах, и, пошатываясь под страшной тяжестью, краснея, пыхтя и вытаращив глаза, понесли ее на приготовленное место под громкое пение хора, а неизвестно откуда взявшаяся старуха все мешала им идти, подползая под икону и путаясь в ногах у артельщиков.

Не успели еще дойти до места, как на улице показалась новая процессия: шел угрюмый человек с стеклянным зажженным фонарем, за ним приходский протопоп в лиловой бархатной камилавке и дьякон с кадилом, оба в парчовых ризах; за ними несли небольшой образ на старой пелене и высокий деревянный крест с потемневшей живописью. Едва они повернули в Линию, как на улице произошло новое движение: подъехала карета, еще больше прежней, но запряженная четверней.

— Спаситель! Спаситель! — зашептали вокруг, и хор запел новое приветствие на новый мотив.

Из кареты также вышли священник и дьякон в ризах с зелеными разводами, а богомольцы, так же силясь, надуваясь и пошатываясь, выдвинули из кареты икону с темным, невероятно огромным ликом и, хватаясь за скобки и медные жерди, закидывая на плечи привязанные к ней ремни, с трудом понесли ее по Линии, отпугивая окриками

усердную старуху. Всюду пахло можжевельником, дымом углей, ладаном и горячим воском.

Начался молебен.

Общее внимание сосредоточивалось на хоре и на соборном дьяконе, который, весь в золоте, лохматый, толстый и бородатый, торжественно доказывал публике свою принадлежность к первоклассным басам. Остальные все: монахи, дьяконы и священники, одетые в мишурные, пестрые ризы, сознавали свое бессилие и заботились только о том, чтобы несколько слов, доставшихся на их долю, произнести как можно трогательней и проще; все они были подавлены обаянием героя-дьякона и возглашали тексты, стесняясь и чувствуя, что их никто не слушает и никто ими не интересуется.

Боевым номером для дьякона считалось чтение Апостола. Покашляв в сторону и набравши в легкие воздуха, дьякон взял в обе руки книгу и, не раскрывая ее в знак того, что все в ней написанное он знает наизусть, вышел на середину и, медленно растягивая слова, прогудел низким, густым басом:

— Бра-ти-е...

Начальные фразы он продолжал читать тем же тоном, но, мало-помалу углубляясь в текст, он все более напрягал голос, выговаривал слова более раздельно и более громко; уже становилось заметно, что лицо его краснеет от напряжения и на висках выступают жилки, а голос начинает звенеть, как металл; уже теряется смысл произносимых слов, утрачивается связь между фразами, и слышится только голос — громкий, звучный и чистый, сотрясающий воздух, и все начинают бояться за него, любуясь этой силой, и ждут скорой развязки, а дьякон между тем заносится все выше и выше и все медленнее и все громче вытягивает слога, напрягая голос почти до звона; глаза его уже не видят перед собой ничего, кроме мути; кровь стучит в голову и в шею, и весь череп его звенит и содрогается, а из открытого горла широким потоком вырываются и мчатся оглушительные звуки, уже не слышные ему самому, и разносятся в воздухе, сотрясая стекла и пламя свечей.

— Сам искушен бысть,— слышится последняя фраза.

И все с напряжением глядят на золоченую широкую спину и круто поднимающиеся плечи дьякона, не смея свободно вздохнуть.

— И иску-ша-е-мым по-мо-щи-и! — протянул дьякон,

видимо из последних сил, и хор, точно спеша на выручку, громким восклицанием покрыл эту ноту, и отчаянное, почти безумное «щи» утонуло в ответном гуле и громе молодых и сильных голосов.

— Молодчина! Молодчина!— перешептывались и восторженно переглядывались все.

А Яша стоял, опустив голову, и думал; о чем он думал, он и сам не знал. Он слышал хор и возгласы, но мысли его были далеко от всего того, что он слышал и видел.

— Перекрести лоб-то!.. Нехорошо!— строго шепнул ему дедушка, незаметно для других толкнув его ногою.

Яша встрепенулся и, по привычке повинуясь, начал креститься, видя, как священник окунает в воду крест и многие становятся на колена, и слыша, как хор поет о даровании победы над «супротивными».

Далее он видел, как сквозь толпу начал протискиваться Воронов, неся в руке цилиндр, а другой рукой разглаживая на ходу свои баки. В первый раз заметил Яша на его стриженой голове небольшую розовую шишку, точно из его черепа кто-то показывал маленький кукиш. Он стал глядеть на его затылок — и опять мысли его унеслись куда-то далеко, и глаза уже не видели опять ни Воронова, ни икон, ни монахов. Потом он опять очнулся, когда брызги холодной воды упали ему на лицо. Это священник, окуная в чашу волосяную кисть, кропил водой народ, широко взмахивая рукой и стараясь брызнуть как можно дальше.

А певчие заливались уже хвалою и громкими голосами воспевали славу и благодать; словно бубенчики, звенели дисканты, чередуясь и смешиваясь с альтами, дружно выкрикивали иногда басы, тяжело ревели октавы, и сладко замирали звучные теноры... А толпа весело двигалась и колыхалась; все устремились к иконам, чтобы приложиться к ним и выпить глоток освященной воды.

VIII

Кареты разъехались, публика разошлась, и только нищие оставались теперь в Линии, робко заглядывая в двери, да двое городовых обходили лавки с поздравлением:

— Помолясь богу!

После стройного хора теперь слышались одиночные выкрики разносчиков, и голоса их казались гнусавыми и смешными.

— Спи... рогами!..

— Горячая ветчина!

— Кипит баранина!

По тротуару, при входе в улицу, прохаживались пять молодцов, одетые в короткие зипуны, и все поглядывали в ту сторону, куда скрылся от них Благодетель, который в это время сидел у дедушки в лавке.

Когда входили знакомые благодарить дедушку за хлопоты, Воронов некоторым говорил:

— Взглянули бы на наших добровольцев: они на углу дожидаются. Таких у нас теперь уже много, а будет еще больше. По первому моему слову ринутся, как львы,— куда прикажу.

— Яков Ильич,— обратился он к Яше.— Мне нужно с вами нынче поговорить. День возмездия близок, и крамола доживает свои последние минуты. Говорю вам правду-истину!

Тогда из-за большого распятия поднялась вдруг высокая сухая фигура, которую Воронов раньше не заметил.

— Здравствуйте, батюшка,— проговорил он, приподнимая над головой свой цилиндр.— А я вас и не вижу — за крестом-то.

Не отвечая на поклон, Федор холодно и строго заметил:

— Правда и истина не одно и то же, сударь.

— То есть как — не одно?

— Правда и истина не одно и то же,— повторил Федор,— ибо противоположность правды есть ложь, а противоположность истины есть заблуждение. Не ложь, а заблуждение.

— К чему эта философия?

— А к тому, сударь, что дедушка и Яша — заблуждаются, а вы, извините меня, лжете!.. Они искренне желают добра и истины, но не знают, где они, а вы хорошо знаете, что истина не с вами, но лжете умышленно. Вы их к чему призываете? К погрому? Зовете калечить молодежь и интеллигенцию, да?

— Ну да!— резко ответил Воронов, почувствовав в Федоре явного, но слабого врага.— Вы слыхали, батюшка, пословицу: дурная трава — из поля вон!

— А вы слыхали пословицу,— ответил Федор,— бог не выдаст, свинья не съест!

У Яши вдруг задрожало сердце. Он тоже почувствовал, как и Воронов, что Федор выступает на этот раз не собеседником, не спорщиком, а именно — врагом. Он слышал в его

голосе вызов, а в больших, точно загоревшихся глазах его видел решимость побиться не на жизнь, а на смерть. Он вспомнил вдруг шишку на голове Благодетеля, прикрытую теперь цилиндром, и она показалась ему почему-то страшной, таившей в себе непонятную силу, и подумал про Федора: «Нет, не сладить!..»

Все молчали.

— Именно так,— подхватил Воронов чужую фразу,— именно: бог не выдаст, свинья не съест! А свинья эта хотела сожрать самое драгоценное для русского человека: величие России и самодержавие! Но нет! Не дадим! Бог не выдаст; бог за нас! А мы, верные царские слуги, осеним себя крестным знамением и растопчем крамолу, как змею! как червя!

Он перевел дух и, указывая на икону, добавил:

— Вон как Георгий Победоносец растоптал дракона!

Федор поднял глаза. И Яша и дедушка тоже взглянули туда, куда показывал Воронов.

— Вижу, вижу,— строго сказал Федор.— Да кто дракон-то? Как это понимать надобно?.. По сказанию, это был кровопийца: из городов и селений выхватывал девушек и юношей, самый цвет молодежи, и терзал их, пока Георгий святой не растоптал его. Вот что такое — дракон!

— Да?— вопросительно сказал Воронов, пытливым взглядом отыскивая Федора в глубине магазина.

— Да!— твердо проговорил тот и, чувствуя, что его плохо видно, вышел из-за распятия на середину лавки; голова его была не покрыта, и жидкие волосы непокорно стояли на ней дыбом.— Да!— повторил он громко, оглядывая сверху донизу магазин.— Со всех стен, со всех полок, из всех углов и сторон глядят на нас пречистые лики угодников божьих. Они лучше меня ответят вам, сударь, на все ваши слова, на все намерения ваши. Вот они! Смотрите! Вот страстотерпцы, великомученики, защитники правды божьей кроткими очами глядят на вас и спрашивают вас: «Кто были гонители и мучители наши?..» И вы должны им ответить: это были цари и верные царские слуги!

— Как!— воскликнул Воронов и вскочил со скамьи.

— Верные царские слуги,— отчетливо повторил Федор,— были во все века главными гонителями и мучителями наших святых страдальцев. От таких-то верных слуг и ограждал свою паству угодник святой — Николай-чудотворец; недаром поется: «Положил еси душу твою о людех твоих и спас еси неповинные от смерти». И не было более гроз-

ного, более гневного защитника народа от прислужников и приспешников царских, что грабили и угнетали невинных ради личных, корыстных целей. Святой Николай крепко стоял за народ, за права его, за человеческую его честь!

Воронов весь насторожился и глядел то на Федора, то на Яшу, то на дедушку, словно не веря, что здесь сейчас раздаются такие слова. Он сделал было шаг вперед, но остановился, попятился и замер, как бы почуя добычу; только глаза его бегали, прищуривались и иногда вспыхивали в ожидании чего-то очень приятного, очень желанного. Чуть улыбаясь, он стоял, опершись рукой о прилавок, где наложены были один на один ореховые киоты с стеклянными дверцами, и весело закручивал свои пушистые баки.

— Да! Да!— разгораясь, все громче и громче говорил Федор.— Это вы взяли ключи разумения, вы связали бремена тяжелые, неудобоносимые и навалили их на плечи людям. Горе вам, лицемеры!.. Вот они — святые великомученики!— восторженно взывал он, поднимая обе руки и широко указывая ими на иконы, которыми была переполнена вся лавка.— Мы чтим страдание их, мы молимся им, заступникам нашим в бедах и в горе, павшим за истинное Христово учение, а господь наш заповедал людям душу свою положить за други своя и возлюбить ближнего, как себя самого.

Федор повернулся вдруг к Воронову и, вытянув во всю длину свою руку с широким отвисшим рукавом, указывал прямо в его лицо.

— Смутитесь же, разбойники, перед новыми жертвами!.. А вот и сам Спаситель наш, призывающий к себе всех труждающихся и обремененных...

Федор стремительно шагнул к распятию и высоко поднял обе руки над грудью Христа.

У подножия высокого креста тощая и длинная фигура Федора, в холодной заштопанной и полинявшей рясе, с открытой головой и жидкими поднявшимися волосами, казалась точно возникшей откуда-то из глубины веков. Говоря о святых, Федор и сам был похож сейчас на какого-то мученика, навлекающего на свою голову страдания и казнь: видно было, что он уже не владеет собой и кидается в бездну, а Воронов сторожит его, как паук с раскинутой сетью, выжидает и томит свою жертву.

Дедушка сидел молча, шевеля губами, точно пережевывая что-то, моргая и тяжело дыша, а руки его тряслись

и хватались за газету, за счеты, за бороду и за дрожавшие колена.

Яша, взволнованный и побледневший, как в первое знакомство с Вороновым, с раздувшимися ноздрями и стиснутыми зубами, стоял и глядел на Федора и переносил взоры туда, куда тот указывал: на иконы, на Воронова и на распятие. Он глядел сейчас на бледное чело Христа в терновом венце, на печально опущенную голову с закрытыми глазами, на распятые руки и ноги, на пробитое ребро и на кровь, струившуюся из раны.

— «Сия есть кровь моя»! — взывал восторженно и исступленно Федор, протягивая ладонь и указывая ею на рану.— «Кровь моя, за вас и за многие изливаемая...» Изливаемая за людей, обманутых и обворованных сильными мира сего, и даже за вас, верные царские слуги, за вас, враги темного, несчастного народа... И за тебя!— крикнул он на Воронова, обжигая его взором, полным гнева и презрения.— И за тебя, обманщик и палач! И за тебя, христопродавец!..

Воронов попятился и сжался.

— Вот как?— прошипел он в ответ.— Так вот ты какой?— сказал он, выпрямляясь и меряя Федора взглядом с головы до ног.— Ну и поп!— обратился он к дедушке и опять перенес взгляд на Федора.— По таким молодцам давно тюрьма плачет. Ну и поп!— повторил Воронов, взглядывая на Яшу и словно в удивлении разводя руками.— Вот так поп!

И вдруг закричал и затопал ногами:

— В тюрьму тебя, Гришка Отрепьев! В тюрьму тебя, расстрига!

Он вытащил вдруг откуда-то из кармана полицейский свисток и, быстро всунув его в рот, надул щеки, краснея от напряжения и злобы. Резкий, переливающийся, тревожный свист загремел неожиданно на всю лавку.

В этот же миг Яша, схватив себя за волосы, ринулся из-за конторки вперед, не помня себя, не рассуждая и отшвыривая ногами стул и табуретку, с грохотом покатившиеся по полу. Как это случилось, никто не успел заметить.

— Вот ты какой!— задыхаясь, крикнул Яша и, схватив первый попавшийся на глаза киот, поднял его обеими руками над головой и со всего размаху ударил им Воронова по цилиндру.

Зазвенело и застучало разбитое вдребезги стекло, заглушив сразу свисток. Острые мелкие осколки посыпались

на пол, полетели в стороны, засверкали в складках одежды и запутались в баках; цилиндр от удара сплющился весь, перекосился и налез почти на глаза.

Исцарапанными, окровавленными руками Яша быстро взмахнул опять, поднимая киот, и опять ударил изо всей силы по цилиндру, и вновь замахнулся, но Воронов уже бросился к двери и побежал по Линии, путаясь в можжевельнике, загораживая руками голову и во весь голос крича:

— Караул! Крамола! Крамола!

А Яша, настигая его на бегу, с ожесточением бил его пустым ящиком куда попало — по шее, по плечам, по спине, по поднятым рукам, по затылку...

Оба они бежали один за другим, не видя ни пути, ни встречных, не разбирая ни канав, ни порогов.

Воронов задыхался; цилиндр его был весь изломан, баки всклокочены, а из носа, торчавшего прямо из-под шляпы, текла кровь.

— Крамола! Спасите! Крамола!— хрипел он, скользя и спотыкаясь, а Яша, тоже изнемогая, молча и тяжело ударял его на бегу раз за разом, пока чья-то сильная рука не ударила его самого по лицу.

Он пошатнулся.

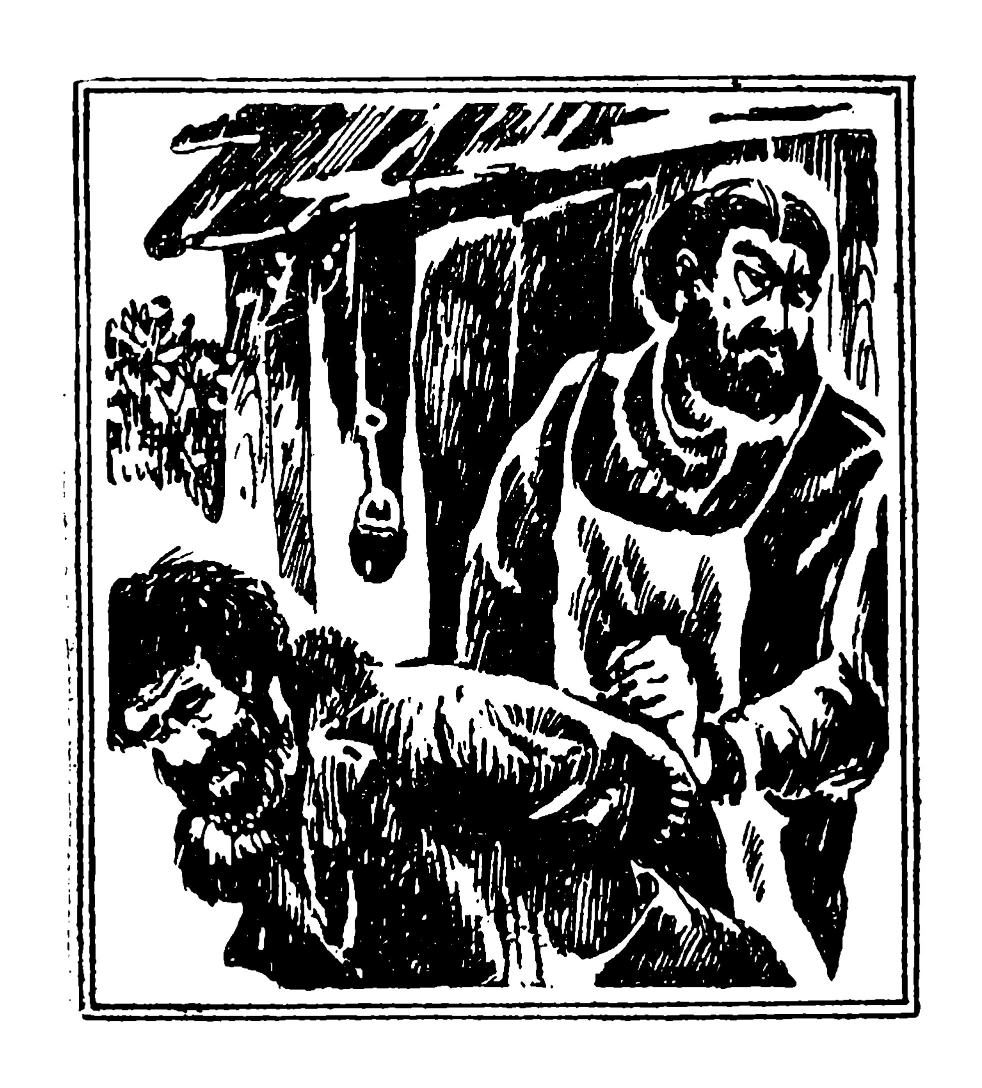
Пятеро молодцов в коротких зипунах набросились на него, и голова его стала метаться от ударов туда и сюда; свет померк, сердце захолонуло, и Яша, опустив руки, повалился без памяти на острый каменный порог магазина.

Из виска его потекла кровь...

Тогда все попятились от него и замолчали.

А на шум и крики уже бежали с разных сторон — с улицы дежурный городовой, а из лавки — дедушка. Один спешил строго и деловито, а другого гнало вперед предчувствие страшной беды и безысходного горя.

1906



ЖУЛИК

Однажды сторож Антон, лохматый деревенский мужик лет сорока пяти, здоровый и сильный, ходивший осенним вечером в тяжелом длинном армяке, в валенках и с дубинкой в руках, поймал жулика.

Жулик был совсем молодой, но хилый, маленький и очень смирный.

Антон заметил его на погребице, когда тот только что сломал замок. Он подкрался к нему сзади и неожиданно схватил его крепкой рукой за шиворот:

— Я тебе покажу, как замки ломать!

Жулик ахнул, но не сопротивлялся. Он выронил из рук и замок и шкворень и только пытался заглянуть в лицо того, кто держал его за воротник, и держал так крепко, что нельзя было повернуть голову.

Дело было в загородном дачном поселке, и жулика нужно было вести к уряднику, который жил неподалеку и в это время, вероятно, еще не спал.

Не желая из-за пустяков беспокоить хозяев, Антон не стал поднимать шума. Не говоря никому ни слова, он вывел пойманного за калитку.

— Иди, иди!— покрикивал он, встряхивая своего пленника.— Упираться будешь — убью!— пригрозил он на всякий случай.

И они пошли.

Рука Антона точно окаменела на шее жулика; ни сопротивляться, ни думать о побеге было невозможно.

Дорога вела сначала мимо ряда дач, частью освещенных, частью уже покинутых, потом зела через просеку и через полянку по берегу большого пруда.

На небе светились звезды; вокруг было тихо и мирно. Никому из живущих не могла прийти и мысль, что мимо проходят незнакомые между собою люди, ставшие минуту назад друг другу врагами.

— Господин сторож... а, господин сторож!— заговорил вдруг жулик скромным, почти ласковым голосом.

Было темно, и только по его голосу было заметно, что он говорит улыбаясь.

— Перехватите, ради бога, полегче. А то уж дышать становится невозможно. Я не уйду. Да от вас даже бык не уйдет... от этакой хватки.

Антон, сознавая свою силу, молча ослабил пальцы, и жулик с облегчением повернул несколько раз вправо и влево голову.

— Благодарю вас.

— Иди, иди!

С минуту они шли молча. Легкие башмаки и мягкие валенки по-разному шумели по дороге.

— Господин сторож... а, господин сторож,— заговорил опять пленник тем же ласковым и тихим голосом.

— Ну?

— Я только к примеру. Например, если бы не было на свете жуликов, вовсе бы не было... никогда, даже звания ихнего не было бы вовсе...

— Ну?

— Вот я и думаю: что бы вы, господин сторож, стали бы тогда делать? То есть какое именно дело стали бы вы тогда выполнять?

Антон сразу не понял вопроса. Он думал о самом себе и ответил сурово и кратко, чтобы показать свою власть:

— Иди, иди!

Жулик шел впереди, Антон сзади; их соединяла только рука Антона, лежавшая, как железная скоба, на чужой шее.

— Я только к примеру... Чем бы вы стали заниматься, если бы жуликов совсем не было на свете?

Антон молчал.

— По-моему, не будь жуликов, не было бы и сторожей.

Подождав напрасно, но терпеливо ответа, пленник добавил:

— Поэтому я так понимаю, господин сторож, что жулик для вас первый друг и благодетель.

Вопрос становился доступным Антону. Он несколько замедлил шаг и начал вслушиваться.

— Красную рубашку вы бы тогда, пожалуй, не носили, ежели бы нашего брата не было. Потому что хозяину вас держать не было бы никакого расчета. Потому — для чего вы?

Он помолчал и вздохнул.

— Ежели жулика нет, то и сторож есть только прах, и ничего больше. Так ли я понимаю?

Это было настолько неожиданно, что Антон даже остановился.

Он молча и строго глядел в темноте на свою жертву, однако слова эти затронули его.

В армяке было жарко, а главное, сквозь армяк не могло быть видно его одежды; откуда же тот мог узнать про его красную рубашку, которую ему недавно подарила хозяйка на именины?

— Сейчас видать,— ответил он на свои мысли,— что ты страсть какой жулик!.. Ну, шагай!

И они опять пошли в прежнем порядке.

В просеке было темно и жутко. Еловый лес зубчатой черной стеной вырисовывался на темном звездном небе. Под ногами хрустели сухие ветки и шуршала старая, затоптанная трава.

— Я все это только к тому говорю, что, не будь, например, жуликов, ваше занятие, господин сторож, совершенно уничтожается. Небось вы и сами не станете думать, что хозяин без вас жить или дыхнуть не может? Поверьте честному слову — может и даже очень может!.. Потому я и думаю, что жулик для сторожа есть хлеб насущный.

Антон чувствовал некоторую правду в его словах, и правду не очень веселую. Невольно ему вспоминалось, как недавно он был без места: куда ни ходил, где ни искал работы, везде было все занято. И действительно, не будь на свете жуликов, не быть ему и дачным сторожем.

Мысли эти тупо и тяжело бродили в его голове, а вкрадчивый, тихий голос пленника точно подсказывал ему новые вопросы и разрешал их сейчас же, смущая все более и более душу Антона.

— Так что никакого смысла из вашей должности не получится, ежели все жулики прекратятся. К примеру, скажем так: собаку кормят разве за то, что она собака?.. Нет. А за то ее кормят, что она лает и пугает. Кого? Жулика. А переведись все жулики, то и всем собакам сию же минуту отставка. И кончились бы собаки. И не стало бы ни одной собаки на всем белом свете. Так же точно и со сторожами. Хозяин не станет вам жалованье платить только за то, что вы, скажем, с усами и с бородой. Мало ли людей с усами и бородами,— за это денег не платят.

Антон вдруг остановился и вскинул на жулика недоуменный взгляд.

— Ты... про что это такое?..— сердито сказал он, а у самого в груди что-то заворочалось, грузное, точно жернов на мельнице. Он глядел на жулика широко открытыми глазами и даже снял с его шеи руку, держа его только сзади за пиджак.— Как же это такое!— вымолвил он беспокойно.— Ты это про что?

— А про то самое, что, не будь жуликов,— ответил тот весело,— всем сторожам каюк! крышка! Потому что — кому и на кой они после этого нужны!

Не ожидал Антон такого ответа. Было в этом ответе что-то жуткое, но правильное и непонятное. И вдруг с новой силой схватил он жулика за шиворот и грозно крикнул ему:

— Иди, иди!

Жулик покорно и шумно вздохнул.

Вздохнул незаметно и Антон.

Они выходили уже на простор, на широкую открытую луговину.

— И стали бы тогда все сторожа пахать землю... А походи-ка тоже по полю с сохой да с бороной — небось поясницу заломит. Да хорошо еще, у кого земля есть. А если и земли-то нет?.. В батраки наниматься и тяжело и голодно. А теперь чего лучше? Сыто, тепло, денежно.

— Это верно,— не выдержал Антон и в раздумье покрутил головой.

— А кто причиной всему тому, позвольте спросить?

Антон молчал.

— Причиной всему тому — жулики, ваши друзья. Я бы на вашем месте за них богу молился, а не то что... в полицию.

В поле было светлей и спокойнее. Темной гладью лежал сбоку широкий пруд, и в нем отражались черные группы прибрежных деревьев, а посередине сверкали звезды.

— У вас земля-то имеется по наделу? — спросил опять жулик, точно между ним и Антоном не было никогда и никаких неприятностей.

— Мало, — угрюмо и нехотя ответил сторож. — Какая наша земля: три четвертки!

Он махнул свободной рукой и задумался. Вопрос был слишком близкий ему, чтоб отвечать равнодушно.

— Земли-то у нас, говорят, больше, не три четвертки, да она за графом осталась. Говорят, надо судиться: ее возможно обратно взять. Тогда дело другое. А теперь что за земля!

— Так чем же вы заниматься будете? — воскликнул вдруг жулик, и в голосе его было удивление, сочувствие и даже упрек. — Разве возможно с такого клочка прокормиться? Да еще семью прокормить?

— Что ж теперь будешь делать...

— А вы человек семейный?

— У меня много...

От таких разговоров сердце у Антона смягчилось, да и рука устала крепко держать жулика все время за воротник. Он перехватил его за рукав и, указывая куда-то вперед, сказал просто и добродушно:

— А вот уж недалеко и урядник!

Жулик ничего на это не ответил.

Помолчав, он неожиданно спросил тоже простым и участливым тоном, словно давнишний приятель:

— Вы что же, здесь на всю зиму останетесь без семьи?

— Я только до сентября нанят, пока дачник живет.

— Значит, недели две — да и в сторону?.. Ну и стоит из-за таких пустяков целое путешествие делать... ноги ломать по песку?.. Знаете что, господин сторож: не нужно идти к уряднику. Ну его совсем!

Антон молчал и думал. Ему и самому стало казаться, что не нужно: жулик был человек уважительный и приятный, и ему было жалко его.

— Я вам не враг, и вы мне тоже не враг: разойдемся друзьями?

Жулик осторожно взял Антона за руку, которою тот все еще держал его локоть, и повторил:

— Разойдемся друзьями?

Потом добавил почти уже строго:

— А с графом вы непременно судитесь. Составьте приговор от волости да хорошего адвоката возьмите. Не какого-нибудь ходатая, а настоящего адвоката... во фраке. Он вам единым махом все оборудует. Земля — дело нужное. Не дарить же ее графу!

— То-то и оно, чтобы не дарить!

— И не дарите!

— Люди-то мы... темные.

— Адвокаты на это есть... Ну, прощайте, господин сторож. Благодарю вас.

Антон все еще медлил и крутил головой. Потом вздохнул и нерешительно отпустил руку.

— Ну, ладно,— сказал он угрюмо,— так и быть... А задвижку, которую ты своротил, я завтрашний день на старое место приколочу.

— Уж пожалуйста, господин сторож.

— Сказал — сделаю.

— Ну, прощайте!

Жулик скромно пожал его сухую огромную руку с жесткими пальцами, приподнял над головой картуз и быстро и легко пошел к роще.

Антон с минуту еще видел его темную фигуру среди темного поля, а может быть, ему только казалось, что он видит его и слышит легкие поспешные шаги.

Он постоял, подумал и, погладив бороду, пошел, не торопясь, обратно домой. В мыслях его крепко засел вопрос о земле. В это же время он думал и о том, что станется со всеми сторожами, если всех жуликов переловят.

Наутро он выполнил обещание и приколотил оторванную задвижку.

А когда всем стало известно, что ночью приходил вор и сломал замок у погреба, хозяин позвал к себе Антона и спросил по-хозяйски:

— Куда же девался жулик?

Антон отвел в сторону глаза и угрюмо махнул рукою:

— Убёг!

1907

ТЕНЬ СЧАСТЬЯ

I

Молодой человек лет двадцати двух, бледнолицый и скромный, Виктор Васильевич Рыбаков, сидел на высоком табурете за желтой длинноногой конторкой и писал в разграфленной книге цифры, складывая и помножая числа на счетах. Работа требовала внимания и точности, а между тем мысли Рыбакова отвлекались в сторону и было трудно считать не сбиваясь. Он только что получил странную неожиданную записку. Несмотря на то, что записка была неведомо от кого, она беспокоила и дразнила его воображение, мешая думать.

В свободное от занятий время Рыбаков любил играть на рояле и вообще любил музыку, много читал о ней, интересовался теорией и даже пробовал сам писать ноты, но исключительно для себя, никому их не показывая; это доставляло ему большое удовольствие; он забывался, выходил из своего одиночества и чувствовал себя почти счастливым. Никогда он не предполагал, что будет играть публично. Однако это случилось. Два дня тому назад его почти насильно вытащили на эстраду аккомпанировать зна-

комому певцу в маленьком концерте в пользу соседнего приюта, чтобы заменить обманувшего пианиста; без этого срывался весь концерт. От смущения и робости он чуть не умер при выходе перед публикой, которой и было-то всего человек сто. В числе слушателей были многие из его конторских сослуживцев, и это смущало его всего более. Певец имел успех, а аккомпаниатора едва ли кто, кроме знакомых, даже заметил. Он и сам не обольщался ничем: отработал, выручил из беды устроителей и незаметно ушел — точно ничего и не было. Однако случилось нечто невероятное. Он получил на другой день записку, которую читал и перечитывал, старался забыть и разорвать, но не рвал и не забывал, а вынимал из кармана и вновь и вновь перечитывал.

«Я внимательно следила за вами весь вечер. Почему вы были так печальны? Мне кажется, что вы очень талантливы и очень одиноки. Как мне хотелось бы доставить вам хоть минуту радости. Если б я могла это сделать! Где я могу увидеть вас и когда?.. Если можете, приходите во вторник ровно в шесть вечера к памятнику Гоголя... Я вас увижу и сама подойду к вам. Не думайте дурно обо мне... Мне хочется сказать вам только несколько слов. Если не придете, то все-таки не думайте обо мне дурно. Впрочем, таланты не бывают жестоки, и вы меня не осудите, я уверена. До свидания. Ровно в шесть».

Подписи не было никакой. Подумать было не на кого. Воображение рисовало то одно, то другое лицо, и все это было — не то. Казалось, что это пишет молоденькая ученица в коричневом платье... Но нет! Об одиночестве и о том, что таланты не бывают жестоки, не может писать неопытная девочка. Это, должно быть, старая дева, от скуки бросающаяся на первого встречного... «Мне хотелось бы доставить вам хоть минуту радости...» Нет, это не старая дева!.. Доставить радость?.. Кто может так легко и так уверенно сказать это о себе?.. И воображение начинало рисовать молодую красавицу, способную действительно доставить радость своим взглядом, пожатием руки, ласковым словом, дружбой... доверием...

Стучали быстро косточки на счетах, мелькали перед глазами колонны цифр, а в душе возникал и выяснялся образ, слагались самые нежные и прекрасные грезы, чистые, одухотворенные, и все они сливались в одно понятие, в одно пленительное слово: «Женщина!»

Чем больше думал Рыбаков о своей незнакомке, чем ближе подходил день и час, когда он ее увидит, тем милее становилась для него жизнь. Ничего еще не случилось; кто «она», какая она — неизвестно, но в ожидание встречи проникла уже радость, и весь мир, казалось, наполнялся для него красотой и светом, как при восходе солнца... И Рыбакову, находившемуся в таком настроении, особенно неприятно было весь день глядеть на своего визави, Синюхина, сидевшего за такой же конторкой, лицом к нему, писавшего такие же цифры, стучавшего так же на счетах. Это был человек лет пятидесяти, с лысой головой, с холодными насмешливыми глазами, с коротко подстриженной седеющей бородой и подстриженными усами — точно давно не бритый. Он говорил всегда мягким и ласковым голосом, всегда с улыбкой, но не было для него ничего святого в жизни и не было человека, над которым бы он явно или тайно не насмехался. Рыбакову всегда был неприятен этот старик, а теперь особенно противно было встречать или чувствовать на себе его пристальный насмешливый взгляд, идущий куда-то дальше, чем может быть позволено, словно он нащупывает всегда этим взглядом чужую тайну и начинает рыться в чужой душе.

Но никогда Синюхин не был так ненавистен Рыбакову, как именно в этот полный ожидания и радости вторник. Мартовское солнце каждый день на несколько минут все более задерживалось на небе; дни становились длиннее, и в воздухе чувствовалось приближение весны. Окончив в пять часов занятия в конторе, Рыбаков вышел на улицу. Времени до шести было слишком много, и он пошел потихоньку по направлению к бульвару, где была назначена встреча, избегая людных улиц, пробираясь тихими переулками. Ему хотелось обдумать, о чем он будет говорить с незнакомкой, но мысли были несвязны; билось только сердце сильнее, чем всегда, и в голову лезло что-то совсем постороннее, ненужное и пустое. Он волновался; ожидание было страшно, но сладко. Так, не замечая ни пути, ни времени, он пришел к памятнику слишком рано. Поглядел на грязный, перемешанный с песком, подтаявший снег, на светлое небо и пошел дальше по бульвару; потом опять вернулся; но было все-таки рано. Тогда он сел на скамью и начал читать, взглядывая то и дело на часы и не понимая того, что читает.

На скамьях сидели какие-то мальчишки, няня с детьми, курьер с портфелем, несколько женщин и стариков — всё

люди не из тех, которые могли быть ему сейчас интересны.

Когда оставалось только десять минут до условленного часа, Рыбаков опустил газету на колени и стал следить за всеми, кто проходил.

Проходившие мимо были так непохожи на ту, которая должна сейчас появиться. Но вот — прошла какая-то женщина, молодая, с строго красивым лицом, с ясными глазами... Не она ли?.. Но та прошла и не вернулась... Рыбаков взволнованно глядел ей вслед и совершенно не заметил, как рядом с ним кто-то сел на скамью и развернул газету.

— Вот неожиданность!— раздался знакомый голос.— Здравствуйте, Виктор Васильевич.

И Рыбаков, к ужасу своему, увидел возле себя улыбающееся лицо Синюхина и его жесткие глаза, окруженные золотом очков.

Ему вдруг стало неловко и обидно. Он разозлился и сам ответил вперед, не дожидаясь вопроса:

— Сказал, что в пять будет готово, а теперь, оказывается, только к шести приготовит. Вот и сижу, дожидаюсь.

— Про что это вы говорите, я не пойму.

— Да портной обманул. Сказал, в пять... А вы тоже по делу сюда?

— Я здешний. Я живу здесь: вон мои два окошка!— указал он куда-то рукою.— Каждый вечер прихожу сюда перед обедом газеты читать. Посижу полчаса, да и домой.

Он вынул часы; было начало седьмого. Рыбаков вспыхнул и торопливо достал свои часы; у него показывало шесть.

«Ровно в шесть...» Таким точным указанием заканчивалось письмо. Именно сейчас наступило и течет это драгоценное время... Где «она»? Придет ли? И если придет, то как познакомятся они при этом соседе? Ведь их засмеют потом в конторе! Главное, засмеют ее!.. Она подойдет доверчиво, откуда ей знать, что рядом сидит злейший насмешник... Нет! Необходимо уйти... сейчас же; скорее, пока она еще не пришла.

Руки его стали дрожать. Он быстро встал и поклонился.

— Прощайте, Аким Петрович. Мне уж пора.

— До свидания, до свидания,— ласково закивал ему головой Синюхин и опять уткнулся в газету, а Рыбаков, не зная, что делать, куда деваться, отошел на другой конец площадки и, видя, что гранитная глыба загораживает его от Синюхина, остановился. С большой осторожностью он заглядывал иногда из-за своей засады на Синюхина; тот

сидел и спокойно читал; потом встал и тихо пошел через площадь, даже не оглянувшись.

Рыбаков вздохнул свободней. Но было уже ясно, что срок миновал и ждать напрасно. Солнце село. В небе догорала вечерняя заря. В магазинах засветились огни... Все было кончено для Рыбакова. Он медленно опустился на скамью, разочарованный и печальный. Чувство одиночества зашевелилось в душе. Зачем он поверил этому письму? Кому нужны и интересны его радости и печали?..

Во всем огромном городе у него не было ни одного близкого человека и некуда было идти. Становилось еще печальнее от этой мысли, потому что душа его давно искала другую душу, почти уже нашла ее, и все эти дни он чувствовал, что вот, наконец, он не одинок, что есть кто-то живой и прекрасный, который приближается к нему, подошел и ждет. И было грустно теперь возвращаться домой ни с чем, более одиноким, чем раньше.

Весь следующий день Рыбаков старался не думать о своей неудаче и был рад, что Синюхин ни о чем его не спрашивал, ни о чем не напоминал; очевидно, поверил в портного.

К вечеру того же дня он получил по почте новое письмо.

«Я видела вас вчера у Гоголя и была рада и благодарна вам, что пришли. Но вы были не одни. Вы разговаривали с кем-то в очках, и я подойти не решилась. Шлю вам мой сердечный привет. Если захотите меня видеть, приходите опять туда же в эту пятницу, но только в три часа. Ровно в три».

После минутной радости от этого письма Рыбаковым овладело уныние: в пятницу в три часа он не может никуда уйти, так как в конторе назначена ревизионной комиссией поверка книг и как раз именно он и Синюхин должны в это самое время давать объяснения. Пренебречь этой обязанностью было совершенно невозможно. Предупредить свою незнакомку было также нельзя. Оставалось единственное: покориться и не ходить.

С тяжелым чувством Рыбаков решился на это и не пошел.

II

Проходили дни за днями. Рыбаков все еще надеялся получить от своей незнакомки новое письмо, но писем не было, и это огорчало его. Он так привык к мысли повстре-

чаться с человеком, который казался ему близким и прекрасным, что потерять его, не найдя, было более чем печально.

Часто во время работы, подводя длинные цифровые итоги, щелкая косточками на счетах, Рыбаков думал о незнакомке и о том, как бы восстановить несостоявшуюся встречу, но все пути к этому были отрезаны, и он мало-помалу начинал успокаиваться.

Однажды, придя утром, Рыбаков нашел у себя на конторке письмо с знакомым почерком и так обрадовался, что лицо его вспыхнуло и заблестели глаза. Это не ускользнуло от внимания Синюхина. Он уставился на Рыбакова своими холодными насмешливыми глазами и проговорил, глядя поверх очков:

— Весточка с родины, надо полагать?

— Нет, — холодно ответил Рыбаков,— счет от портного.

Письмо было длинное, на четырех страницах. Читать его под взглядом Синюхина он не мог. Он волновался, но сдерживал себя и, не читая, сунул в карман. Было трудно высидеть минут двадцать, притворяясь равнодушным, и подсчитывать цифры, однако он высидел, скрывая волнение, и ушел только тогда, когда его вызвали к телефону. Там, в коридоре, оставшись один, он схватил заветную бумажку и, почти задыхаясь от радости, начал читать.

Незнакомка писала, что ждала его в назначенное время и, когда стало ясно, что он не придет, она опечалилась и решила навсегда оставить его в покое. Но вот прошло более недели, и она чувствует, что не может остановиться на этом решении, не попытавшись узнать, как он сам к этому относится. Теперь в его руках это решение. Она просит его написать ей совершенно просто и откровенно, почему он не пришел, не считает ли он ее легкомысленной или дурной и желает ли получить от нее ответ. Всякому его решению она вперед покоряется, и если не получит ответа, то больше уже никогда ничем не потревожит его... Адреса своего она дать не может, а просит написать в почтамт — предъявителю кредитного билета в один рубль за номером 641.

Много раз Рыбаков начинал писать свой ответ, но рвал все это и опять писал. Выходило совершенно не то, что хотелось сказать. То очень сухо, то очень торжественно. Наконец, он решил, что напишет без всяких обдумываний —

попросту, напишет лишь то, что подскажет сердце. И он написал:

«Как я рад был Вашему письму. Как хорошо Вы сделали, что написали. Мне необходимо Вас увидеть. Вы вряд ли можете себе представить, как жду я этого свидания, с каким волнением и с какой радостью. Вы до сих пор не назвали даже Вашего имени. Я не знаю еще, как Вас зовут, но Вы мне уже не чужая. Я сам не понимаю, почему это так; может быть, потому, что я слишком одинок и Вы единственный человек, которому я рад поверить, и чувствую, что встречу такой же отклик. Кто бы Вы ни были, я вперед благословляю тот день, когда мы встретимся. Это будет счастливый мой день. А я не избалован счастьем... Поймите же, как жду я этой встречи. Умоляю Вас, не откладывайте нашу встречу. Через два дня, в эту пятницу, у Гоголя, ровно в 6 вечера».

За эти два дня Рыбаков так много передумал и перечувствовал, точно прожил несколько лет. Не было минуты, чтобы он не думал о таинственной незнакомке. Он перебирал в памяти все женские имена, гадая, какое из них носит его незнакомка. Что она молода и прекрасна, в этом уже не было никакого сомнения. Вся душа его открывалась навстречу ей, все его мысли неудержимо летели к Невидимке, как он стал называть ее за неимением настоящего имени. Насилу дожил он в нетерпении своем до пятницы. Он считал уже, что только часы — три, два, один час — отделяют его от встречи. Как вдруг швейцар подал ему письмо, присланное в контору с нарочным.

«Дорогой друг мой,— прочитал он в записке, и лицо его омрачилось.— Только сию минуту я получила ваше письмо. Спешу предупредить, чтобы вы опять не ждали меня напрасно, что я сегодня ни в коем случае не могу быть. Я напишу вам на днях, когда я свободна. Ваше письмо доставило мне искреннюю радость; я вижу теперь, что мы скоро будем близкими друзьями, да мы и сейчас уже друзья, не правда ли?.. Про себя могу сказать вам пока только, что зовут меня Анной, что мне 21 год и что, если вы возле меня почувствуете себя хоть на минуту счастливым, я буду этим счастлива всю жизнь. Пишите мне чаще, каждый день (почтамт, предъявителю и т. д.), пишите, пока мы, наконец, не встретимся. Знайте, что в день, когда вы мне не напишете, я буду очень грустить. Ваша *Анна*».

И мысли и чувства Рыбакова совершенно запутались. Досада на кого-то, и печаль, и в то же время буйная радость овладевали душою Виктора Васильевича. Возле него, несомненно, стояло его счастье, улыбалось ему, сияло, а он был точно слепой и не мог увидеть ни сияния, ни улыбки, ни лица счастья. Но не сон ли все это?.. Нет, не сон. Каждый почти день получал он либо письмо, либо коротенькую записку с ответами на свои письма, на свои вопросы, переходившие мало-помалу незаметно для него самого в мольбы о свидании. Но что-то роковое стояло поперек пути и не давало встречи. Оба они посылали друг другу сначала загадочные, потом нежные, потом пламенные слова, оба, точно потерявши рассудок, говорили о любви, о восторгах, о страданиях, мечтали о весне и о солнце, о зеленой роще, о счастье среди природы и без людей.

Рыбаков уже знал, что по утрам, прежде чем проснуться, он повторяет бессчетно имя своей Невидимки, а потом уже, с именем ее на устах и в сердце, открывает глаза. И когда засыпает, то последнее, что исчезает из сознания и из памяти,— это имя ее...

Он не знал и не отдавал себе отчета, как могло все это случиться. Но было ясно, что он любит и любим...

Кем любим?.. Кого он любит?..

Мучительно жгло все это его мозг. Но воображаемая Невидимка стояла перед ним как живая... Вблизи себя он чувствовал ее лицо, глаза, волосы, улыбку, он слышал ее голос, смех, ее дыхание. Она вся была в нем, точно была частью его души, частью его самого.

Напрасно молил он ее о свидании. Она отвечала почти одно и тоже:

«Милый, я не могу сейчас...» Или: «Пойми, что я не могу пока...» Или так: «Милый мой, дорогой мой... прости, что мучу тебя... и себя мучу. Не могу пока... Не обижай подозрением свою Невидимку: ей и самой не легко...» Или: «Скоро, скоро теперь я увижу тебя, мой милый. Скоро буду обнимать и целовать тебя, дорогой...», «Подожди немного. Не спрашивай. Все скажу. Все узнаешь. Потерпи. Не мучь ни себя, ни меня...»

Рыбаков терялся в догадках. «Не с ума ли я сошел?» — думал он иногда. Но получаемые письма были действительностью, а написанные там слова дышали такой любовью, такой нежностью, что перед ним возникал пленительный образ, и воображаемая Невидимка станови-

лась живой, родной и любимой, без которой не мыслилась дальнейшая жизнь. И Рыбаков примирялся с таинственной невозможностью встречи и жадно ожидал дня, когда кончатся эти злые чары, спадут эти цепи и откроется лицо счастья. И час этот близок — твердо верил он и ждал его с благоговением. Он весь был переполнен ожиданием счастья.

Но счастье, как гость дорогой и желанный, приходит редко и ненадолго. Он не забывал этого. Пусть ненадолго; хоть на минуту, но пусть придет! — мечтал он о близком будущем, в которое верил, а перед глазами, перед душою возникал тот же пленительный образ, что был с ним теперь почти неразлучен. Все мысли бросались навстречу этому образу, восторгом переполнялось сердце, и в душе его и вокруг него все точно пело и восклицало: «Анна!.. Анна!..»

Случилось, что служащие конторы устраивали опять небольшой концерт и на этот раз позвали Рыбакова уже как испытанного музыканта аккомпанировать тому же певцу, с которым он выступал впервые случайно, Рыбаков согласился.

За два дня до концерта он был у певца, и они прорепетировали несколько романсов.

— А это вы знаете? — спросил певец, раскрывая перед Рыбаковым ноты. — Я на эту вещь очень надеюсь: Шуберта «Смерть и молодая девушка». Давайте попробуем.

Рыбаков начал. С первых же слов певца он почувствовал, что душой его овладевает тревога. Ему почему-то представилось, что молодая девушка, отгоняющая от себя смерть, и есть не кто иная, как его Невидимка.

«Исчезни, призрак мрачный... — красиво звучал голос певца. — Я молода, мне рано умирать...»

С возрастающей тревогой продолжал он ударять по клавишам и слышал, как за спиной у него вступает спокойный голос Смерти, почти ласковый, но полный неотразимого решения:

«Дай руку мне, прелестное дитя. Я друг твой, ты меня не бойся. Прижмись ко мне...»

Даже пальцы его холодели от волнения. Никогда до сих пор он не мог ясно представить себе Невидимку, а теперь он видел ее перед собой как живую. Видел, как закрывает она, точно в дремоте, свои прекрасные утомленные глаза, как доверчиво склоняет русую головку на плечо другой — черноволосой женщины, тоже молодой и то-

же прекрасной, но невыразимо печальной и та заботливо и с любовью принимает ее в объятия, но не руками, а серыми высокими крыльями вместо рук...

Всю ночь и весь следующий день Рыбаков был под впечатлением этого голоса, этого видения. Он написал горячий призыв своей Невидимке, умоляя ее прийти хотя бы в концерт, но ответ ее оставался прежним: «Милый мой... не могу...»

Что под влиянием музыки представилось ему так ясно, так неожиданно, то сопровождало его теперь повсюду. Перед ним были две: прекрасная молодая девушка, у которой закрываются в изнеможении глаза и голова склоняется на плечо к другой женщине, и та, и другая с бесшумными крыльями,— тоже прекрасная. Обе такие разные, они были как будто одно и то же существо: обе были — его Невидимкой. Слово «смерть», всегда неприятное ему, перестало быть неприятным и страшным. В ночь перед концертом он даже видел во сне, как в комнату к нему вошла молодая женщина с серыми крыльями, печальная и красивая, и сказала ему, беря за руку: «Пойдем!» — И он доверчиво склонил голову ей на грудь, называл ее ласково и восторженно Анной, а та окутала его крыльями и нежно поцеловала долгим поцелуем.

— Анна! — воскликнул он, задыхаясь от счастья, и с этим именем на устах проснулся.

Была середина ночи. В комнате было черно; невольно подумалось: как в могиле. И все-таки не было страшно.

Весь день это впечатление и музыкальный мотив Смерти не покидали Рыбакова. Так и в концерт он приехал, повторяя невольно: «Я друг твой, ты меня не бойся...»

Публики было хотя немного, но в маленьком помещении казалось, что пришел сюда весь город, — так было тесно; сидели, стояли, залезли даже на подоконники. Артистов принимали дружно и шумно. Все выступали с успехом, играли и пели помногу и с удовольствием. Среди зрителей преобладали знакомые; было много и своих, конторских. Во втором ряду посредине сидел Синюхин и так же, как в конторе, глядел в упор на Рыбакова, когда тот вышел к роялю; так же сверкали стекла его очков и так же, как всегда, усмешка не сходила с его лица. Рыбакову достаточно надоело каждый день видеть перед собой это лицо, этот взгляд и, главное, усмешку; он отвел глаза в сторону, так и не взглянул после этого ни разу на Синюхина, в чем потом очень раскаивался.

По окончании концерта, когда публика расходилась, Синюхин сам подошел к Рыбакову. Улыбаясь, он пожимал ему руку и поздравлял с успехом.

— Успех принадлежит артистам, — холодно ответил Рыбаков, — а мое дело — работа.

— Не только успех, — настаивал на своем Синюхин, сверкая перед ним очками, — но и прямая победа. Победа! — многозначительно повторил он и даже ткнул его указательным пальцем в грудь.

Рыбаков насторожился. От этих слов у него почему-то сильнее забилось сердце.

— Позади меня сидела дамочка, — добавил Синюхин. — Да такая, что я с удовольствием повернул бы свой стул и стал бы глядеть на нее, а не на сцену. Если б вы только слышали, что она про вас говорила... Что вы талантливей всех этих певцов и музыкантов; сколько у вас души; почему вы не выступаете солистом. Напрасно вы в нашу сторону ни разу не взглянули.

А Рыбаков в это время думал: «Это она... Она была здесь... Я мог бы ее увидеть...»

— Я сидел впереди и невольно все слышал. Говорила с дрожью в голосе, с восторгом. Вот вы какой у нас, Виктор Васильевич. По вас красавицы с ума сходят.

Он ласково похлопал его по плечу, потом с усмешкой добавил:

— До того договорилась бедняжка, что под конец муж ее даже обиделся и увез ее после первого отделения домой.

— Муж? — еле слышно повторил Рыбаков, бледнея от этой мысли.

Но Синюхин, не обращая на него больше внимания и не глядя на него, сказал:

— Ну, пока! — и пошел к выходу, оставив Рыбакова наедине с новыми впечатлениями.

А в половине следующего дня на конторке Рыбакова лежало письмо, написанное знакомым дорогим почерком:

«Милый мой!.. Вчера я видела и слышала тебя. Еще больше тебя люблю. Вся твоя! *Анна*».

У Рыбакова голова кружилась. Впервые при получении письма он не почувствовал себя радостным и счастливым, как до сих пор, а глубоко несчастным. Лицо его было бледно. Сердце ныло тоской. Ему казалось, что человеку долго находиться возле самого счастья нельзя

безнаказанно: нужно схватить это счастье и завладеть, иначе оно будет праздно гореть и опалит и ослепит своим праздным светом того безумца, который и не берет его и не бежит сам от него прочь.

После долгих колебаний Рыбаков написал своей Невидимке решительное письмо. Он говорил ей о том, что совершенно измучен, что хочет знать правду, как бы она ни была жестока, что жить так, как сейчас, он больше не может. Почему она не приходит к нему? Если правда, что она его хоть немного любит, то придет во что бы то ни стало завтра же вечером, хотя бы на одну минуту. Он умоляет ее об этом, заклинает ее всем для нее святым и дорогим выполнить эту единственную просьбу, без чего жизнь становится ему невыносимой.

«Дорогая моя! Желанная!» — так заканчивалось его письмо. Это был голос его сердца, и ответ на письмо был для него ударом.

Она писала, что сама не может далее скрывать от него правды. К ней вернулся муж. Правда, он не долго пробудет, но сейчас он не оставляет ее одну, он постоянно с нею, так что ей не легко даже получать и посылать письма. Она сама страдает от этого... Особенно ей тяжелы его ласки...

От этих последних слов Рыбаков почувствовал острую боль, и ему показалось даже, что он вдруг ослабел и пошатнулся, точно его ранили ножом. Он сел, опустил на колени руки с письмом и видел, как белый листок бумаги дрожал в его пальцах; потом письмо выпало из рук и упало на пол. Он равнодушно поднял его и долго сидел и гладил себе лоб рукою, ни о чем не думая.

III

Прошло более недели. Писем от Анны не было никаких. Рыбаков писал и не получал ответа. Он не знал, чем объяснить все это, и так заскучал, что настроение его стало невыгодно отражаться на работе. В цифрах бывали ошибки, дело пошло медленно и нестройно. Даже Синюхин сделал ему однажды дружеское замечание, но и это не помогло. Рыбаков ответил, что чувствует себя нездоровым и вскоре оставит службу.

— Чем же рассчитываете заняться?

— Поступлю в консерваторию. А там видно будет.

— Успех кружит голову, это верно, — сказал на это задумчиво Синюхин. — Только я бы не советовал увлекаться мечтой. Место потеряете, а выйдет ли из вас артист, это неизвестно.

Он хотел что-то еще добавить, но передумал и отошел от Рыбакова. Он направился в комнату, где одиноко сидела и стучала на пишущей машинке Зоя Егоровна, легкомысленная вдова с грубым некрасивым лицом, с пышными волосами соломенного цвета, отравленными ради кокетства перекисью водорода; она носила прозрачные кофточки с короткими рукавами и сильно открытой шеей, предполагая, что все мужчины должны были рано или поздно в нее влюбиться, и была на все руки первой затейницей и хохотуньей.

— Ну, Зоя Егоровна, — сказал ей Синюхин, входя и затворяя за собой дверь. — Наш Гамлет неисправим: в консерваторию поступает.

— Это зачем?

— Жаждет славы. Должно быть, для дамы сердца.

Та весело рассмеялась и, обернувшись, сняла позади себя со спинки стула кожаную сумочку, порылась в ней, вытащила сначала носовой платок, потом карманное зеркальце и крошечную пудреницу с лапкой, потом три почтовых конверта с надорванными краями.

— А у меня целых три! — похвалилась она, со смехом потрясая письмами. — Сегодня заходила в почтамт — и вот результаты.

Синюхин взял из ее руки письма и, не собираясь читать, лениво спросил:

— Опять, вероятно то же и то же?.. Исписался, голубчик.

— Да. Нового ничего. Исписался.

— Так не пора ли в архив? — неожиданно предложил Синюхин.

Он поправил очки. Прежняя, всегдашняя усмешка опять выступила у него на лице.

— Ну его совсем! У него мать была сумасшедшая. Да и он, того гляди, попадет в больницу. Давайте напишем прощальное письмо: уезжаю, мол, за границу; не поминайте лихом. Тем дело и кончится.

Зоя Егоровна покачала головой.

— Нет! Это не годится, — сказала она серьезно. И вдруг опять захохотала. — Надо ее уморить... Непременно!

Синюхин пожал плечами.

— По правде сказать, мне надоело выдумывать... Пожалуй, уморите ее, как это делается в хороших романах. Мне все равно.

Оба они рассмеялись.

— Если согласны, у меня уж и проект готов, — предложила Зоя Егоровна. — Мне самой стало скучно продолжать эту однообразную канитель. Я придумала эффектный конец.

Она опять достала из сумочки сложенный лист и протянула Синюхину:

— Прочитайте.

Тот стал читать вслух, но почти шепотом:

— «М. Г. Выполняя последнюю волю бедной подруги моей, Анны, возвращаю все ваши письма. Она оставила вам сердечное пожелание быть счастливым. Проболев двое суток, бедная Анна скончалась и увезена мужем на родину для погребения. Более ничего сказать вам о ней не могу. Прилагаю также кредитный рубль № 641: без него вы не могли бы получить на почте не взятые Анной ваши последние письма».

Синюхин усмехнулся и утвердительно кивнул головой.

— Вы правы, — сказал он. — Это конец — окончательный. Дальше идти уже некуда. И в консерваторию незачем будет поступать. Удивлять талантом после этого конца — некого.

Зоя Егоровна весело смеялась.

— Так и знала, что вы одобрите.

Потом добавила, рассматривая мимолетно свой нос, и губы, и глаза в карманное зеркальце:

— За границей любят подобные мистификации. Переписываются с неизвестными, часто даже по газетным публикациям. У них все это живо и весело. Превосходный народ!

На следующий день, когда Рыбаков пришел на службу и стал за свою конторку, он увидел пред собой толстый пакет, перевязанный крест-накрест бечевкой и запечатанный сургучом; возле пакета лежало письмо в узком сиреневом конверте, очевидно от женщины; почерк был совершенно незнакомый.

Синюхин сидел уже на своем месте; возле него с папкой и с бумагами стояла Зоя Егоровна и еще один из

молодых служащих, с которым Рыбаков не дружил. Все трое разговаривали о каких-то делах.

Виктор Васильевич поздоровался с ними и, не садясь на табуретку, стал разглядывать сначала письмо, потом сверток. Что-то удерживало его разорвать конверт. Ему вспомнилось, как еще недавно на этом же месте он находил иные письма, которые узнавал не только по почерку; ему само сердце подсказывало еще издали, что его ждут здесь дорогие строчки... И теперь, не видя, перед собой того письма, которого жаждал он всей душой, Рыбаков, точно назло кому-то, не интересовался полученным и, сам не зная почему, нисколько не торопился узнать ни содержание сиреневого письма, ни содержание пакета. Сунул сверток в карман, где лежал носовой платок, а конверт положил рядом с папиросницей, возле самого сердца. И долго в него, в этот конверт, билось и стучало сердце, как будто угадывая, что там есть нечто именно для него. Рыбаков раскрыл свою большую конторскую книгу и начал равнодушно набрасывать на счетах косточки.

Никто не был свидетелем того момента, когда Рыбаков вынул письмо из кармана и прочитал о смерти Невидимки. Он сам не помнил, как и где это вышло. Ему показалось сначала, что он ошибся и не так понял. Перечитал еще раз и задумался. Ни особой тревоги, ни боли в душе он не почувствовал; даже как будто не удивился. Перед глазами возникла на секунду серая фигура с крыльями, с прекрасным печальным лицом — и растаяла... Не говоря никому ни слова, он пошел домой. Ему все время казалось, что идет он по воздуху, чуть выше камней, точно летит над дорогой. Пришел домой и сейчас же понял, что пришел не сюда: здесь ему делать нечего. И отправился к памятнику Гоголю, но и там нечего было делать. День стоял солнечный, тихий, молодая листва на деревьях хорошо пахла свежестью. Рыбаков шел, любуясь голубым небом и зелеными липами на бульварах. Все было прекрасно, и только одно его смущало: некуда было деваться; везде он чувствовал себя лишним.

Долго шел он так — и оказался в Сокольниках, среди длинных просек с громадными соснами в чаще. Ноги его уже устали; он сел на скамейку, но мимо прогуливались какие-то люди, и это его тревожило: он был лишний среди них. И он ушел в густую чащу, где никого не было,

только стояли сосны, жившие лет по сто, да кусты, да трава. Стрекотали вокруг кузнечики, пролетали легкие бабочки, и пели хоры птиц.

В глубине леса он заметил большое упавшее дерево, подошел и сел на него. Здесь он впервые за целый день свободно вздохнул и начал собираться с мыслями. Вынул опять письмо и долго читал его, потом вынул связку своих писем, развернул их — и сразу воспоминания и чувства хлынули на него потоком. Силы не выдержали. Он приник головой к дереву, обнял его и зарыдал, как ребенок.

IV

Зоя Егоровна, как ни была занята своими завитками, пудрой и оголенной шейкой, первая почувствовала, что с Рыбаковым они поступили «не так и чересчур». «Ведь он еще почти мальчик, — думалось ей теперь, — и не такая натура; в душе он артист, стало быть, фантазер; ну и не понимает шуток; к тому же мать, оказывается, была ненормальная; возможна наследственность, повышенная нервозность...» И она мысленно решила, что зимой непременно уговорит его поехать в маскарад, где самое интересное в том и состоит, чтобы кого-нибудь заинтриговать, запутать, а потом весело хохотать над этим, без всякого зла; это большое и сильное удовольствие, и он сам, когда испытает, поймет это и оценит. Ей все-таки очень нравилось, что Рыбаков так просто, так искренне и так нелепо пошел на удочку. Какой он в сущности милый! И какое дитя!.. Ей было жаль, что он теперь, видимо, страдает... «Ах, какой глупенький!» — думала она и смеялась и в тоже время восхищалась Рыбаковым:

— Какой он все-таки милый!..

А Рыбаков замкнулся в себе самом и точно онемел. Приходил на службу, занимался усердно и молча своими вычислениями и уходил, избегая встреч и бесед. Все свободное время отдавал он музыке или удалялся в лес; голос Смерти сопутствовал ему повсюду.

«Дай руку мне... Я друг твой, ты меня не бойся», — звучало в его мозгу, и он не отгонял от себя мотив и слова; напротив — вслушивался в них, вспоминал и любовался.

«Прижмись ко мне и сладким сном в моих объятьях успокойся», — подпевал нередко он вслух, хотя голоса у него не было, а петь ему хотелось, и именно это. Серые

могучие крылья рисовались его воображению, вспоминалось строгое прекрасное лицо, полное невыразимой печали, и долгий-долгий поцелуй, который он ощутил тогда во сне, когда увидел ее... Она была и Анной и Смертью в одно и то же время. Он опустил тогда свою голову ей на грудь и в объятиях ее, крепко охваченный крыльями, вдруг проснулся — от счастья...

Да, был кто-то на свете, кто его любил. А теперь нет того, кто любил его. В этом вся печаль. У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает... Мечта не сбылась, призрак рассеялся, гений улетел, а жажда счастья осталась. Но все-таки жил на свете, все-таки был человек, который любил его, и ласкал, и ожидал его нежно. В этом и было счастье. «Конечно, было счастье!» — так думал Рыбаков, бродя после службы по рощам до позднего вечера, сидя на пнях, ложась на траву или прислушиваясь к тихой песне ручья. Он мысленно благословлял Анну за ее ласку, за дружбу, за то счастье, которое тенью скользнуло мимо него. Но и тень счастья не всякому дается видеть.

— Милая, милая Анна!

Однажды среди дня, когда во время завтрака контора затихла и опустела, Зоя Егоровна позвала к себе в комнату сначала Синюхина, которому призналась, что не может дальше таить правду, а потом позвала и Рыбакова:

— На одну минутку, по личному делу.

Тот молча вошел.

— Милый Виктор Васильевич, — начала она улыбаясь, стесняясь и не зная, как передать самую суть. И вдруг, точно бросилась с башни, сразу все открыла ему, в двух словах.

А Синюхин к этому добавил спокойно:

— Мы не имели в виду вас обидеть.

В ответ Рыбаков только закрыл себе рукою глаза и еле внятно прошептал:

— Зачем вы мне это сказали?..

Потом он вдруг весь побелел, и только красное пятно выступило на одной щеке. Глаза загорелись. Он изо всей силы ударил по столу кулаком и закричал:

— Зачем вы мне это сказали!

Перед ним все точно рушилось, падало, лопалось, пропадало. Все вдруг разлетелось вдребезги, разнеслось вихрем. Ничего не было перед ним теперь. Только Зоя Егоровна да Синюхин глядели на него молча и беспокойно.

— Зачем вы мне это сказали! — крикнул он еще раз.

Бранное слово, готовое сорваться, замерло на языке. Он отвернулся от них и ушел.

Дома он вынул из стола свою несгораемую шкатулку, взял оттуда деньги и письма Невидимки, потом затопил печку. Дров не было, и он развел огонь первой попавшейся книгой; ему уже ничего не было жалко.

Письма, которым так недавно он радовался, которые так недавно целовал, полетели скомканные в пламя, вспыхнули там и зашевелились, точно раненные смертельно, точно из них, как из живого тела, улетала чья-то душа... Потом взял тросточку и постукал по ним. Черные легкие хлопья взвились и полетели в трубу.

Так же мало-помалу он сжег и свои письма; бросил в огонь, наконец, и кредитный рубль, служивший печальным посредником.

— Ну вот и все,— подумал он вслух и еще раз громко повторил: — Вот и все.

А когда наступил вечер, когда в ресторанах заиграла музыка, Рыбаков взял извозчика и подъехал к тому ресторану, где однажды за ужином он слышал очень хорошего скрипача. Скрипач этот и сейчас был на эстраде, одетый, как и другие музыканты, в ярко-красный пиджак с золочеными пуговицами, в белую, блестяще накрахмаленную сорочку, открытый черный жилет и черный галстук. Он стоял впереди всех на эстраде, лицом к публике, и то играл вместе с другими товарищами, то вдруг снимал с плеча свою скрипку и, взмахивая в воздухе смычком, начинал дирижировать, а потом опять играл, как раньше.

Играли что-то шумное и незнакомое. В зале горели огромные люстры, опутанные хрустальными нитями и подвесками, все сверкало, и блестело, и отражалось в стенных зеркалах. Рыбаков сел в углу за небольшой столик и спросил кофе; есть ему не хотелось, хотя он еще не обедал. Потом он подозвал официанта и заказал шампанского. Приборы велел поставить на двоих, так как ожидает даму. Потом вынул деньги и сдачу велел подать по окончании.

Вино он налил в оба бокала: с непривычки пить, после первых же глотков ему приятно и легко закружило голову. А музыка играла, огни горели; дирижер в красной куртке, подложив на плечо под скрипку носовой платок, играл что-то элегическое, трогательное и красивое; голо-

сом сердца звучали струны. Было печально, что второй бокал, в котором искрится душистое золотое вино, стоит перед пустым прибором и пустым стулом. Ведь сюда же никто не придет; никто не сядет. Никакой гостьи нет и не будет. Был раньше хоть призрак, но и тот померк и погиб.

Рыбаков долго сидел и слушал музыку. Под нее хорошо было думать, вспоминать и уноситься мыслями точно в иной мир. Как прекрасна могла бы быть жизнь, и как она тяжела и пуста. Как счастливы были бы люди, и как они жалки и низки. Вот молодая душа его открылась было для радостей, но радость прошла мимо — осмеянная. Счастье пронеслось тенью над головой, и в душе его стало пусто и черно, а сам он после обманутых ожиданий сделался мрачен и одинок — более чем когда бы то ни было.

Он ждал к себе гостью, дорогую и желанную, — Любовь. Но она не пришла. Пускай же придет иная гостья — с серыми крыльями. Пусть придет и сядет рядом; она ведь друг, ее не надо бояться; она принесет и подарит свое холодное счастье; она успокоит навеки.

Среди всего окружающего блеска и роскоши, вина, веселья и говора чужих людей как странно звучит скрипка, точно родная... Как властно она приковывает внимание, как заразительно тоскует и плачет... О чем?

О чем же, как не о мечтах несбывшихся, о непришедшем счастье, об одиночестве... Как хорошо она плачет!

Мучительная тоска обвилась змеей вокруг сердца. Рыбаков поднял бокал и, глядя туда, где стоял перед ним пустой стул, отхлебнул вина и мысленно проговорил: «Прощай, мой светлый, мой прекрасный призрак!»

Потом поглядел на людей, незнакомых и безучастных, и опять подумал: «Неужели я не вправе причинить им всем маленькую неприятность?»

Он допил бокал, вслушался еще раз в то, о чем тосковала скрипка, и согнулся над столом, почти лег на левую руку, а правой рукой отыскал свое сердце и прижал к нему что-то твердое и холодное, тайно вынутое из кармана.

Вот — один миг, и все будет кончено... Весь этот блестящий зал с его люстрами, огнями и чужими людьми вдруг сожмется в комочек, и все мгновенно померкнет. Ни одиночества, ни обид, ни желаний — ничего не станет. Красавица с серыми крыльями примет его в свои холодные объятия и успокоит навеки...

В это время оркестр вдруг замолк. Рыбаков отнял руку от сердца и выпрямился за столом, а таинственный предмет спешно убрал в карман. Он недоуменно глядел на уходящих с эстрады музыкантов, видел их красные пиджаки, белые сорочки с черными галстуками, но, казалось, не понимал происшедшего: мысли его были не здесь. Что-то звуковое нарушило его душевное настроение, что-то зрительное еще не доходило до сознания. Но это были лишь секунды.

Он глубоко и тяжело вздохнул, точно после мучительной ноши, которая свалилась с плеч, подпер рукой обессилевшую голову и не сразу пришел в себя.

«Что со мной?» — было его первою мыслью.

Его рука дрожала, когда он поднимал бокал, чтоб промочить пересохшее горло. Бокал был тот, что налит был для гостьи. Он не заметил этого, отхлебнул и огляделся, чувствуя себя точно после глубокого обморока вновь ожившим.

Только тогда собрался он с мыслями и задумался. Человеку, дошедшему до той границы, до которой дошел Рыбаков минуту назад, есть о чем подумать. Он понял ясно, что с прежней жизнью окончен расчет и что с этой минуты началась для него новая, иная жизнь.

Теперь, после всего пережитого, Рыбаковым овладела радость существования. Ему казалось, что в душе его звучат какие-то гимны, какие-то песнопения, но они были неуловимы и только чудились ему звучащими, как струны.

В контору он больше не пошел ни разу; написал письмо, что болен и служить далее не может, а заработок просил прислать ему по почте. Лето было в разгаре, погода стояла прекрасная, и он предпочел целыми днями бродить среди зелени в пригородных рощах, среди полевых цветов и душистой земляники, прислушиваясь то к журчанью лесного ручья, то к шуму листвы, колеблемой теплым ветром, или в просторе полей к песне жаворонка, невидимого в небе в лучах солнца. Все эти звуки сливались для него в одно радостное целое, а старые прошлогодние сучья, потрескивавшие под ногами в сырых оврагах с их грибным запахом, бессильно напоминали о чем-то темном, миновавшем и позабытом.

Когда в конторе стало известно об его отказе от службы, Синюхин подошел к Зое Егоровне и сказал, пожимая плечами и недоуменно жестикулируя рукою:

— За границей мистификации проходят гладко и очень весело. А с нашими дураками и пошутить нельзя... Дикари!!

— Нехорошо, что мать-то у него была сумасшедшая,— ответила Зоя Егоровна.— Как бы по ее стопам не пошел.

— Ну, к этому мы с вами ни в какой мере не причастны.

— А вдруг он, в самом деле, в консерваторию поступит? А потом знаменитостью сделается? На нас тогда и не взглянет.

— Вместо консерватории-то не попал бы в дом сумасшедших. На это больше похоже.

— Все талантливые люди, говорят, немножко сумасшедшие либо уроды. А вдруг он на самом деле талант?

Ей становилось досадно, что Рыбаков не зашел даже проститься с нею, и если станет артистом, то, конечно, уж не будет даже здороваться при встрече, а это задевало ее самолюбие.

— Мне почему-то верится, что из него выйдет артист. И скоро.

А Рыбаков действительно будто переродился. Мир стал для него полон звуков, мелодий, настроений. Бродил ли он по рощам и лугам, лежал ли в траве под тенью деревьев, плавал ли в лодке по озеру, ему чудилась везде музыка; печаль сменялась радостью, а радость печалью. Иногда по целым часам он сидел за роялем, увлекаясь и забываясь; музыкальные импровизации были отзвуками его теперешнего душевного состояния; тень счастья витала над ним. Нередко он брал нотную бумагу и заносил свои настроения. Сначала это были отрывки без связи между собой, но мало-помалу он привел их в стройный вид, потом много работал над ними и, наконец, озаглавил: «Тень счастья» — музыкальная фантазия. В нее он вложил все свои переживания последнего времени, все огорчения, увлечения, обиды, надежды. Но то, что получилось, не удовлетворяло его. Хотелось, чтобы звучала скрипка, как тогда в ресторане, где он чуть не погиб. И он вновь принялся с увлечением за работу. Он написал новую вещь, еще более близкую его душе, более короткую, но более сильную — для скрипки, и тоже назвал ее: «Тень счастья».

Однажды в сквере Большого театра он встретил старика Явера, бывшего своего учителя музыки во времена отрочества. Тот сидел на скамье и мечтательно глядел на

колоннаду театра, в котором прослужил целую жизнь оркестрантом.

Рыбаков обрадовался встрече, подошел, напомнил о себе и разговорился. Явер был уже сильно стар, с белой как снег бородкой и лысой головой, на которой оставалась только позади, возле шеи, полоска редких седых, но вьющихся волос: только глаза, все еще черные и большие, не потеряли жизни. Не без смущения Рыбаков рассказал ему о своей работе.

— Принесите. Давайте посмотрим,— сказал ему Марк Наумович.

На другой же день он читал принесенные ноты, кивал в такт головой и иногда чуть слышно пробовал голосом уяснить себе какое-нибудь сомнительное место.

— Ну что ж,— сказал он, окончив чтение.— Есть ошибки, погрешности. Надо их исправить. А в общем, кажется, недурно. Оставьте тетрадь и заходите на будущей неделе. Поговорим.

Обрадованный и польщенный, Рыбаков просиял.

Через неделю он вновь пришел к Яверу.

— Сами вы играли ли вашу вещь?— спросил старик.— Нет? А другой кто-нибудь играл ее вам? Тоже нет? И вы не слыхали, что написали? Ну, так садитесь и слушайте. Мы вам ее исполним. Садитесь.

Он открыл клавиатуру рояля, разложил ноты и достал из футляра свою скрипку.

— Рашель!— громко проговорил он, отворив дверь в другую комнату.— Иди играть.

— Внучка моя — Рашель. Познакомьтесь.

Вошла девушка, совсем юная, черноглазая, хорошенькая, с ласковой улыбкой. Она просто поздоровалась с Рыбаковым и сейчас же села за рояль, без всяких предисловий. Марк Наумович постучал пальцем по одной клавише, попробовал струну, подтянул ее и стал в позу.

У Рыбакова замерло сердце.

Началось.

Он ушам своим не верил, слыша, как звучит рояль, как поют струны скрипки. Казалось, что не он написал это, а кто-то другой. Но как все близко, родственно, как знакомо! Одиночество, жажда друга, тоска по радости — все, что змеей сосало его сердце,— все здесь звучало сейчас, и как звучало! Никогда он не чувствовал себя таким счастливым, как в эти минуты. Вот — слышит он — отживает его тоска, уже струны запели о приближении друга, и увлече-

ние, и любовь хлынули потоком, а счастье чистою голубицей кружит над его головой, выбирая место, куда слететь. И вдруг опять тучи и мрак; все рушится, торжествует злоба людская, глупый смех и обман; опять тоска, обида, отчаяние и призыв смерти.

Рыбаков, как чужой, сидел и слушал все это о чьих-то горестях и печалях, но встрепенулся и ожил, когда зазвучала опять радость. Эта радость росла с каждой секундой, жизнь торжествовала над смертью, будущее побеждало прошлое. Радость лилась потоком, широким и бурным.

— Ну что?— спросил Марк Наумович, кладя по окончании пьесы смычок и скрипку на рояль.

Рашель тоже вопросительно и с улыбкой глядела на Рыбакова.

Тот не знал, что ответить. Ему хотелось броситься обнимать их обоих.

— Вы доставили мне такие счастливые минуты, каких я не помню в жизни!— восторженно сказал Рыбаков, кладя руку на сильно бившееся сердце.— Благодарю вас! Благодарю!

Явер добродушно потрепал его по плечу.

— Сам был когда-то молод,— говорил он Рыбакову.— Сам пробивал себе дорогу. Хотел бы и вам помочь, молодой друг мой. И помогу чем в силах. Кое-что я поправил у вас. Там были ошибочки. Теперь их нет. Но, конечно, я должен оговориться: работа все же несколько дилетантская. Надо работать, и серьезно работать. А способности есть у вас. Не огорчайтесь моими словами о дилетантстве, это не порок. Ведь вы же еще не учились.

Рыбаков возвратился домой, очарованный и стариком и внучкой, взволнованный и счастливый. Он долго не мог расстаться с тетрадью нот, все перелистывал ее, глядел на сделанные поправки и мысленно повторял дорогие ему слова Марка Наумовича: «Мой друг молодой...»

Недавние огорчения и обиды теперь казались ему ничтожными. Хорошо, что он не поддался их влиянию, а то лежал бы теперь с пробитым сердцем в могиле. Ему даже стало казаться, что, не будь этих обид и огорчений, он не так бы ценил и тот новый путь, на который толкнули его эти огорчения. Они сослужили ему хорошую службу: не будь их, он не написал бы «Тени счастья» и никогда не поступил бы в консерваторию или в филармонию, куда твердо решил поступить во что бы то ни стало нынешней же осенью и работать по композиции... Не узнал бы также ни-

когда и очаровательной внучки такого чудеснейшего человека, как Марк Наумович.

В больших ресторанах Москвы, где по вечерам играли струнные оркестры, была одно время мода на музыкальные новинки, лирические по преимуществу. Весь зимний сезон особым успехом пользовалась «Тень счастья», которую публика всегда просила играть и обычно провожала громкими аплодисментами. Нравилась красивая задумчивая грусть в начале и бурная радость в конце, доходящая до восторга, до гимна жизни и счастью. На вопросы, чья это вещь, музыканты отвечали то немногое, что знали сами.

— Автор — какой-то Рашель, человек еще молодой и, очевидно, с будущим.

Рыбаков тщательно скрывал свое авторство. Он весь отдался работе в филармонии и не хотел афишировать свое «дилетантское» произведение, которое втайне сам очень любил и высоко ценил.

В семье Яверов он стал не только «молодым другом», но и совершенно своим человеком. Когда, проверяя самого себя, он задумывался над вопросом: кто для него самый приятный, самый близкий, самый очаровательный и дорогой человек, сердце ему подсказывало:

— Рашель!

1921

НАЧАЛО КОНЦА*

I

Ларион Девяткин был человеком среднего возраста, когда наступил девятьсот пятый год, с его небывалыми до тех пор грандиозными политическими забастовками: то останавливались текстильные фабрики, то бастовали кожевенные заводы, то типографии и газеты, то еще какие-нибудь отрасли производства.

Девяткину многое из всего этого казалось нелепым и даже вредным для людей низкого звания, к каковым причислял он и самого себя. Он был уверен, что это скандалила из-за войны рабочая молодежь, которой не было охоты идти в солдаты, чтобы быть угнанной немедленно в Маньчжурию, где японцы трепали царских генералов, постыдно шептавших о «терпении и терпении»... «Труса празднуя», вот и выдумали эти политические забастовки и отягчали ими и без того тяжелое для всех положение. Многие сверстники Девяткина тоже были взяты в свое время в армию как

* Из цикла «1905 год».

запасные, и что с ними случилось, живы они или нет, изуродованы или целы — ничего никому до сих пор неизвестно. Сам он по болезни сердца был освобожден от военной службы, и встреча с японцами ему никак не грозила. Но вот война кончена, армии возвращаются... Чего же ради теперь скандалить и бастовать? Это было ему совершенно непонятно и даже до некоторой степени обидно.

Еще с мальчишеского возраста Девяткин работал в московском первоклассном ресторане; сначала мыл посуду и бегал на побегушках с мелкими поручениями, а потом занял место штатного официанта и пользовался общим доверием как хозяев, так и гостей.

Подошла осень, и разрастающиеся забастовки начали задевать теперь и самого Девяткина, а не хозяев-нанимателей, на которых ссылались как на врагов рабочего класса. Остановились, наконец, конки и окраинные трамваи, так что ходить на службу приходилось пешком, а это было не близко и трудно. Остановились и железные дороги, а жена Девяткина с двумя ребятишками жила при станции Люберцы, верстах в двадцати от Москвы, у своего брата, железнодорожного слесаря. Все сношения с ними прекратились, и это было очень досадно и неудобно, особенно в такое тревожное время... Вспыхнула всероссийская почтово-телеграфная забастовка, и узнать что-нибудь о семье стало окончательно невозможно. Остановился газовый завод, погасло электричество, и Москва погрузилась во мрак; забастовали хлебопекарни, замер водопровод... Все это вместе взятое так стиснуло жизнь, что среди темноты, пустоты и полной неуверенности за завтрашний день становилось все более и более жутко.

Наконец, подошли однажды огромной толпой к ресторану забастовщики и потребовали всех служащих к себе, на улицу, угрожая в противном случае хозяевам разбитием стекол, а служащим — занесением их имен на черную доску. Когда все они, служащие, вышли на улицу, толпа радостно приветствовала их, называя товарищами, и, вобрав их в свою гущу, потекла к следующему большому ресторану снимать с работы других.

С каждым новым пунктом толпа значительно увеличивалась. Теперь она представляла собою что-то очень внушительное. Девяткин шел в этой возрастающей толпе, но старался ни с кем не разговаривать, а только подчинялся чьей-то воле и не понимал, для чего все это делается и для чего вовлечен в это дело он, вовсе не желающий ни басто-

вать, ни скандалить. В таком настроении проходил день за днем...

Но вот настал момент, когда и его самого захватило тревожное настроение. Было около часа дня. Он служил, как обычно, в своем ресторане, в большом зале, подавая завтраки, весьма скудные, без белого хлеба, в значительной комбинации из картофеля и капусты. Несмотря на солнечный октябрьский день, в огромном зале, рассчитанном на электрическое освещение, было вот уже много дней серо и скучно. За большим круглым столом, который обслуживал в этот день Девяткин, сидела компания артистов, пришедших в ресторан поесть чего-нибудь вкусного, так как дома, по их словам, буквально не из чего готовить. Но и здесь условия были не из блестящих. Скучно и серо было везде. Разговаривали тихо и вяло за всеми столами. Вдруг вбегает в зал небольшого роста человек в сером пиджаке и, помахивая над головой экстренным прибавлением к газете, громко говорит, подходя к группе артистов:

— Высочайший манифест! Кон-сти-ту-ция!

Листок газетной бумаги выхватывается у него из рук, все глаза жадно устремляются на печатные колонки, головы наклоняются над листком, пальцы бегают по строчкам. Читают сразу несколько человек, быстро, кое-как ища главного, и вдруг раздается на весь зал восторженный громкий бас знаменитого певца:

— Конституция! Ура!

— Ур-ра!!— подхватывают другие артисты.

Весь зал притих. Все замерло в ожидании, все взоры устремились на артистов.

Догадливый метрдотель распорядился скупить у газетчиков целую пачку этих листков, которые нарасхват разобрала публика в одну минуту.

— Конституция!— раздавалось восторженно и тут и там.— Конституция!

Жали друг другу руки, поздравляли; многие целовались.

И в этот момент все люстры, и бра, и настольные лампы вдруг засветились. После многих дней темноты блеском, радостью и победой засиял мрачный зал.

— Ур-ра! Ур-ра!!— загремели голоса, и бурные аплодисменты слились с восклицаниями:

— Браво, рабочие! Молодцы! Добились!

Ликование захватило всех, в том числе и Девяткина. Он только сейчас понял, что не зря переживали люди тяжелые

дни, не напрасно бросали работу, останавливали фабрики, железные дороги, почту, электричество. И вот, когда все увидели, что без рабочего народа жизнь не может идти правильно, когда сделали то, что нужно,— вот и электричество засветилось, и вагоны пойдут, и жизнь закипит снова и лучше прежнего.

Радостное, праздничное настроение овладело всеми присутствующими. Многие потребовали вина, а артисты заказали шампанское.

— Да побольше!— весело крикнул знаменитый певец вдогонку Девяткину.— От такой радости сам напьюсь, извозчика своего шампанским напою! И лошадь напою!

Весело улыбаясь и пошучивая, артисты вышли из-за своего стола и поднялись на пустую эстраду, где стояло пианино.

— Споем, ребята, на радостях!— говорил певец товарищам.— Восславим освобождение!

Мгновенно образовался хор, и зазвучала знаменитая рабочая песня «Дубинушка», всем известная, пережившая свой век под запретом.

— «Но настала пора, и поднялся народ, разогнул он согбенную спину,— гремел в огромном зале могучий голос певца,— и, стряхнув с плеч долой тяжкий гнет вековой, на врагов своих поднял дубину...»

— «Эй-эй, дубинушка, ух-нем! Эй, зеленая, сама пойдет, сама пойдет!»— стройным хором откликнулись запевале артисты.

— «Подёрнем! Подёрнем!» — вмешалась в песню восторженная публика и всем залом, вместе с артистами, вместе со служащими и официантами громогласно протянула в заключение:

— «Да у... х... нем!»

Увлечение овладело всеми. Кто же не знал этих слов, кто не знал этого припева! Пели все, от мала и до велика. Кто не умел петь или у кого голоса не было, тот сочувственно гудел, но все же принимал участие. Все были взвинчены, все были горды, все ликовали.

Артисты долго еще не уходили из ресторана, пили шампанское, потом кофе. Часа два прошло, они все еще сидели. К их столу нередко подходили знакомые, поздравляя их и целуя.

— Чему вы рады?— мрачно сказал один из вошедших.— Чему?.. Вы здесь сидите да ликуете, а у заставы настоящее побоище. Полиция делает свое дело: отнимает

у людей газетные листки и разгоняет толпу палками, многих арестовывает. В полицию из толпы полетели камни, а в толпу — пули. Чему тут радоваться?

Сразу все умолкли.

Девяткин, стоявший в это время у самого стола, вдруг ударил себя обеими ладонями крест-накрест по груди и, глядя в упор в глаза говорившему, прошептал в ужасе:

— Как?!

II

Осень стояла тихая, безветренная и сравнительно сухая.

В Москве на бульварах и в палисадниках по Садовым улицам листья с деревьев уже осыпались, и оголенные ветки прихотливым кружевом чернели на ярко-багровой полосе вечерней зари. Эта огненная полоса недолго пылала на небе, затем бледнела и угасала. Но она многим и многим напоминала о том, что творится где-то там, в глубине России, в черноземных губерниях, о чем идут слухи, долетают тревожные вести. Пылают помещичьи усадьбы, горят амбары с зерном, а черная сотня громит в городах еврейские кварталы, избивает интеллигенцию; войска усмиряют крестьян, а крестьяне требуют правды и земли. Но и в войсках неспокойно. Армия возвращается с войны гневная, непослушная, нетерпеливая. Под Петербургом волнения, на Черном море взбунтовались матросы.

Обо всем этом говорилось везде и ежедневно. Разумные суждения, нелепые догадки и вздорные фантазии смешивались воедино и точно шатали людей из стороны в сторону.

Девяткин пришел однажды в правление своего ресторана и попросился в отпуск на несколько дней — повидаться с семьей и отдохнуть немного.

— Поезжай, Ларион Иванович,— отвечали ему в правлении.— Ты у нас на хорошем счету, а дела позволяют теперь дать тебе отпуск. Можешь пробыть неделю, можешь пробыть и две. А если срочно потребуешься, мы тебе пришлем телеграмму. Тогда уж приезжай немедленно.

— Покорнейше благодарю. Приеду в тот же день, в случае чего.

Вполне удовлетворенный расположением хозяев, Девяткин, оставив дела, выехал в Люберцы.

Семья его жила в стороне от станции, в конце Слободской улицы, возле бань. Идти было не близко, а сумерки

сгущались быстро, и через несколько минут стало совершенно темно. Он шел, не торопясь, чтобы не утомить больное сердце, и нес маленький легкий узелок с бельем и гостинцами для детей и жены. Проходя мимо пустыря, он на минуту задержался, и слух его уловил где-то поблизости странные звуки, точно железный заступ взрывал землю, но с крайней осторожностью, медленно, тихо, как бы украдкой. Было безмолвно вокруг, и эти звуки доносились до Девяткина совершенно ясно.

«Воры, должно быть,— подумал Ларион Иванович и не знал, идти ли ему дальше, или повернуть обратно к станции и взять там извозчика.— А то разуют, разденут, и придешь в гости голым...»

Постоял в раздумье с минуту: ведь дом-то всего через двадцать шагов. Обидно быть рядом и не попасть. «Ну, авось пронесет беду мимо».

Стараясь не шуметь сапогами, он двинулся вперед и сейчас же наткнулся нос к носу на троих встречных. Сердце его упало. Но встречные тоже, видимо, струсили и мгновенно рассыпались в разные стороны, точно провалились сквозь землю.

Девяткин бросился бегом, прижимая к груди узелок, и через две-три минуты был уже дома. Он вошел, запыхавшись, и почти повалился на скамью. Жена и ребятишки встревожились, а он некоторое время не имел силы объяснить, что с ним случилось. Напрасно ласкалась к нему маленькая дочка Аннушка, напрасно пытался рассказать ему что-то мальчик Петя,— Ларион Иванович лежал молча, тяжело дыша и глядел на них печальными глазами.

С улицы вошел слесарь, хозяин дома, где они жили, брат его жены Сергей Щукин, в картузе и в старой кожаной куртке, бритый, с сухим остроконечным лицом и с крутыми черными бровями над небольшими глазами, серыми, как сталь. Видимо, он был чем-то расстроен и сильно озабочен. Суровая складка лежала между бровей, а глаза, хотя и устремленные на зятя, глядели куда-то в сторону.

— А... Здравствуй, Ларион,— сказал он, подозрительно оглядываясь вокруг.

— Здравствуй,— ответил тот, улыбаясь, и встал.— А я вот пришел и дух перевести не могу. Напугался сейчас. Сердце-то нездоровое, вот и мерещится всякая чепуха.

— Кто тебя напугал? Где тебя напугали?— с острым

и тревожным интересом допрашивал Щукин.— Говори скорей, что случилось.

— Да ничего не случилось. Думал, ограбят, а они сами пустились от меня наутек. Вот здесь, на пустыре, чуть не рядом. Землю, что ли, они копали... Три человека было...

Глаза Щукина вдруг стали ласковее, и складка между бровей разгладилась. Он протянул Лариону руку и сказал:

— Я и не поздоровался с тобой, как следует. Ну, здравствуй, милый. Так ты один шел? Никого за тобой больше не было?

— Никого не было. А что?

— Да у нас ворья больно много развелось. Да и шпиков множество, так и шныряют везде. По теперешним тревожным временам того гляди упрячут ни за что. Либо ограбят... Вот что, брат: не болтай ты никому про этот пустырь, а то и тебе влететь может, да и нас с сестрой не помилуют. Запутают, черти. Лучше забудь обо всем и давай ужинать.

Он расстегнул куртку и хотел ее сбросить с себя; от резкого движения из кармана вывалилось что-то тяжелое и грохнулось об пол. Девяткин увидел револьвер, за которым Щукин нагнулся, быстро его поднял и спрятал за пазуху.

— Ты чего с пистолетом ходишь?— улыбнулся Ларион.

— В починку отдали,— нехотя ответил тот.— Да оно бы не плохо и свой такой же иметь. Я бы не отказался.

— Нет, я боюсь этих игрушек,— проговорил Ларион.— До добра они не доводят.

— А штука хорошая!— усмехнулся Щукин, шутливо протягивая зятю револьвер на раскрытой ладони.

Рука его была большая, с крепкими длинными пальцами. Невольно Девяткин заметил, что пальцы и рукав кожана запачканы свежей землей, едва начавшей подсыхать. Он вопросительно поглядел на Сергея, вспоминая звук заступа. Тот и сам увидел следы земли на руке и быстро положил револьвер в карман.

— Картошку ходил перебирать к ужину, все лапы впотьмах измазал,— сказал он громко сестре.— Ну-ка, дай-ка водицы ополоснуть да собирай ужин.

За ужином разговоры шли о забастовках, о манифес-

те, о Крестьянском союзе, работающем в Москве,— разговоры самые «теперешние», как их называли.

— Рабочие свое дело ведут крепко,— говорил слесарь,— но необходимо, чтоб их поддержали крестьяне, а крестьян чтоб поддержали солдаты. Тогда дело сделано. Вся земля должна принадлежать народу, и все фабрики и заводы — народу. И вся власть — народу. Вот как, Ларион!

— Много хочешь, Сережа,— скромно возражал Девяткин.— Разве возможно все сразу? Манифест уже получили. Там много хорошего для всех вас. Надо только, чтобы начальство не безобразничало.

— Не получили мы манифест, а заставили его дать, это разница! — вскипел неожиданно Щукин. — Но и тут нас надули. Свобода слова, свобода собраний, неприкосновенность личности — где они? Где они, я спрашиваю? Правительство запрещает газеты, разгоняет народные собрания нагайками да прикладами, а то и штыками, арестовывает направо, налево, ссылает без суда, расстреливает, вешает. Нет! Обманутый народ должен опять подняться на решительный бой с беззаконием. И он восстанет! Вот помяни мое слово. Вот тебе моя рука в том порукой!

Он снова протянул Девяткину свою огромную ладонь с длинными пальцами и добавил:

— Сочтены ихние дни!

III

Целую неделю пробыл Девяткин среди семьи, в доме Щукина, но никакого отдыха он не чувствовал. Наоборот, эта неделя издергала его еще больше прежнего. Все вокруг было крайне напряжено, точно перетянутая струна, готовая лопнуть. Что-то большое таилось в людях, а что именно, было неясно. Все были до крайности недоверчивы и осторожны.

— Ну, я поеду домой,— сказал однажды Ларион Иванович жене.— Что-то мне у вас здесь не по себе. В Москве будет спокойнее.

Они попрощались. Щукин крепко пожал ему руку и сказал:

— В Москве будет хуже, помяни мое слово. Да не забудь, про что мы с тобой говорили, а во-вторых, еще раз прошу: ни единому человеку не рассказывай, как те-

бя жулики напугали на пустыре. Про пустырь — ни гу-гу! Головами детей твоих запрещаю тебе это, помни!

— Да что ты меня стращаешь, Сережа? Что такое? На кого ты?

— Помни, друг: там... открою тебе суть. Там, говорю, оружие мы закопали. Понял?

Ларион Иванович побледнел.

— Вот как,— произнес он еле слышно.

— Вот как! — крепко подтвердил зять.— Теперь тебе ясно, что не я, а наши тебе этого не простят в случае чего. Нарочно тебе сказал об этом, чтоб ты знал и понял. Ни слова. Ни единого слова! Ни другу, ни недругу. Понял?

— Понял. Будь покоен.

— Так помни!

С этим и уехал в Москву Ларион Иванович.

Здесь, пользуясь неисчерпанным еще отпуском, он решил не ходить пока на службу, а пошагать по городу да послушать, о чем говорят люди. Признания зятя крайне его изумили и встревожили. Значит, там, на пустыре, они закапывали оружие, оттого трое сильных людей и испугались его одного, человека слабого, и разбежались. Недаром у Сергея были тогда руки в свежей земле, и понятно, почему из куртки у него вывалился револьвер.

«Вот оно что,— думал Ларион Иванович, неторопливо бродя по улицам Москвы и обдумывая свое отношение к неожиданным явлениям.— Надо бы Катю и детей сюда перевезти от греха»,— соображал он; но уверение зятя, что в Москве «будет хуже», заставляло его менять свое решение. И действительно, не по поселкам же пойдет стрельба, уж если ей быть: конечно, все произойдет в Москве или в Петербурге. Так лучше уж оставить все как есть, а самому отдаться на волю судьбы! «Кому быть повешенным, того не застрелишь»,— говорит пословица. На этом он и успокоился, тем более что видел, как объявленные манифестом свободы как будто бы не нарушаются и разговаривать теперь можно обо всем без боязни.

Его как крестьянина, хотя и оторвавшегося от земли и деревни, интересовал всего больше Крестьянский союз. Там перед тысячами людей говорили люди такие слова и о таких делах, что сердце, казалось, выпрыгивало из груди. Когда держал речь товарищ Щербак, то дух захватывало как от радости, так и от страха.

— Время теперь особенное,— слышалось со всех сто-

рон.— Особенное и ответственное. Государство наше разорено, законы наши неправильные и вредные для народа. Чиновники продажны, в судах кривда, казна без денег, долги неимоверные...

И все это говорилось громко. А в ответ на это кричали тысячи голосов:

— Прогнать воров-чиновников! Народу — вся власть и вся земля! Требуем! Требуем!

Все это гремело перед Девяткиным, как призывная труба, сверкало, как молния, захватывало дух, как в омуте.

— Крестьянство всегда страдало от гнета помещиков и правительства. Оно голодало, чтобы те были сыты. Их разоряли и держали в невежестве, чтобы было удобнее жить чиновникам и буржуям. Но этого больше не будет, товарищи!— кричал с эстрады кто-то маленький, с черной бородкой, в очках, и ему вторил кто-то рослый, взмахивая руками над головой, такими же большими, с толстыми длинными пальцами, как у зятя Сергея.— Больше этого не будет, товарищи! Крестьяне теперь уже не малые дети и понимают, кто их враг, кто их друг.

— Товарищи! — гремел другой голос. — Знаете ли, как царское правительство спаивает народ? Как много делается у нас для пьянства и как мало для народного просвещения? Знаете ли вы, что в прошедшем тысяча девятьсот четвертом году было выпито в России водки семьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч ведер? Кроме того, пива выпито пятьдесят четыре миллиона ведер, не считая других спиртных напитков.

Девяткин почувствовал точно шлепок по щеке. Ведь он всю свою жизнь, с самых ранних лет и до сего дня, работал именно в пивных заведениях, и он невольно стал вслушиваться в слова лохматого человека, чувствуя в них укор по своему адресу.

— Зато царское правительство получило чистого дохода от винной монополии за этот год ни много ни мало триста восемьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи рублей. Неплохо, товарищи?

Оратор захохотал, произнеся эти слова. В ответ захохотали дружно и в зале.

— Представьте себе, товарищи, речку глубиной в аршин, а шириной в две сажени. И речка эта тянется на двести семьдесят четыре версты. Так вот всю эту речку, от самого верха и до самого дна, можно было бы запол-

нить выпитой водкой в России за один только прошедший девятьсот четвертый год. И вся эта водка — из царских казенных винных лавок. Понимаете, товарищи?

Руки похолодели у Девяткина от таких слов. Это уже в его огород брошен был камень. Ведь это он, сам Девяткин, работал всю жизнь на такое дело, на такую пьяную речку чуть не в триста верст длиною.

— А чтобы выхлебать такую речку, о которой я говорил,— зычным голосом швырял в народ обидные цифры оратор,— надо было заплатить не только деньги, но и принести человеческие жертвы. По сведениям Главного врачебного управления, за год (я буду говорить для ясности в округленных цифрах) насчитано больных острым и хроническим отравлением алкоголем более семидесяти двух тысяч человек. Умерло в запойной горячке шесть тысяч, утонуло в пьяном виде девять тысяч, умерло от удара в пьянстве три тысячи, убилось при падении в пьянке двенадцать тысяч, сгорело полторы тысячи, умерло от разрыва сердца при непомерной выпивке тоже полторы тысячи, покончило самоубийством в пьяном виде около двух тысяч... Всего за год почти тридцать тысяч смертей. А всего, стало быть, с заболевшими свыше ста тысяч человеческих жертв... Вот чем расплачивается народ за винную монополию, за обогащение правительства Николая Второго, его родни, его присных, его прихвостней и всякой царской орды, имя которой — легион.

Заревела в ответ народная масса. Закричал и потрясенный Девяткин. Что он кричал, он и сам не помнил. Чувствовал только ужас и негодование.

Доводилось ему заглядывать и на иные собрания, слушать иные речи от людей, которых он лично знавал по ресторану как хороших гостей. Кого здесь только не было! Но особенно памятными ему остались двое: низкорослый, очень плотный человек с проседью в волосах, не то адвокат, не то доктор, который горячо говорил об изменниках, продавшихся евреям, о неизбежной гибели всей России, если народ сейчас же не окажет резкого противодействия; и другой — высокий, сухощавый, у которого лоб, да и вся голова над плечами стояли точно каким-то столбом, узким и длинным. Он призывал к немедленному отпору, к уничтожению крамольников с корнем, к избиению всех, кто мыслит против царя и его правительства.

— Иначе,— кричал он, почти задыхаясь,— вся огромная русская жизнь превратится вскоре в одно сплошное

зловонное гноище, где закопошатся человекообразные с ненасытной пастью гады!..

Девяткин всем интересовался, выслушивал все, и за и против, и очень страдал оттого, что нет возле него близкого человека, который разъяснил бы ему по совести, где же, наконец, правда.

А время все шло. Дни стали совсем короткие, холодные и сырые. Нависала зима. Жизнь бурлила, как кипяток в котле. Собрания, заседания, митинги, казалось, никогда не прекращались. И утром, и днем, и к ночи люди где-то собирались, обменивались горячими мыслями, объединялись и требования их становились все шире и страстнее:

— Земля и воля!

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Уже не только кричали это на собраниях, но написали огромными буквами на красных полотнах и прибили эти полотна к эстраде, где теперь не было никаких спектаклей, но народ кишмя кишел по вечерам, вплоть до ночи. Ораторы призывали уже открыто и горячо к вооруженному восстанию. Выкрики: «Победить или умереть!» — встречались восторженным ревом откликов, бурей ответных согласий и уверений. Тысячи рук поднимались над головами, иные складывались в кулаки, во многих блестели револьверы.

— Победить или умереть!

— Товарищи, ответьте: какая сила может одержать победу над царизмом? — говорил кто-то твердым, спокойным голосом после всех выкриков.— Такой силой не может быть крупная буржуазия, фабриканты, помещики. Они слишком связаны капиталом, землей, частной собственностью.

— Правильно! — отвечали голоса, тоже твердые и спокойные.

— Одержать победу над царизмом, решительную победу может только народ. Сам народ!

— Верно! Верно! — кричали в ответ, накаляя и без того накаленную уже атмосферу.

— Решительная победа, товарищи, есть только диктатура пролетариата! Революционно-демократическая диктатура!

Девяткину особенно значительным показалось последнее слово, последняя фраза этого человека, необычайно уверенного в себе, твердого, как камень:

— Пролетариату нечего терять, кроме цепей, а приобретет он весь мир!

На смену оратору выбежала вдруг на эстраду какая-то женщина и горячо убеждала собрание в том, что единственный выход из положения — это вооруженное восстание.

— К оружию! К делу! — ревели вокруг народные волны.

— Да здравствует пролетариат!

— Умрем или победим!

В набитом людьми зрительном зале огромного летнего театра во всех проходах стояли молодые рабочие, студенты, девушки, кто с картузом в руках, кто с папахой, кто с сумочкой, и предлагали всем сновавшим мимо пожертвовать на революционное движение, причем из этих папах и сумочек, в виде иллюстрации, торчали дула револьверов и старых пистолетов, вряд ли на что-нибудь годных.

— Жертвуйте, граждане!

А на эстраде беспрерывно выступали с пламенными речами то социал-демократы, для краткости называемые «эсдеки», или «седые», в отличие от «серых» или «эсеров», то есть социал-революционеров. Пытались выступать с примирительными речами «кадеты», то есть «кадэ» — конституционно-демократическая партия, но их заглушали криками с первых же слов:

— Долой! Долой!

Среди шума и гама на эстраде появился низкорослый, но плотный и, видимо, сильный человек; потрясая над головой кулаками, он пытался остановить шум и сам что-то кричал в народ. Наконец, можно было расслышать его слова, сначала отдельные и малопонятные, потом все более ясные. Он продолжал договаривать начатое:

— ...Полное уничтожение капитализма, полное уничтожение буржуазного государства — вот наша цель!

Снова вскипели народные страсти, и, как бурное море, ответили массы грозными раскатами рева:

— Долой капитализм!

— К оружию! К оружию!

— Да здравствует пролетариат! Да здравствует его диктатура!

Затаив дыхание, Девяткин с чувством глубочайшего волнения и интереса слушал все выступления, прижавшись к барьеру возле третьего ряда кресел. Ему было всех видно и всех слышно. Много нового, много неожиданного довелось ему сегодня услышать, но то, что сообщил сей-

час какой-то лохматый человек, высохший, как скелет, превосходило все новости, открытые ему нынче.

— Самый крупный землевладелец у нас — это царь! — восклицал оратор, ударяя кулаком по столу. — Царь и его родня! Царь имеет, по официальным документам, до семи миллионов десятин земли в личной собственности. Семь миллионов десятин! это страшно сказать. Это почти невозможно себе представить!.. Царь — это первый богатейший помещик во всей стране. Поэтому, товарищи, чтоб наделить народ землею, необходимо уничтожить прежде всего самую власть царя, которая держит землю, и уж тогда передать всю землю в руки всего народа. Народная воля и народная власть должны стать на место царской власти и царской воли!

Ураганом восторженных криков и стуков ответил зал на эти слова.

— К оружию! Победа или смерть! — громом раскатывались возгласы по всему театру, перекидывались в сад, вылетали на улицу.

IV

На эстраду поднялся новый оратор, и Девяткин с волнением ожидал от него еще более нового и более резкого, чем только слышанное. Но оратор не начинал говорить, а нагнулся к председателю и что-то сказал ему, не слышное никому в зале. Ларион Иванович видел, как дрогнули черные брови председателя и весь он выпрямился и сбросил с носа пенсне. Потом подошли к нему сзади еще три человека и о чем-то стали быстро и горячо говорить ему, но в зале опять никто ничего не слышал и не понимал. Стояла с минуту странная, напряженная тишина, и вдруг председатель поднялся со своего стула, постучал по столу карандашом и отчетливо и спокойно проговорил:

— Товарищи! Должен сообщить вам, что театр и сад, где мы находимся, окружены войсками. Кольцо это стягивается, и, вероятно, через несколько минут из сада выхода не будет. Предлагаю сохранить полное спокойствие.

Но вместо спокойствия собрание ответило крайним волнением. Застучали и затрещали скамьи, затопали тысячи ног, и часть толпы шарахнулась к выходам. Одни прыгали через барьеры в ложи, другие поспешно протискивались по рядам и проходам, но большинство стояло на местах и

стыдило малодушных. Но те, несмотря ни на что, стремились уйти как можно скорее.

— Товарищи! Призываю к порядку!

— Товарищи! Споем «Марсельезу»!

— «Марсельезу»! — отдельными выкриками раздавались бодрые голоса, и вдруг всем залом, тысячным хором, молодыми, восторженными голосами поднялась бурная песня:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!..
Мы не чтим золотого кумира,
Ненавистен нам царский чертог!..

Эта песня захватывала и будоражила Девяткина. Он не знал, что ему теперь надо делать. А решаться на что-нибудь необходимо было сию же минуту. Бежать ли поскорей, покуда цел, вместе с другими, или остаться до конца и... И быть не то убитым, не то утащенным в какую-нибудь холодную яму... Что делать? А хор поет, и сердце трепещет, и призывные слова песни не дают опомниться:

Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный!..

А что станется с семьей, если его убьют? Да и чем он может быть полезен при больном сердце? Да и стоит ли умирать из любопытства, чтоб узнать, чем закончится вся эта история?.. Он метнул взгляд вперед и назад, вправо и влево. Каждая минута была дорога. Впереди ломились люди к дверям, а позади, на эстраде, уже не было никого — ни ораторов, ни председателя. И Девяткин устремился за теми, кто уходил.

Со страшным трудом протискался он, наконец, во двор. Здесь толпа была, пожалуй, еще гуще, потому что выходили сюда же люди из другого здания, тоже с митинга.

Стояла светлая тихая ночь. Только что выпал первый снег, и в воздухе пахло точно свежим арбузом. Сейчас же стало известно, что все ворота из сада заперты и что при выходе всех обыскивают; одних отпускают, других арестовывают. Но невдалеке стоит «черная сотня» и, вероятно, будет бить всех, кого отпустили солдаты. Девяткин видел, как некоторые прыгали через забор в соседние дворы. Говорили, что это дружинники с оружием и ораторы, которым не сдобровать при выходе и которые хорошо делают, что уходят через забор. Но и этот способ через несколько минут станет негодным. Тогда Ларион Иванович решил по-

пытать счастья и перелезть к соседям. Но в это время кто-то из стоявших выстрелил в улицу. Сейчас же в народе закричали:

— Провокаторы!

Но было уже поздно. С улицы тоже загремели выстрелы, и было их немало, и слышно было, как зашлепали пули по крыше, по стенам. Толпа шарахнулась обратно, и Девяткин вместе с толпой был снова вдвинут в театр.

Там было теперь темно. Электричество кто-то попортил — не то перерезали провода, не то выключили ток. Единственный на весь зал огарок свечи горел на председательском столе. Ни песен, ни говора уже не было. Жуткая тишина стояла в зале, где люди чуть слышно перешептывались в ожидании чего-то неизбежного.

Вдруг с треском распахнулись двери справа и слева, и в зал с лихим напором, вытянув впереди себя ружья со штыками, ворвались солдаты, а за ними пожарные в медных касках, с высоко поднятыми над головами керосиновыми пылающими факелами. Зал сразу осветился, но зловещим светом, запахло нефтью и копотью, и жуткие широкие тени запрыгали по стенам. Народ невольно отпрянул. Полицейский пристав, с револьвером в руках вбежавший в кольце пожарных, громко и хрипло закричал на весь театр:

— Вон отсюда, подлецы и мерзавцы!

И скомандовал очистить зал.

И зал был очищен — кулаками по шеям, ружейными прикладами по ногам, а в дверях всех ощупывали, причем женщины взвизгивали, а солдаты весело гоготали.

V

Не прошло и двух суток с той ночи, когда Девяткин, потрясенный пережитым, полуживой от сердечных перебоев, выбрался, наконец, на свободу; кто-то при выходе его из толпы все-таки влепил ему тогда на прощанье увесистый подзатыльник и крепким коленом наподдал сзади, так что Ларион Иванович вылетел на тротуар из сада, как мяч от лапты. Не прошло и двух суток с тех пор, а московские улицы, перекрестки и площади уже покрылись баррикадами, которые быстро множились одна за другой. Откуда-то появились у одних пилы, у других топоры; подпиливались и валились в кучи телеграфные столбы и фонари, снимались

ворота с соседних домов, нагружались один на другой ящики, бочонки и всякий хлам, и все это, наваленное вдоль и поперек, опутывалось проволокой, насыпались впереди заграждений разбитые бутылки и стеклянные пузыри, чтоб кавалерия в случае набега перепортила лошадям ноги, наваливались грудами доски, двери, столы, корзины, железные решетки, заборы и все, что подвертывалось под руку; над таким валом водружали красный флаг или просто лоскут кумача на палке, а за валом становилась боевая дружина и разные добровольцы, кто с револьвером, кто с ружьем на веревочке, кто с саблей, а то и просто с дубиной в руках и с мешком камней на плече.

Иногда вдоль улицы проносились мимо баррикад взводы драгун или казаков, посылая на скаку за баррикады град пуль, вызывая ими раны, и кровь, и смерть; но и среди драгун то поникал головой всадник, то спотыкалась или падала лошадь, то опрокидывался подстреленный солдат. А еще дня через два загрохотали по Москве пушки. За день сносилось до основания несколько баррикад, но наутро они снова устраивались на тех же местах, и заново приходилось их расстреливать, чтобы наутро увидеть разрушенное вновь целым и как будто невредимым.

Все одиннадцать дней, пока держались на улицах баррикады, Девяткин просидел дома, выходя с разрешения дружинников только за покупкой провизии и хлеба, что, по счастью, можно было найти в их же доме. Целыми днями он сидел у окна, выходившего в забаррикадированный переулок, и прислушивался к пушечной пальбе. Было похоже, что где-то поблизости встряхивают огромные ковры, выбивая из них пыль. Он понимал значение и цену этих встряхиваний. Каждый звук, каждый удар приносил кому-то смерть, делая вдовами женщин и сиротами детей. Девяткин думал:

«Неужели без драки и без убийства люди никогда не сумеют добывать себе счастье?»

У него были дети, и он думал в сущности о них. Беспокойство от неизвестности, что теперь с ними там, в Люберцах, овладело им, и он думал обо всем этом целые дни; ночами он плохо спал, ворочался, кашлял. Никаких известий от жены не было, да и быть не могло. Опять все остановилось — и почта, и телеграф, и поезда. Одиннадцать дней пришлось сидеть ему, как узнику, да и зачем и куда уходить? На службу?.. Какое может быть теперь там дело? Никакого, конечно. Разве только сумасшедший рискнет идти в ресторан в такое время. Да и провизии нет никакой, и

купить ее нельзя. Все равно, пускай вычитают из жалованья за эти дни, но он никуда не пойдет из дома.

Однажды в квартиру, где жил Девяткин, принесли раненых дружинников. Их было трое: один был ранен в обе ноги, у другого пробита была голова, а третьему пуля попала в живот, и он через день умер. Жильцы потеснились и приютили больных, оказывая по очереди им внимание и помощь. Перевязывать раны приходила молодая девушка, фельдшерица. Раненых кормили, занимали, развлекали, и они чувствовали себя как дома, среди друзей. В свою очередь и они рассказывали о событиях. Один, немолодой уже, человек, говорил, как на его долю выпала задача «взять в работу московский гарнизон», то есть беседовать с солдатами и убеждать их не стрелять в народ, когда затеется дело; как потом они выстроили первую, самую надежную баррикаду у Курского вокзала, на Владимирском шоссе, и с насыпи на мостовую сбросили с рельсов товарные вагоны, как наделали щелей и из-за грузов вели перестрелку с казаками. Другой рассказывал о том, как им поручено было штабом отбить конфискованное оружие, которое на ночь было свезено в полицейский участок у Рогожской заставы; темень была страшная, в двух шагах не видать было человека; подбираться к участку стали по двое, по трое со всех сторон и вдруг, по сигналу, разом бросились в атаку, но тут неожиданно загорелся над соседними банями дуговой фонарь, который до этого не горел, и всех выдал; затрещали пулеметы и ружейные залпы.

— Всем бы погибнуть, да товарищ один догадался: выстрелил в фонарь — вдребезги! Впотьмах наши и скрылись и меня унесли с собой.

Девяткин внимательно слушал рассказы и молчал, но иногда ему хотелось самому пойти хоть на минуту и постоять под пулями.

Но вот однажды пришли товарищи в мохнатых овечьих папахах, в ременных поясах, в валенках и заявили, что сейчас необходимо перенести больных в безопасное место, так как баррикады защищаться больше не будут: силы восставших истощены. Квартирантам под страхом ответа воспретили говорить, что в квартире у них были раненые. После этого они подняли на носилки обоих больных и унесли их куда-то по холоду и студеному ветру, во тьму улиц и переулков. Жуткое осталось от всего впечатление у Девяткина и у других жильцов. Все понимали, в чем дело, и никто не проронил ни слова. Молчание было сильнее слов.

Под влиянием фактов и слухов боевое настроение быстро пошло на убыль. Магазины заторговали, в булочных появился белый хлеб, кое-где по фабрикам начали становиться на работу, а по улицам разъезжали патрули, и Москва мало-помалу начала возвращаться к прежней жизни. Но железные дороги все еще стояли без движения.

Ларион Иванович решил уйти из Москвы хотя бы пешком. Двадцать верст не такое уж расстояние, чтобы его не осилить, да, кроме того, к заставам тронулись обозы, началось повальное бегство в деревни. Во все заставы с утра до ночи ехали и шли навьюченные пожитками люди. Сговаривались группами человек по десяти, покупали, кто мог, лошадь и упряжь и покидали Москву. Вошел в одну из таких групп и Ларион Иванович. Тоска по семье стала так велика и мучительна, что он продал кое-что из пожитков, купил себе место на возу и ранним утром, часов в шесть, когда было еще темно, выехал с попутчиками за заставу, а к обеду был уже в Люберцах. Одновременно с ним пришел к его жене младший брат ее, Федя Щукин, юноша лет восемнадцати, с красивым лицом под темным крестьянским загаром, с добрыми голубыми глазами, простой и сердечный малый. Пришел он с родины, из Владимирской губернии, в надежде что-нибудь заработать, потому что дома стало нечего есть.

И старший брат его, Сергей Щукин, и сестра, Екатерина Девяткина, относились к нему, как к мальчику, называли его «братиком» и очень любили его. И Ларион Иванович смотрел на него как на сына или племянника и тоже называл всегда братиком, считая его за милого подростка, но не за мужчину, поэтому ни брат, ни зять не находили возможным посвящать его в свои дела и ничего ему не рассказывали. Сергей Щукин даже с некоторой строгостью говорил ему:

— Ни в какие дела не суйся, Федя. Наши дела тебя не касаются. Не лезь, где тебя не спрашивают, не любопытствуй понапрасну. А когда ты нам будешь нужен, мы тебе сами скажем, и куда тебя пошлем, туда и пойдешь без разговоров. Так-то, братик!

Его приютили по-родственному, кормили и поили, а он за то стал выполнять все хозяйственные работы: пилил и колол дрова, натаскивал воду из общественного колодца, чистил двор и занимал детей, для которых стал вскоре первым приятелем. В хозяйстве водворился хороший и прочный порядок, невольно нарушенный за последнее время.

— На заработки идти сейчас не годится,— останавливал его брат Сергей.— Поживи пока у нас, а там, что дальше делать,— увидим.

— Я согласен,— отвечал юнец.— Только вот надо бы старикам послать хошь денег, хошь гостинцу. А то им невозможно без поддержки.

— И старикам пошлем, в обиде их не оставим. А сейчас время не такое. Потерпи, уважим и стариков. Они и нам не чужие.

— Тебе виднее,— покорно соглашался братик и шел на домашние работы без возражений и с удовольствием, сияя своими голубыми глазами и юным загорелым лицом, с искренним желанием всем добра.

Когда Ларион Иванович ехал на возу от московской заставы по шоссе, то возле станции Перово, где они остановились было передохнуть и попить чаю, которого нигде не могли найти, он увидел изумившее его явление. Уже несколько дней депо бездействовало, и паровозы во множестве стояли у станции замороженные, омертвелые, в том случайном беспорядке, в каком застала их новая декабрьская забастовка. В паровых трубах замерзла вода, и пар обратился в лед, а на путях стояли товарные вагоны в таком огромном количестве, что Девяткин определял их не менее тысячи. И все это железнодорожное хозяйство, еще недавно полное жизни и движения, было теперь мертво. Но вокруг кипела иная жизнь, бурная, алчная, непокорная. Местное население и наехавшие из окрестных деревень крестьяне разбивали груженые вагоны и наскоро, впопыхах, задыхаясь от тяжести и волнения, уволакивали куда-то во тьму и неизвестность тюки, куски мануфактуры, короба с галантереей, съестные продукты, бакалейные ящики, гвозди, войлок, сапоги, посуду, краски, дрова. Говорили открыто, что дележ идет уже с неделю и теперь уже подбирают остатки мужики, наехавшие издалека. Дружинники и сознательные рабочие ничего не могли с этим поделать; они и стыдили людей и грозили им, но не стрелять же в самом деле в народ.

Спутники Девяткина тоже приволокли себе каждый по мере сил, что подвернулось под руки, и смеялись над ним, что он пропускает такой исключительный случай. Но Ларион Иванович решительно и резко отказался от всякой выгоды.

— Мне чужого не надо. Сам заработаю, что нужно. Трудом своим достану, а не то чтобы что...

Он умолк, не желая раздражать попутчиков, но мысленно был против них, когда подвода тронулась дальше в путь и компаньоны его с увлечением начали высчитывать стоимость добычи.

— Все одно: если не мы, так другие возьмут,— пробовали убедить они Девяткина, но тот был верен себе и возражал:

— Пусть другие берут, коль хотят. А мне воровское претит.

VI

С Дальнего Востока тянулись воинские поезда; истомленные неудачами и поражениями, возвращались домой полуголодные мужики, подставлявшие свои лбы под пули и свои груди под штыки и сабли — неведомо почему, неведомо за что. Быть убитыми или в лучшем случае искалеченными в самом расцвете жизни требовалось от них не просто как должное и неизбежное, но как желательное, исходящее от них самих. А мужикам хотелось жить и быть здоровыми и счастливыми, а вовсе не мертвецами или уродами. И вот в сознании того, что все ужасное и нелепое кончено. что войны больше нет, что они разъезжаются по домам живыми и пригодными к жизни, нетерпение их росло с каждым днем, а раздражение усиливалось с каждой новой задержкой. Как вдруг перед самой Москвой, на какой-то ничтожной станции Люберцы останавливают дружинники, входят в вагон к старшему офицеру и твердо заявляют от имени революции:

— Сдавайте оружие, свое и солдатское, иначе дальнейшего пропуска не дадим и паровоз отцепим.

В вагоне, а затем и во всем поезде поднимался гомон. Всем хотелось скорее домой; секунды промедления казались часами; кричали, требовали, грозили, и офицеру волей-неволей приходилось сдаваться. Сабли, ружья, патроны, револьверы, сумки и саперные инструменты быстро сбрасывались в кучу на люберецкую землю, и обезвреженный поезд с веселыми солдатами отпускался в Москву.

Ларион Иванович, приехав к жене, только одну ночь провел спокойно. На другой же день настала тревога. И тревога была страшная: все шептали один другому, предупреждая, настораживаясь и не зная, что делать:

— Казаки приехали из Москвы на конях. За плечами ружья, в руках пики, сбоку шашки... Не жди добра!

Сергей Щукин, мрачный, но твердый, взял за руку Лариона Ивановича и сказал ему:

— Пока прощай, Ларя. Ни слова никому об этом. И сестре своей не говори. Дело серьезное. За казаками идут семеновцы — из Питера выписали — это штука неладная. Много крови прольют. В Перове они расстреливают людей, как баранов, порют штыками неповинных. Скоро и к нам ворвутся... Приходится спасать положение и удирать с делами немедленно, пока не поздно.

— Куда же? — в страхе спросил Девяткин.

— Пока в Фаустово, а там видно будет.— Но — ни слова об этом! — поднял он указательный палец.— Ни слова! Никому!

Он ласково положил на плечи Лариона Ивановича свои огромные руки и шепнул ему на ухо:

— Спокойны будьте без меня: в доме ничего нет. Ничего там никто не найдет, так и знайте и в случае чего не робейте.

Еще тише он добавил, обдавая его щеку горячим дыханием:

— Тебе одному доверяю. Оружие наше все закопал там же... ты знаешь... на пустыре. Если не вернусь и если оно опять понадобится, то отдай им... нашим, конечно. Понимаешь?

— Понимаю.

— Прощай. Братика Федю береги. В доме ничего нет, так ты и помни. Ну, счастливо оставаться. Может, увидимся, а может, и нет.

Ни с кем более не прощаясь, Сергей Щукин накинул на себя пальто, надвинул на глаза мохнатую папаху и вышел, сказав, что идет в чайную. Девяткин глядел ему вслед. Он видел эту коренастую фигуру в мохнатой шапке, в коротком ватном пальто, в высоких сапогах, распахнувшую наотмашь левою рукою дверь в сени, и сейчас же эта дверь захлопнулась и навсегда отделила хозяина от его дома. Ни жена Девяткина, ни братик Федя не обратили внимания на все это, потому что он каждый день уходил в чайную на собрание, и только один Ларион Иванович понимал, в чем дело, но принужден был молчать, чтоб оправдать доверие.

Наутро всем стало известно, что помощник начальника станции Смирнов пропустил поезд со всеми главными зачинщиками и они прямо от Москвы стремглав промчались в Фаустово под обстрелом из пулеметов войсковых частей. Машинист Ухтомский сам управлял паром и развивал та-

кую скорость в самых опасных местах, что давление доводил до пределов взрыва котла. Жизнь главарей висела на волоске; этим риском он и спас всех их от неминуемой гибели. Когда помощник начальника станции Смирнов дал им благополучно промчаться мимо Люберец, то сам он и Щукин сели на первый попавшийся паровоз и поспешили им вслед, чтоб сообщить какую-то крайне важную местную новость.

Щукин остался в Фаустове, а Смирнов вскоре вернулся на том же паровозе один. А во второй половине дня в Люберцы нагрянули солдаты Семеновского полка, присланные из Петербурга. Они остановили свой поезд за полторы версты и небольшими партиями, человек по десять, стали осторожно подходить с разных сторон к станции, не доверяя тишине. Навстречу им попались три человека, железнодорожные слесари.

— Стой! — загремела команда.— Руки вверх!

Слесари подняли руки. У одного из них вывалился на рельсы старый, заржавленный револьвер, принятый им только что для починки.

После обыска двоих отпустили, а третьему через минуту всадили в висок пулю, и он первою жертвой молча упал на рельсы, и первая кровь заалела в снегу.

Группы солдат все подходили и подходили. Наконец, на станции образовалась войсковая часть с офицерами и командирами.

— Стой! Кто идет? — крикнул офицер, хватая за воротник человека в тужурке и в красной фуражке, переходившего рельсы.

— Помощник начальника станции, иду на дежурство по долгу службы.

— Фамилия?

— Смирнов.

— А!! Вас-то нам и нужно!

Его отозвали в комнату и потребовали назвать всех поименно, кого он пропустил с поездом в Фаустово.

— Даем срок полчаса. Не назовете — расстрел!

— Поезд я пропустил, это верно,— отвечал Смирнов.— Но кто сидел в вагонах, разве я могу это знать?

— Имена! Имена! — заревели семеновцы.— Полный список всех удравших товарищей! Торопитесь.

— Я не могу их знать. Я не знаю.

Тогда его подвели к каменной водокачке и приставили к лицу револьвер.

— В последний раз: имена!

— Я же не знаю, кто садился в Москве в вагоны. Мое дело — путь, а не лица.

В ответ грянули три выстрела, один в лицо, другой в затылок, третий в висок.

— Мы пришли сюда не миловать, но карать,— подтвердил солдатам полковник.— Поэтому требую от вас верности, мужества и решительности.

Он разделил своих солдат на отряды, одних отправил по левую сторону насыпи полотна обыскивать население, других — по правую сторону, а часть оставил при станции.

— Никому пощады! Арестованных не иметь! — напутствовал он солдат и офицеров.— Ни за какие поступки, ни за какие ошибки вы ответственны не будете, кроме как за пощаду. Крамолу и революцию нужно вырвать с корнем, раз и навсегда! Это наш долг перед царем и отечеством. В добрый путь! Ожидаю от вас успехов.

— Рады стараться, ваше высокоблагородие! — громко и твердо отвечали солдаты привычные слова, не разбираясь в существе даваемого обещания.

И они пошли.

У офицеров были поименные списки и фотографии дружинников и главарей, но почти никого из них они не заставали дома. Большинство успело скрыться, а оставшиеся захватывались, допрашивались и отпускались домой. Но, когда они отходили шагов на десять — двадцать, им в спину пускались залпы, и они падали. Раненых добивали штыками.

С раннего вечера и до полуночи по селению бродили семеновцы с ружьями, штыками и револьверами, отыскивая дружинников и революционеров, сея вокруг себя ужас и смерть. То здесь, то там раздавались ружейные залпы; то слышались отдельные выстрелы, то какие-то страшные выкрики среди зловещей тишины. Иногда голосили бабы, вопили, рыдали — и либо залп, либо сухой револьверный выстрел был им ответом. События шли одно за другим с поразительной быстротой. В несколько часов все обыски были закончены. В станционную комнату приведено было человек двадцать, и никто из них не знал, что они арестованы и что их ожидает. Все думали, что их вызовут к офицерам и те выяснят нелепость их ареста. Но участь многих из них была уже решена.

В дом Щукина также входили солдаты.

— Где здесь оружие? Сдавайте без разговоров!

— Нет здесь никакого оружия,— отвечала Девяткина.— И никогда не было.

— А ты сама кто такая?

— Я жилица, Девяткина.

— А ты кто такой? — спрашивали Лариона Ивановича.

— Я ее муж. Официант из Москвы. Вчера на возу приехал. Проведать семейство.

— А ты кто? — спрашивали Федю.

— Я Щукин.

— Щукин! Давно ищем такого. Айда с нами.

Они разломали печку, ища в ней оружие, подняли половицы, взломали шкаф, вспороли постели и, ничего не найдя, увели молчаливого Федю с собой, ударив его на всякий случай прикладом по шее.

На другой день, когда зимние сумерки спозаранку начали окутывать дороги, хижины и горизонты, но виднелись еще в сером тумане соседние строения и прохожие люди, под солдатским конвоем от станции вдоль платформы повели нескольких человек; пересекли путь, вышли потом на Слободскую улицу и мимо щукинского домика направились к баням, замыкавшим дорогу. Люди глядели на все шествие из своих окон и с проезжей дороги и тревожно молчали.

— Ухтомского ведут,— шептали некоторые, угадывая в сумерках знакомую фигуру машиниста.— Крылова тоже ведут... и этих, пятерых... с тормозного завода.

Видел все это из своего окна и Ларион Иванович. Он молча схватил шапку и пошел.

— Куда ты? Куда? Не суйся,— кричала, как обезумевшая, жена.— Федю неведомо куда девали. Теперь ты уйдешь!

Она бросилась на скамейку и завопила громко и с надрывом, по-старинному, несколько нараспев, как не плакали бабы, может быть, уже лет двести. Но Девяткин был неумолим. Он ничего не ответил и вышел за ворота. До бань было всего три дома, а там начинался лес. У этого леса и остановились солдаты. Начальник приказал повернуть всех приведенных лицом к роще. Но Ухтомский отказался.

— Я не боюсь смерти,— сказал он спокойно.

Тогда ему хотели завязать глаза, но он и от этого отказался.

— Поезд с дружинниками ушел из ваших рук только благодаря мне. Я знал, на что иду, и знал вперед, что вы меня расстреляете, если попадусь вам. Кого было нужно спасти, все спасены, и вам не достать их. Мое дело сде-

лано честно. Теперь делайте ваше дело. Командуйте, господин офицер. Не томите.

Девяткин закрыл лицо руками и бросился бежать обратно к дому. Зубы его стучали, язык онемел. В это время раздался залп, а через несколько секунд второй, а еще через две-три секунды одинокий револьверный выстрел. Очевидно, кого-то добивали.

На третий день два воза с трупами остановились у кладбища, окруженные полицией, жандармами и солдатами. Широкая и просторная братская могила была уже заготовлена. Убитых брали с воза за ноги, за головы и подносили к яме; здесь принимали их другие, стоявшие в глубине ямы, и укладывали рядами.

Девяткин стоял среди зрителей. Здесь были не только просто любопытствующие, но и близкие, друзья убитых, поневоле молчаливые и внешне покорные. Молчание стояло жуткое и торжественное. Мимо них проносили труп за трупом. Вдруг Ларион Иванович похолодел и задрожал мелкой дрожью, как в лихорадке, так что зубы его не попадали один на другой. Он увидел Федю с штыковою раной в горло и в живот, с запекшейся кровью.

«За что?» — хотел крикнуть Ларион Иванович, но голос его оборвался: отчаянная боль защемила горло. Он побледнел и зашатался.

А Федю принесли с воза к яме и там приняли его, как и всех прочих, и уложили в очередь.

— Следующего! Давай дальше! — торопили могильщики.— Не задерживай зря.

VII

Миновали тяжелые, кровавые дни.

Карательный отряд, очистив революционные гнезда до самой Коломны, возвратился в Москву. На каждой из станций, где он действовал, служили благодарственные молебны за помощь в подавлении крамолы, а начальник отряда произносил перед местными крестьянами торжественные речи.

— Я послан самим царем восстановить спокойствие и порядок. И я их восстановил. Не все главари пойманы, многие убежали и временно скрылись. Но им не убежать и не скрыться от законного возмездия! Царь надеется на вас, что вы сами не дадите еще раз завладеть собою кучке бунтовщиков. И если эти ораторы снова вернутся сюда, то уби-

вайте их чем попало — топором, дубиной, ножом! Знайте, что за это в ответе не будете. А сами не сладите, известите нас, и мы снова придем!

Народ стоял с непокрытыми головами, покорно выслушивал речь и молчал.

После тяжелого сердечного припадка на братской могиле Ларион Иванович провалялся несколько дней, а затем должен был уехать в Москву, так как там начинались снова дела и его потребовали на службу. Он никому ничего не рассказывал о себе, говорил только об общем и то неохотно; ссылался на болезнь сердца и старался молчать. Все, чему он был свидетелем, так ошеломило его, что он только в молчании стал видеть единственный выход из положения.

«Молчать и терпеть,— решал он тысячи раз.— И больше ничего: терпеть и молчать».

Однажды его и еще нескольких старших официантов вызвали в правление и объявили, что на завтра в заказном зале ресторана назначен торжественный ужин, что будет немало знати и что служителей к столу можно поставить только самых верных, испытанных, облеченных безусловным доверием. Все они ответили, что ручаются за порядок, что хозяева и гости могут быть совершенно спокойны и что достоинство ресторана, где они давно работают, будет, конечно, соблюдено.

Их поблагодарили за верность и стали готовиться. К назначенному сроку в зале был сервирован большой стол, поставленный так называемым «покоем», то есть в виде буквы П. Белоснежные скатерти, старинный фарфор, хрусталь баккара, серебряные приборы и зелень в вазах, оранжерейные цветы и фрукты на золочено-бронзовых колонках с хрустальными широкими кругами в три яруса — все сияло в ожидании гостей.

У официантов имелось в обиходе два костюма; либо фрак для парадных случаев, либо к обычной ежедневной работе белая полотняная рубашка-косоворотка с цветным поясом и одинаковые с рубашкой белые панталоны; такой костюм предпочитался за его гигиеничность, но для парада он, конечно, не шел, и все были удивлены, когда вышло распоряжение служить за ужином «в белье», как назывался на ресторанном языке будничный костюм.

Еще более удивило всех официантов, когда при входе

в зал для службы какие-то посторонние люди в самых дверях оглаживали каждого из них по бокам ладонями, ощупывали карманы и только после этого пропускали в зал, откуда уже обратно выхода им не было. Все это казалось не только странным и непонятным, но и обидным, но все подчинились молча и беспрекословно.

Вскоре после этого начался съезд, и зал наполнился избранной публикой: мундиры и эполеты, аксельбанты и шпоры, несколько нарядных дам, несколько генералов и один гусар в лаковых ботфортах, в малиновых рейтузах, туго натянутых на тело, как новые перчатки, и в очень коротенькой темно-зеленой венгерке, расшитой серебряными шнурами сзади и спереди. Гусар был невысокого роста, но крепкий и жилистый и не в меру подвижной, почти вертлявый. Его курточка была настолько коротка, что доходила только до бедер, а ниже, словно напоказ, выставлялись все его формы, обтянутые тонким малиновым сукном, и было забавно глядеть на него, особенно сзади, когда он оживленно вертелся перед дамами, считая себя, вероятно, обворожительным и неотразимым в этих малиновых рейтузах.

После продолжительной и веселой закуски, где пили водку и херес, чокались, поздравляя друг друга, заедали водку жареными горячими пирожками, зернистой икрой, сочными балыками, паштетами и майонезами; после многочисленных опустошенных бутылок и графинов сели, наконец, за стол. Каждому официанту была отведена для работы определенная часть зала. На долю Девяткина достался тот угол стола, за которым поместился вертлявый гусар.

— А! Вот прекрасно! — говорил тот, усаживаясь на дубовом стуле, туго обтянутом толстой свиной кожей, с тиснеными узорами.— Я сейчас чувствую себя точно в седле. Превосходно! Восхитительно!.. А я в седле провел полжизни и терпеть не могу мягкой шелковой мебели.

— Ха-ха! Вот истинный вояка! — смеялись соседи.— Даже за ужином хочет чувствовать себя, как в седле.

— Да, да! — горячо и вместе шутливо подтверждал тот.— Гусар — и седло! Гусар — и война! Вот наша жизнь, да, да!.. Гусар и прекрасные женщины — вот наша радость! Гусар и вино — вот наше удовольствие! За ваше здоровье, дорогие друзья и приятные соседи! И за милых наших дам, которые, к сожалению, сидят далеко от нас. И за них, прекрасных и обворожительных!.. Это, знаете, врожденная, фамильная моя слабость: женщины. Мой отец и мой дед...

Вокруг улыбались и смеялись, считая его за весельчака и затейника, за милого, компанейского малого и ожидая от него в этот вечер еще много шуток, приятных и остроумных.

Он чокался с соседями, неустанно наливал и пил и както по-особенному сидел на своем стуле, будто и в самом деле в кавалерийском седле, когда конь под ним мчится галопом. Он то и дело вскакивал со своего стула, не отодвигая его, посылал кому-нибудь веселые краткие реплики и вдруг садился снова, неожиданно и сильно, точно утрамбовывал упругую кожу стула своими тугими и крепкими ляжками.

Сейчас же после первого блюда кто-то громко застучал вилкою по тарелке, призывая шумливое общество к тишине и вниманию. Сразу все стихло, точно замерло. Все глаза обратились в сторону генерала, поднявшегося со своего места с бокалом в руке.

— Его превосходительство,— зашептали вокруг,— его превосходительство желает говорить!..

Внятно и громко генерал проговорил:

— За священную особу обожаемого монарха, за здоровье его величества государя императора!

Восторженным ревом ответило общество, и громогласное «ура» раскатилось по залу.

Когда снова все смолкло, начал говорить полковник. Он говорил о том, как все они, верные солдаты, исполнили свято свой долг, и в лице присутствующих он поздравляет с победой всех, кто своими трудами содействовал подавлению революции, которую он сравнивал с ядовитой змеей, ныне раздавленной раз и навсегда. Его речь иногда прерывалась взрывом аплодисментов, а когда он кончил, опять закричали «ура»! Все встали и хотя нестройно, но громко пропели «Боже, царя храни». Затем официанты начали подавать разварную осетрину под белым соусом, с шампиньонами, и наливать в фужеры золотистое шабли. Потом подавали котлеты-марешаль с трюфелями, спаржу и артишоки.

Разговоры мало-помалу сделались общими. Начались воспоминания о только что пережитых победах. Сами того не замечая, стали с увлечением похваляться тем, что были не только тверды, но и, в разгаре борьбы, жестоки.

— Браво! Браво! — прислушиваясь к какому-нибудь рассказу, вскакивал вдруг вертлявый гусар.— От души приветствую и поздравляю!

И он изо всей силы, точно молот на наковальню, опускался на стул. А вскоре опять вскакивал, и еще кого-нибудь поздравлял и приветствовал, и кричал ему «браво».

Было шумно и весело. Но победители, разгоряченные успехами и вином, друг другу во всем сочувствующие, радостные и властные, позабыли, что, кроме них самих, в зале находятся иные люди — в белых рубашках, подпоясанные цветными поясками, бесшумно скользящие по паркету с блюдами и подносами; они подают гостям нечто пышное, горячее и душистое и убирают обратно сальную грязь и остывшие объедки. Гости не замечали тех, которые находились среди них и слышали каждое сказанное ими слово. Эти люди безмолвны, однако уши их не заложены, глаза их не слепы, и неизвестно, какими чувствами наполняются их сердца. Правда, люди эти верные и отборные, но ведь и у них могли быть близкие и родные, которых усмиряли почтенные гости и над которыми могли совершаться все те жестокости, о каких они с таким увлечением сейчас говорят. Одни из служителей, по старой привычке, раболепно улыбаются, а у других темнеют лица и глаза становятся глубокими и мрачными. Этого не учли победители, и пир их разыгрывался на славу, а вино все больше и больше развязывало языки.

— Браво, браво! — покрикивал восторженно гусар, вскакивая, поздравляя, выпивая залпом и снова бросаясь по-прежнему лихо и крепко на стул.

Девяткин стоял неподалеку позади и невольно наблюдал за каждым его движением, за каждым выкриком и в то же время вслушивался в то, что говорилось вокруг другими, в разных местах стола.

Он слышал подробные рассказы о том, как где-то на колокольне поставили пулеметы и «поливали» из них без разбора все живое, что показывалось на улице по ту сторону баррикад; слышал о том, как сжигали дома и громили квартиры; как у Пресни целыми партиями «без разговоров» отводили людей «на реку» или «на лед», откуда те уже не возвращались; как во дворах и сараях искали спрятавшихся и «пороли штыками» всякого, кого находили. Во всем этом видели они доблесть и геройство, наводившие необходимый ужас на мирное население, которое теперь, конечно, на сто лет «зарубит себе на носу», что́ такое увлечение крамолой и игра в революцию.

— Великолепно! Замечательно! — восторженно восклицал гусар, поднимая бокал в честь говорившего.— Святые слова! Поздравляю от всей души!

А в душе Девяткина сказанные слова отозвались поиному. Не великолепны, не замечательны и не святы были для него эти слова. Он своими глазами видел многое и знал всему этому настоящую цену. Но волнение, которое его сейчас охватило, и обида за неправду обратились на вертлявого гусара, а не на оратора, потому что тот поговорил и кончил, а этот опять вскочил, весь разноцветный, красочный и восторженный, опять надоедливо заболтал и снова хлопнулся во всю мочь на сиденье. Недоброе чувство к этому гусару зародилось в душе Девяткина.

Это недоброе чувство быстро нарастало, и через минуту гусар стал ему ненавистен до крайности. Ему захотелось, чтобы тот на что-нибудь наткнулся или чтоб скорее напился до полного безобразия и повалился под стол, как это случается иногда с гостями, и чтобы его, закрыв лицо салфеткой, поволок бы Девяткин у всех на виду в соседний кабинет откачивать нашатырем и холодной водой...

Но ничего подобного не случилось. Гусар был весел и пил без конца, как ни в чем не бывало. Когда он еще раз вскочил и закричал «браво» новому оратору, вспоминавшему свои подвиги и победы, Девяткин, глядя на малиновые гусарские рейтузы, натянутые назади, точно кожа на барабане, мрачно подумал: «Вот бы ему на стуле подставить вилку, когда он бросается сесть. Пусть бы напоролся на нее со всего размаху!..»

Он отмахнулся от этой случайной мысли и, стараясь не глядеть более на гусара, стал внимательно вслушиваться в разговоры других. Но чем внимательнее он вслушивался, тем туманнее становились для него чужие слова и на душе становилось тяжелее, и по-своему, по-мужицки начали видеться иные картины. Ясно вспоминались ему при этом громы выстрелов по баррикадам, ружейная трескотня, вспоминались и обыски в Люберцах; наконец братская могила, в которую укладывали милого, ни в чем не повинного Федю.

VIII

Шальная мысль оскорбить и осквернить великолепного гусара быстро завладела Девяткиным. Вот он, простой человек, весь вечер принужден услуживать и выслуши-

вать похвальбу людей, пришедших с пулями и штыками усмирять народ, который потерял терпение в неправде и угнетении. Вот он, Девяткин, смирный и больной человек, работающий всю жизнь, малограмотный, но понимающий, однако, кроме своего дела, и многое другое, видит и знает, как жизнь трудна, а они этого не видят и не понимают и не хотят понять. Они пришли усмирять и убивать тех, кто восстал, но они сами признаются, что убивали и неповинных, лишь бы навести ужас перед своей силой. Чем помешал им братик Федя? За что убили его? И как убили?.. Штыками в живот и в горло. За что? Что мог он им сделать?

Девяткин видел перед собой этого юнца с голубыми ясными глазами, никогда не сидевшего сложа руки. За что же его убили? И как теперь быть без него старикам в деревне?..

— В Перове... в Голутвине... мы всю эту банду взяли на пушку! — слышалось из одного угла.

А из другого доносилось:

— Несколько снарядов в окошко — и кричат оттуда: «Сдаемся, сдаемся!» Белая тряпочка из окна — и готово дело!

А вокруг гусара говорили громко и весело о женщинах, о вине, о балете, о картах.

— Понимаете ли: улан! Человек молодой, красавец! Женщины от него без ума, и все к нему — как мухи на мед! — восторгался кто-то отсутствующим уланом.— И при этом ни капельки вина! Никогда ни единой капли! Вот!

Гусар на это усмехнулся и, вскочив со стаканом вина в руке, проговорил:

— Н-не согласен! Н-не верю!

Потом тихонько, исключительно для своей компании, весело пропел нежным тенором:

Кто по три раза в день не пьян,
Тот — извините — не улан!..

Дружным хохотом встретили соседи это неожиданное выступление, а тот уже снова шлепнулся обратно на свой стул и весело и победоносно глядел на окружающих, молча протягивая свой опорожненный фужер, который ему сейчас же наполнили шампанским.

Девяткин не без удовольствия стал замечать, что гусар, наконец, слабеет и, вероятно, через полчаса будет валяться под столом. Но тот, чувствуя, что силы начинают ему

изменять, вытащил откуда-то из куртки круглую коробочку, вынул из нее белую маленькую пилюлю, положил на язык и запил ее глотком вина.

— Простите, дорогие друзья мои,— сказал он меняющимся голосом.— Это со мной иногда бывает, но ненадолго. Я начинаю чувствовать слабость во всем теле. На пять минут я погружаюсь в нирвану,— бормотал он заплетающимся языком,— а через пять минут... опять я к вашим услугам. С меня все это... как с гуся вода... Да, минут пять... три... две... Извините.

Он закрыл рукою глаза и, чуть заметно пошатываясь, облокотился на стол. Его оставили в покое и заговорили на тему дня.

Опять кто-то начал рассказывать о разрушенных баррикадах, кто-то сообщил о расстреле училища, где засели дружинники, о стриженых девицах в солдатских папахах, в высоких сапогах, с пистолетами за пазухой, и, когда заговорил молодой офицер о том, что в борьбе нельзя церемониться, что лучше перебить десять неповинных, чем упустить одного виновного, ибо отсюда вырастает новая змея,— в это время гусар глядел уже на оратора как ни в чем не бывало свежими веселыми глазами и, едва дав ему закончить речь, громко воскликнул, совершенно обновленный:

— Вот это — браво! Это дело! Это прекрасно сказано и серьезно!

Он вскочил, по обыкновению, но одна рука ему изменила и зацепила посуду. Со звоном повалились тяжелые хрустальные фужеры на скатерть, и два из них разбились. Полукруглые большие осколки, опрокинутые острыми клыками вверх, тихо покачивались на столе, а в самых клыках, и остриях, и в граненых узорах мелкими радужными искрами, голубыми, красными и золотыми, отражались огни люстр.

— Я так же думаю,— громко говорил гусар.— Я солидарен. Пусть лучше погибнет десять невинных, чем спасется один преступник. Это блестяще! Это восхитительно!

Девяткин видел все это и слышал и вдруг рванулся к столу. В мозгу его что-то сверкнуло, в сердце что-то отозвалось. План моментально созрел. Вот, вот оно, что нужно! Вот тебе за десять невинных, вот за...

Думать было некогда. Он был уже за спиной гусара. Быстро смахнул он в салфетку осколки фужеров и, не теряя ни секунды, выбрал наскоро самый крупный, самый

острый кусок баккара, полукруглый, с большими треугольными клыками, и быстро подсунул этот кусок на середину стула, обратив остриями вверх. Все это случилось в две-три секунды.

— Пью ваше здоровье!.. За вашу прекрасную мысль, которую мы будем, надеюсь, проводить в жизнь! Ура!

Он опрокинул в открытый рот почти полный бокал и, как всегда, со всей силой, крепко трамбуя сидение ляжками, бросился на стул.

Девяткин был уже в стороне и вытряхивал из салфетки в сорную корзину осколки.

Произошло что-то странное, не понятное сначала никому. Гусар вдруг побелел, как полотно, и из груди его вырвался стон. Он покачнулся на своем стуле и повалился на бок. Его успели подхватить.

Когда его приподняли, то все кожаное сидение было в липкой крови, а рейтузы разодраны, и сквозь натянутое сукно сочились и падали темные капли, а куски хрусталя впивались остриями в тело и все еще держались там, тоже окрашенные кровью.

Раненого подхватили под руки и потащили в отдельный кабинет на перевязку. Все сразу смолкло, все зловеще насторожилось.

— Не обращайте внимания, господа,— произнес усатый капитан, выходя из-за стола.— Ничтожный случай, который не может мешать нашему веселью,— уверяю вас; и ротмистр вернется к нам через несколько минут совершенно здоровым. Прошу вас, продолжайте вашу беседу. За здоровье нашего милого ротмистра!

Опять полилось вино, зашумели разговоры, а капитан, идя прямо на Девяткина, стоявшего возле сорной корзины, сказал ему почти мимоходом:

— Иди за мной в коридор.

Девяткин, плохо сознавая, что делает, и прижимая руку к сильно бьющемуся сердцу, вышел за капитаном.

— Где у вас тут уборная?

— Пожалуйте.

Оба они сделали друг за другом несколько шагов. Вдруг капитан круто повернулся. В коридоре, среди двух толстых каменных стен, не было никого. Он резко взглянул Девяткину своими быстрыми черными глазами в его простые оробевшие глаза и сказал:

— Я все видел!

Потом добавил:

— Ты дружинник... мер-за-вец! И ты уцелел?!

Девяткин молчал, только глядел на капитана и видел как вдруг в его руке сверкнул серебристый револьвер.

— Мерзавец!

Это было последнее, что слышал Девяткин.

В зале не было даже слышно выстрела за шумом голосов. Белая рубаха Девяткина густо окрасилась кровью, а сам он, прислоненный к стене, точно вдруг повис на ней, а затем повалился на пол с простреленной головой.

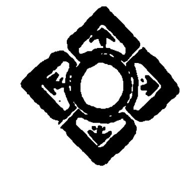
Бряцая шпорами и убирая в карман револьвер, капитан возвратился в зал, приказав на ходу прибежавшему метрдотелю:

— Убрать эту падаль. Немедленно! И молчать!

И веселый пир продолжался всю ночь, до рассвета.

1933

ЕГЕНД



БЕЛАЯ ЦАПЛЯ

(Сказка)

I

Далеко на севере, среди студеного моря, на одиноком острове раскинулось королевство, погруженное чуть не круглый год в холодные сумерки и туманы. Зима была здесь длинная, а лето короткое. Дикие скалы лишь ненадолго бывали покрыты седыми мхами, а затем опять их заносило снегом.

Мало тут было зелени и цветов, но люди, жившие в королевстве, любили свою родину, свое суровое море, любили и ценили всякую жизнь, всякую былинку, а бледные цветы их полей радовали их больше, чем радуют роскошные цветники избалованных жителей юга. Поэтому, когда наступала весна и солнце ласково пригревало землю, король устраивал пышный народный праздник, к которому все готовились еще с осени и которого с нетерпением дожидались целую долгую зиму.

Обыкновенно к этому празднику съезжались в гости чужеземные принцы. Все любили старого короля за ум и редкую доброту, всем хотелось научиться у него забо-

там о людях, которым, несмотря на стужу и долгую зиму, жилось легко и хорошо в королевстве.

У короля была красавица дочь, принцесса Изольда. Такая же добрая, как отец, она всегда помогала больным и несчастным, и король одобрял в ней эти стремления. Он говорил ей, что настоящее счастие только и есть в милосердии, а если мы будем жестоки, то и нам самим изменит наше счастье.

Быстро пролетело веселое лето... Угрюмо и пустынно стало холодное море. Серое, точно сталь, оно тяжело колышется под напором ледяного ветра; взбушует, взревет и снова затихнет; то скрежещет плавучими льдами, то завоет, то вдруг замолчит. Но бушует ли оно, молчит ли — нет в него веры: оно одинаково сурово и неприветливо. Солнце уже не проглядывает сквозь серые тучи, над голыми скалами вновь ползут тяжелые туманы... Все приумолкло. Наступила долгая, томительная зима.

Всякий день принцесса Изольда, задумавшись, подходила к окну дворца, к тому высокому большому окну, из которого был виден замерзший, покрытый снегом берег, а за ним далекою серою полосою виднелось море, сливавшееся с небом, таким же серым и неприветливым.

Подолгу простаивала здесь Изольда, вспоминая недавнее лето. Где те цветы, которые вплетала она в свои волосы? Где свежая зелень, ясные, теплые ночи, веселые песни?.. Все унесла зима. Ничего не осталось.

— О чем ты грустишь, моя милая дочь?— спрашивал король, видя Изольду печальной и задумчивой возле окна.— Что ты глядишь все на море?

— Наше море свирепо,— отвечала Изольда.— Много кораблей поглотило оно, и я боюсь за тех, кто поздно уезжает от нас. Я боюсь за принца Сагира.

— Не бойся, дитя мое,— ласково успокаивал король.— Принц Сагир успел уже миновать опасности. Он плывет теперь на своем корабле, приближаясь к родине. О, как прекрасна его родина, если б ты знала!

И король начинал рассказывать о прелестях южного моря, о родине принца Сагира — и тем разгонял печальные мысли Изольды.

— Теперь уже недолго. Пройдет зима, наступит весенний праздник, и принц Сагир вернется к нам. Он привезет тебе всего, чем богата его родина: и плодов, и камней,

и металлов, и мы отпразднуем вашу свадьбу так, чтоб ни одно существо в моем королевстве не забыло этого дня: всем милости — от мала и до велика!

Однажды, когда стояла морозная, лунная ночь, Изольда подошла к окну полюбоваться снежной пустыней. Ночь была так ясна, что видно было все, точно днем, а мороз был такой сильный, что стекло покрылось от него нежным и тонким узором, похожим на тончайшие ветви, на звезды и стрелы.

Изольда залюбовалась.

«В день моей свадьбы,— весело подумала она,— я надену наряд такой же, как моя милая родина: белое платье — как снег, серый плащ — как море, а на голову надену убор из тонких стрелок — как узоры мороза, и чтоб сверкали они и искрились, как снежинки при лунном свете!»

На другой день Изольда приказала готовить, какой замыслила, свадебный наряд. Придворная швея взялась сделать платье, похожее на снег; мастер взялся приготовить плащ стального цвета — моря; но никто не знал, как сделать убор для головы, который походил бы на стрелки мороза.

Разослали гонцов по всему королевству, обещая награду тому, кто исполнит этот убор, но никто не являлся. Никто не мог выдумать такого убора.

Наконец, пришел к Изольде старик, много и долго странствовавший по свету, и сказал, что может сделать убор, только на это необходимо много времени.

— Далеко на юге, на берегу одной большой реки,— говорил старик,— живут белые цапли. Их очень много в том краю, потому что их никто не убивает, так как мясо их не годится в пищу, и они живут свободно. Каждую весну у них вырастает на голове белый хохолок, высокий и пышный, с нежными, чудесными волокнами, тонкими, как паутина. В этой стране скоро наступит весна. Нужно торопиться, и если сейчас же поехать туда, то как раз застанешь весну...

— Так поезжай!— воскликнула Изольда, глядя на старика разгоревшимися от восторга глазами.

— И если достать хохолок и на нем укрепить мелкие алмазы, то получится именно то, о чем мечтает принцес-

са. Наша весна наступит еще не скоро. За это время можно съездить и возвратиться как раз к твоей свадьбе.

— Но как же достать хохолок? — спросила Изольда, радостная и сияющая.

— Для этого нужно,— ответил старик, таинственно наклоняясь к принцессе, — одну только цаплю... убить.

— Убить?..

Принцесса опустила руки и грустно покачала головой.

— Нет,— тихо возразила она,— не надо мне такого наряда.

Старик поклонился и вышел.

Всю ночь не спалось Изольде. Она знала, как огорчился бы отец, если б она согласилась. Но как, должно быть, красив и блестящ будет этот убор!..

«Белые цапли... — думала Изольда, вспоминая слова старика. — Мясо их не годится в пищу... их не убивает никто... Их много...»

И если достать хохолок и укрепить на нем алмазы, то будет именно то, о чем она мечтает...

И ей представлялась будущая весна, принц Сагир, белоснежное платье с серым плащом и искры морозных волокон...

«Только одну... — продолжала думать Изольда, — только одну убить...»

И мало-помалу убить одну птицу, хотя и ради прихоти, стало казаться ей не таким уж страшным делом, как вначале: ведь все равно птица умрет — немного раньше или немного позднее... Зато как хорош будет ее свадебный убор! Как будет доволен принц Сагир. Как будет прелестна в этом наряде сама Изольда!

Так думала принцесса, соблазняясь все более мыслью о наряде. Долго мучилась она над этим вопросом и, наконец, решилась. Наутро призвала старика и приказала собираться в путь.

Приближалась уже весна.

Вся страна готовилась к празднику, на этот раз небывалому. Король в честь дочери-невесты расточал милости, и все были радостны; только Изольда одна оставалась задумчивой, невеселой.

Уже давно раскаялась она, давно сожалела о том, что поддалась минутному соблазну. Но сделать было уже нельзя ничего, и она старалась меньше думать об этом.

Зазеленела весенняя трава, весело зашумело море, стали съезжаться принцы, а старик все еще не возвращался. Изольда была даже рада этому и, глядя на свой венчальный наряд, начинала уже придумывать, чем заменить головной убор.

Приехал с блестящею свитой и дорогими подарками принц Сагир. Уже назначен был день свадьбы и народного праздника и все было готово к великому торжеству.

Накануне вечером пришел в гавань корабль из далеких стран, а через несколько времени явился во дворец и старик. Поклонившись принцессе, он молча подал ей золоченый ящик. Изольда открыла его и вскрикнула от изумления и восторга.

На темном бархатном дне ящика лежали развернутые веером тончайшие белые веточки, нежные как пух и белые как снег, а среди них сверкали и искрились чуть видимые алмазы. Лучшего подобия морозного узора невозможно было представить. Это и было то самое, о чем могла лишь мечтать Изольда.

— О, как прекрасно!— воскликнула она в изумлении.— Как чудесно! Как красиво!

Но вдруг она замолчала и на минуту закрыла глаза.

— Ты убил ее? — выговорила она с тревогой.

— Да, принцесса, — спокойно отвечал старик. — Убил, чтобы срезать с нее этот хохолок. Я срезал и отвез его в большой город, где умеют делать такие замечательные работы из золота и драгоценных камней. Все удивились красоте этих перьев, и много молодых женщин, много торговцев, много всяких людей приходили ко мне любоваться и просили продать им, но я ни на что не соглашался. Я отдал хохолок знаменитому мастеру, лучшему в мире, и рассказал ему о твоем желании. И вот, видишь, что он сделал! — с гордостью указал старик на блестящий убор.

— Благодарю тебя, — ответила Изольда, закрывая ящик.

Руки ее дрожали.

На другой день на месте торжества собралась несметная толпа ликующего народа, чтобы приветствовать жениха и невесту. Все пришли с молодыми зелеными ветвями и цветами, всюду раздавались песни и крики в честь доброго короля.

— Да здравствует наш добрый король! Да здравствует принцесса Изольда! Да здравствует принц Сагир!

По обычаю страны, король отдавал сам жениху руку дочери перед всем народом, и народ ожидал этого с нетерпением и любопытством.

Когда вышла принцесса, вся толпа замерла в восхищении, — до того была прекрасна Изольда! Одетая в белоснежное платье, с длинной серой мантией, с роскошным убором на голове, она была прекрасна и молода, как весна, царившая вокруг.

Загремела навстречу ей музыка, раздались восторженные крики и песни, посыпались к подножию ступеней полевые цветы, букеты разных трав и разноцветных мхов — бросали все, чем одарила желанная весна угрюмую родину Изольды.

Взяв за руку дочь, король подвел ее к принцу Сагиру.

— Благословляю вас, дети мои, на счастливую жизнь, на добро и пользу нашим народам!

Вновь загремели трубы, вновь заликовала восторженная толпа, славя короля и новобрачных.

Весь день и весь вечер шумел и торжествовал народ по всему королевству, а к ночи все собрались к гавани, где стоял королевский корабль, украшенный сверху донизу разноцветными огнями, отражавшимися и игравшими в волнах. Море было спокойно; ясные звезды мирно сияли на безоблачном весеннем небе. На этом корабле принц Сагир и увез Изольду с ее родного острова далеко на юг, в свое королевство.

II

С тех пор прошло несколько лет.

Страна, где поселилась Изольда, совсем не походила на ее родину. Снега здесь никогда не бывало, голубое теплое море ласково омывало цветущие берега, покрытые виноградниками и садами. Жилось здесь привольнее, чем на севере: и море было здесь краше, небо синее, звезды ярче и песни беспечнее.

Но и среди приволья, среди семьи и счастья Изольде не хватало покоя. Соскучилась она и по родине, захотелось проведать отца, который становился уже стар.

Ранней весною собралась Изольда в путь и поехала. Но чем дальше отъезжала она от дома, тем сильнее и резче

дули ветры, туманней и серей делалось небо, становилось все холоднее и холоднее.

На ее родине было еще далеко до весны. Лед в море только что взломался, а берега были покрыты снегом. Но сердце Изольды при виде знакомой картины билось весело и легко.

Как обрадовался король ее приезду!

— Милая моя Изольда! — говорил он. — Я не ждал уже дожить до нашей встречи. Я становлюсь стар, часто хвораю и боялся умереть, не повидавшись с тобою.

Целыми днями и вечерами король просиживал с Изольдой, расспрашивая о ее жизни и рассказывая о своей.

Поместилась Изольда в своей прежней девичьей комнате и всякий раз, когда ложилась спать, припоминала всю свою жизнь, начиная с детства, и на душе у нее становилось лучше и спокойнее.

Стояла лунная ночь.

Не спалось в эту ночь Изольде. Она встала с постели и подошла к большому окну, из которого были видны прибрежные голые скалы, а за ними виднелось родное северное море.

«Скоро и здесь наступит весна, — улыбаясь, думала Изольда. — Лед уже тронулся... Скоро появится мох на скалах... зазеленеют поля...»

И Изольда с восторгом забывалась в светлых воспоминаниях детства и юности. Припомнилась ей и последняя здешняя весна, когда она была невестой, припомнилась и морозная ночь, такая же лунная, светлая, когда она глядела в это окно и мечтала о свадебном наряде из цветов своей родины.

«Белое платье — как снег... серый плащ — как море, а головной убор — как сверкающие иглы мороза»,— вспоминала с улыбкой Изольда.

Как она была молода тогда и как легкомысленна!

Припомнился ей и жестокий старик, соблазнивший ее убить несчастную цаплю. И многое-многое вспомнилось ей в эти минуты из ее прошлого.

Через несколько времени, когда Изольда уже спала в своей комнате, ей вдруг показалось, что ее кто-то будит, кто-то трогает за плечо.

Она открыла глаза.

Вся комната была залита лунным светом, а у постели ее стояли две большие белые птицы, обратив свои длинные клювы к ее изголовью и смотря на Изольду большими печальными глазами. У одной из птиц на голове был пушистый убор из тонких белых стрелок; другая держала в клюве два красных цветка, звездообразные, с черными как уголь середками.

Изольда вздрогнула, быстро поднялась и села на постели, глядя испуганными глазами на птиц.

— Возьми эти цветы, принцесса, — вдруг заговорила цапля, роняя цветы на колени Изольде. — Возьми их: они выросли из крови наших братий. Мы принесли их тебе, принцесса!

В недоумении и страхе Изольда молчала.

— Мы жили свободно и счастливо,— продолжала цапля. — Мы жили бы так и теперь, если бы ты не приказала убить одну из нас, чтобы завладеть хохолком для твоего свадебного наряда. Этот хохолок вырастает у нас только весною, когда мы вьем наши гнезда. Он и для нас тоже свадебный наряд. Знала ли ты об этом, принцесса?

Изольда опустила голову.

— Ты первая приказала достать хохолок для наряда. И с той поры начали приходить к нам охотники из больших городов, начали убивать нас сотнями, тысячами... Мы всюду искали спасения, но охотников каждую весну становилось все больше и больше, а нас оставалось все меньше. Знаешь ли ты это, принцесса?

Изольда дрожала и не могла вымолвить ни слова.

Цапля между тем продолжала:

— Нас избивали без жалости, без разбора. Нас избивали в то время, когда мы вили гнезда, когда кормили мы наших детей. Мы падали мертвыми и ранеными, истекая кровью, из головы у нас вырывали убор, а наши птенцы умирали от голода... Ты не думала об этом, принцесса?

И обе цапли пристально поглядели прямо в глаза Изольде.

— Сегодня убиты все остальные... Наш род истреблен... Мы — последняя пара из всех живых, и мы прилетели к тебе, принцесса, прилетели за тобой, чтобы взять тебя с нами и показать, что ты сделала. Кровь наших братий еще не застыла, их трупы еще лежат на земле... Полетим же взглянуть на них, полетим скорее, принцесса. Мы хотим, чтобы ты видела правду. Эти цветы, выросшие из нашей

крови, имеют чудесную силу. Возьми их в обе руки, принцесса.

Повинуясь властному голосу, Изольда взяла в руки один цветок и тотчас же почувствовала, как за спиной у нее выросли крылья. Она взяла другой цветок и стала невидима.

— Летим же!— сказали цапли.

Вихрем закрутился воздух. Где-то далеко, внизу, ревело и бушевало море, свистел ветер, мелькала и кружилась земля, вспыхивала радуга, грохотал гром...

— Взглянем на город,— услышала Изольда.— Это центр мира.

И принцесса увидала под собой необъятный город, светившийся миллионами огней.

Невидимо для других спустились в него три путника.

По широкой людной улице суетились, перегоняя друг друга, прохожие, катились экипажи, слышался говор, крики, веселый смех. Беззаботная нарядная толпа теснилась у магазинов, глядя разгоревшимися глазами в широкие окна, за которыми на темном бархате лежали освещенные невидимыми огнями белые нежные перышки, осыпанные бриллиантами.

— Как красиво! Как бесподобно!— восклицала нарядная толпа, нарасхват покупая эгретты[1].

А принцесса думала:

«Это мой убор...»

— Видишь, принцесса,— говорили цапли.— Видишь, как удачна твоя выдумка? Всем на радость!.. Но летим же к нам, и ты узнаешь цену этой радости.

Снова закрутился воздух; все заревело; все зашумело кругом; все померкло. Изольда чувствовала, что она вновь понеслась куда-то ввысь с неимоверною быстротою, все дальше и дальше, среди туч и вихря, среди непроглядной ночи.

Когда забрезжил рассвет и из-за края земли показался огненный шар солнца, путники увидели внизу, под собою, цветущую равнину и берег широкой многоводной реки. Они медленно начали опускаться и, наконец, полетели над самой рекою. Вокруг блистало дивное весеннее утро.

---

[1] Эгретты — дамские украшения из птичьих перьев.

Невиданные Изольдой прекрасные цветы, издававшие густой и сладкий запах, росли на огромных деревьях; по толстым стволам вились и переплетались между собою ползучие растения, достигая вершин и перекидываясь густыми гирляндами с одного дерева на другое; внизу развертывались пестрым ковром пахучие свежие травы; по берегам реки шумели мягкой песней высокие тростники; веяло всюду теплом, весною и негой, жизнью и радостью.

— Здесь наша родина,— сказали цапли.— Видишь ли ты, принцесса, как прекрасна у нас весна? Слышишь ли нежное плесканье воды, мягкий шум тростников, видишь ли наши яркие душистые цветы, наше жгучее солнце?

— Да,— отвечала Изольда.— Я никогда не видала такой прекрасной весны.

— А видишь ли вон там, среди камышей, среди цветов, среди травы, и вон там, под деревьями, и вот тут, по всему берегу, и повсюду, куда ни взглянешь,— видишь ли ты белые хлопья?

— Да, я вижу белые хлопья.

— Это не хлопья, принцесса... Это лежат белые цапли. Их убили, чтоб завладеть хохолками...

Проносясь невидимо вдоль по реке, Изольда с ужасом озиралась, встречая повсюду, куда лишь падал взгляд, белоснежные трупы с окровавленными головами.

— Боже! Как страшно!— ужасалась она.

Тысячи птиц валялись среди роскошных благоухающих лугов, многие были уже давно мертвы, многие недавно, многие умирали, взирая на Изольду с молчаливым страданием, раскрыв свои длинные клювы от непосильной предсмертной боли.

— Вот цена твоего наряда,— услышала снова Изольда.— Нас убивали, а наши дети умирали голодной смертью.

Стала глядеть Изольда вокруг по деревьям, желая найти хоть одно живое существо, услышать хоть один живой голос в этой долине, но видела лишь разрушение да опустевшие гнезда с умершими птенцами.

— Еще недавно, принцесса, здесь слышались повсюду крики радости и жизни. Еще не так давно прозвучали первые вопли и стоны. Еще только вчера оглашался воздух криком последних страданий, а сегодня — все замолчало: наступила смерть... Слышишь ли ты, видишь ли ты что-нибудь, кроме смерти?..

В ужасе и в отчаянии Изольда металась, не зная, куда бежать, чтобы не видеть жертв своего легкомыслия, не

слышать укоров совести. Она поняла, что погубила не одну только птицу, как уверял старик, а истребила весь род. Она напрягала все силы, чтобы освободиться, она рвалась и билась и вдруг, взмахнув крыльями, куда-то помчалась одна, без спутников, с неимоверною быстротой, только не вверх, а в бездонную черную пропасть. В глазах у нее потемнело, и она лишилась сознания.

Очнулась Изольда у себя на постели.

Не сразу опомнилась она от ужаса, который охватил ее душу. Ей все еще казалось, что она слышит шум тростников и видит реку, цветы и белые хлопья.

— Сон!— поняла она, наконец, и облегченно вздохнула.— Слава богу, это был только сон.

Встала Изольда бледная, почти больная, и долго не могла успокоиться. Долго бродила она по дворцу, не зная, куда деваться от тяжелых дум и воспоминаний. Стыдно ей было и самой себя и отца, которого она обманула. Затем ее охватила тревога за свою собственную семью, оставленную далеко за морями. Она только на мгновение вообразила себя не принцессой Изольдой, а белой цаплей, у которой дети умирают голодной смертью лишь потому, что кому-то захотелось красивее нарядиться...

— Ужас! Ужас!— шептала Изольда в страхе и возмущении.— Ужас! Позор!..

— Я уезжаю домой,— объявила она отцу.— Не держи меня, я не могу остаться ни одного дня. Вели готовить корабль. Я мучусь, я дрожу за своих детей.

И Изольда рассказала отцу о своем страшном сне и покаялась в злом поступке.

Выслушав ее, старый король поник головою.

— Да,— произнес он скорбно и укоризненно,— я не думал, что ты обманешь меня, Изольда.

И он начал рассказывать ей, что давно уже слышит, как истребляют белых цаплей для украшений, давно негодует на это и что сон ее в сущности правда.

— Правда?— ужаснулась Изольда.

— Грустная правда!— ответил король.— И птицы гибнут, и человек унижается.

Тогда Изольда стала просить, чтобы он научил ее, как исправить или загладить проступок, но король отвечал:

— Что сделано, того уничтожить нельзя никаким раска-

янием. Раскаяние очищает душу и закаляет ее против новых искушений, но прошедшее — непоправимо.

— Клянусь тебе,— воскликнула Изольда,— что никогда и никому я не сделаю более зла во всю мою жизнь!

— Этого мало. Мало — не делать зла: нужно делать добро. И только тогда ты будешь счастлива и покойна,— говорил король, кладя свою костлявую руку на голову Изольде и ласково гладя ее по волосам.— В мире и так слишком много страданий, а, причиняя зло хотя бы самому незначительному существу, ты увеличиваешь это зло. А назначение человека совсем не такое.

Наутро король провожал Изольду в обратный путь. Она была серьезна и молчалива. На корабле не было ни цветов, ни пестрых огней, как тою весною, когда счастливая Изольда, гордая своей красотою и молодостью, уезжала на новую жизнь в новое королевство. Тогда ей грезилось личное счастье; ей казалось, что и все люди разделяют ее радость, а теперь она уезжала одна, скорбная, одинокая, но с мечтою об общем человеческом счастье. Все люди должны быть счастливы, и все на свете должно быть добром. Она возвращалась домой, где осталась ее семья и народ. А в народе много было горя, и этому горю она решилась помочь, забывая себя и все свои удовольствия.

— Прощай, моя милая дочь!— проговорил ей в дорогу старый король.— Милосердие и добро, с которыми ты едешь теперь, дадут тебе прочное счастье.

Когда корабль уже бежал по волнам, удаляясь от острова и уносясь в туманное море, Изольда все еще стояла молчаливая и строгая, полная надежд на лучшее будущее, но уже не свое будущее, а своего народа. И ей хотелось скорее доплыть, чтобы начать среди людей совсем новую, полную и благотворную жизнь...

1900

О ТРЕХ ЮНОШАХ

I

Было далеко за полночь, когда я вышел из дома. Все спало кругом, и в безмолвии ночи гулко и одиноко раздавались шаги мои по кремневой дороге. Обогнув небо, луна стояла уже над горою и ясным зеленоватым светом заливала Железноводск, по которому я проходил, и тень моя шла впереди меня, длинная, бледная и косая.

На площади, на ступеньках церковной паперти меня ждал Халим, сидя с поджатыми под себя ногами и беспечно покуривая; возле него, понурив головы, стояли две лошади под казацкими седлами.

— Поедем,— сказал я Халиму, разбирая поводья.

Ночная свежесть бодрила меня.

Мы сели, накрылись бурками и, не разговаривая, тронулись по дороге к базару.

Залитый лунным светом, как серебром, базар был пуст, и его дощатые шалаши, где целый день галдят татары и казаки, стояли безлюдны и молчаливы, и всюду вокруг было тоже безмолвно и пустынно, только топот наших коней, ударявших по кремню подковами, нарушал окрестную ти-

шину и откликался эхом в горах. И вместе с волнами свежего ночного воздуха возвращались к нам эти отклики, мешаясь с новыми звуками топота. Гок-гок-гок!— сухо и отчетливо звучало в долине, и было похоже, что скачет много всадников. Под лунным сиянием развертывалась перед нами вся ширь с лугами и холмами и было видно далеко окрест.

Миновавши базар, Халим повернул влево по лесной тропинке. Сразу стало темно, душно и узко, и лошади пошли шагом, то шлепая ногами по лужам, то звонко задевая подковой о камень или спотыкаясь о корни. Кривой и частый лес, обступивший тропинку, проникнутый лунным светом, становился все глуше и темнее, и только листья наверху, колеблясь от ветра, то сверкали, то чернели, то крутились мелкими блестками, и казалось, что в лесу идет волшебный серебряный дождь. Наконец, стало совсем темно. Защищая глаза от веток и голову от сучьев, нависавших над нашей тропинкой, мы ехали шагом, почти пригнувшись к гриве коней, и часто впереди себя я слышал шум и шелест, а иногда и треск отстраняемого Халимом сучка, и еще ниже и крепче пригибался я к шее лошади.

Время шло. В лесу было совершенно черно и душно, и я не подозревал, что в открытых долинах поднялся уже предрассветный ветер. Первый порыв его встретил меня врасплох, едва мы выехали из леса на поляну, и чуть не сорвал с головы фуражку.

— Айда!— вскрикнул Халим и, ударив нагайкой коня, галопом поскакал вперед по широкой зеленой луговине.

У самой подошвы Бештау стояла сторожевая будка лесника; здесь мы остановились и сошли с коней.

Перед нами высилась крутая трехглавая гора, на вершину которой нам предстояло подняться.

— Как-то мы доберемся,— сказал я, глядя на кручу.

Сидя на корточках и привалившись к забору сторожки, Халим закуривал и только тогда ответил, когда уже пустил на ветер первый клуб дыма.

— Чего ж не добраться — на то человеку и ум дан, чтобы он знал, когда, что и как делать,— загадочно проговорил он, щурясь на вершину.

Я стал ходить взад и вперед возле лошадей, разминая уставшие ноги, а Халим все сидел, курил и что-то обдумывал. Наконец, он спросил меня, что стал бы я делать, если б царь сказал мне: или я отрублю тебе голову, или ты достанешь мне коня необыкновенной масти — ни вороной, ни бе-

лой, ни серой, ни рыжей, ни караковой, ни гнедой, ни чалой, ни буланой, ни легой, ни саврасой и ни одной из тех, какие существуют на свете.

— И красить чтобы нельзя!— строго подтвердил Халим.

Я сознался, что при таких условиях мне пришлось бы остаться без головы.

Халим усмехнулся.

— А я бы вот как сделал,— проговорил он с укором,— я послал бы сказать, что конь у меня готов и чтоб за ним прислали, только не в понедельник, не во вторник, не в среду, не в четверг, не в пятницу, не в субботу, не воскресенье, а в любой другой день, когда будет угодно.

И Халим засмеялся мелким хитрым смехом и глядел на меня восторженными глазами не то победоносно, не то вопросительно.

II

Далее дорога шла уже круто в гору, направляясь ломаной линией то вправо по косогору, то влево, то опять вправо, но все выше и выше над долиною.

Вскоре мы опять въехали в лес, которым оброс, как щетиной, Бештау. Начало опять темнеть, и через четверть часа, когда луну закрыло облако, мы перестали уже видеть что-либо, кроме слабых очертаний лошадиной головы, к которой я плотно прижимался, спасаясь от веток, бивших меня по бокам и фуражке.

Лошади тяжело дышали, осторожно и медленно ступая по крутизне; из-под ног их сыпались мелкие камешки, с шумом катясь куда-то в овраг.

— Халим!— то и дело окликал я своего спутника, затерявшегося во мраке.

Я ничего не видел. Перед глазами стояла тьма, и только по сторонам, точно разбросанный фосфор, зелеными искрами блестели тысячи светляков. Луна, на минуту выглянув из-за тучи, осветила вдруг черную пропасть вправо от нашей тропинки, по которой осторожно пробирались лошади, да влево — страшную чащу мелкого, мрачного и кривого леса.

Проехали и этот лес и снова очутились на лужайке. Она была маленькая, на половине горы. Книзу от нас сбегали овраги, а вверх змеилась дорожка, опять так же — ломаной линией, до самой вершины.

Ветер усиливался с каждой минутой. Резче и яростней нападал он на нас, точно не хотел пускать выше. Его порывы немного сдерживал еще правый конус горы; но когда мы поднялись на площадку, совершенно открытую, ветер завыл и рванул с такой силой, что бурка моя взвилась и накрыла меня с головою. Насилу я выбрался из-под нее.

Медленным шагом, с ноги на ногу, поднимались лошади в кручу. Начинало светать. Оставался последний подъем — самый крутой и трудный. Мы были одни, на узенькой тропинке, среди воздуха и ветра, и лес был ниже нас и казался отсюда кустарником. Халим часто оборачивался ко мне и что-то кричал, но слов не было слышно. Вокруг все шумело, свистело, визжало и ныло. Это была дикая, ни с чем не сравнимая музыка! Врезаясь в высокую траву, густую и пахучую, ветер нырял по ней со свистом и завыванием. Казалось, иногда он застревал в ней и запутывался, но вдруг вырывался на волю, злился и радовался, пел и плакал сквозь смех. Шаталась и стонала под ним вся трава, визжал он и сам, раздувая веером конские хвосты и дыбом поднимая гривы, и то бросался к небу, то стремглав падал оттуда в овраги, то, окружив вершину, бешено вертелся вокруг нее кольцом, толкая нас в спину, в грудь и в бока.

Невольно закрыл я глаза. Глядеть становилось больно и невозможно. Бросив поводья, я держал лишь фуражку, надвинутую ниже бровей, всю измятую ветром, и почти не заметил, как очутился на самой вершине.

Мы сошли с коней и, оставив их щипать траву, вошли в яму, вырытую здесь для спасения от ветра. Яма была невелика, но, когда мы вошли в нее, ветер носился уже над головами и не мешал. Разостлав бурку, я лег. В горле пересохло, хотелось пить.

— Давай кумыс,— попросил я Халима, и он пошел отвязывать от седла мешок с провиантом.

Было уже светло. Наступало утро.

С вершины было видно вокруг на сотни верст. Это была сплошная зеленая долина, расстилавшаяся до самого горизонта, и мелкие горы на ней — Машук, Железная, Змеевка — казались отсюда копнами сена, разбросанными по степи. Вдалеке, на горизонте, виднелась снеговая цепь кавказских гор с Эльбрусом и Казбеком, похожая на гряду далеких серых облаков. Кое-где в окружности светились озера, и словно белая нитка, извивалась по зелени какая-то реч-

ка, должно быть Подкумок; а в стороне над самой чертою земли висела бледная луна, без лучей, угрюмая и усталая.

Халим наломал хворосту и развел костер. Сучья трещали, искры и дым относило в сторону. Нанизывая на вертел куски баранины, Халим сидел на корточках возле огня, ко мне спиною, и что-то тихонько пел — невнятное и заунывное, с жалобными переливами, точно нараспев плакал.

— Про что поешь?— спросил я.

— Про горы. Песня такая.

— Хорошая?

— Кто знает!— сказал Халим.— Может быть, этого никогда и не было. А может быть, это и правда: кто знает!..

Я подсел поближе к костру.

Под треск сырых сучьев и под шипенье шашлыка, который пенился и розовел на вертеле, Халим пересказал мне свою песню о давно прошедшем — о незапамятных временах, когда еще не было снега и льдов на Кавказском хребте и громады гор стояли с обнаженными каменными вершинами.

III

Люди, жившие у подножия гор, своими злодействами и непокорностью воле божией прогневили аллаха. И в великом гневе своем он приказал солнцу истребить этих людей. И солнце остановилось: не стало ни вечера, ни ночи, ни утра; ветер затих, воды загнили, и пересохли все ручьи и колодцы. А палящее солнце все стояло на полудне, и земля трескалась под его лучами, и все изнемогало от жажды и зноя.

«Всех истреблю грозой и огнем!— восклицал во гневе аллах.— Только троих из вас пощажу: Селима, Шахана и Алибека!»

И призвал аллах на гору этих юношей и велел выслушать им свою великую волю.

Когда Селим, Шахан и Алибек, повинуясь воле аллаха, отправлялись на гору, голодный народ кричал им:

— Остановитесь и умирайте вместе с нами, как велит дружба, о которой вы пели нам в своих песнях!

Трое юношей были самые красивые, самые добрые, самые честные — лучшие из всех людей, и умели петь такие песни, каких теперь никто не знает и никто не поет.

Плакали юноши, расставаясь с народом, плакали горькими слезами, а люди проклинали их за измену и бросали

камнями в них и пускали стрелы, но аллах хранил своих избранников. И никто, кроме них, не мог ступить на гору, а кто ступал, тот падал мертвым. Между землею и небом стояли тучи недвижимой пыли, и солнце кровавым шаром висело в воздухе, и весь горный хребет окутался мглою, и мгла эта прятала юношей от стрел и каменьев.

— Селим, Шахан и Алибек!— услышали юноши, когда взошли на голую каменистую вершину.— Вас троих я хочу спасти. Идите вниз по ту сторону гор, а сюда я пошлю молнии и громы и истреблю нечестивый народ!

Но они, упав на колени, сказали:

— Обрати гнев твой на нас троих, великий аллах, а людей пощади и возврати им воду, без которой они страдают.

И юноши стали просить аллаха, чтоб он принял их в жертву себе.

— Тогда поймут люди, что мы погибли за них, не нарушая дружбы и верности, о которых мы пели им, и не станут нас проклинать, а поймут и сделаются дружней и добрей и будут сами петь о нас своим детям, и дети их будут добры и верны и станут лучше, чем мы все трое вместе.

— Зачем погибать лучшим за худших? — воскликнул аллах.— Пусть погибают дурные!

Но юноши, не поднимаясь с колен, повторяли все то же:

— Обрати гнев твой на нас, а тех пощади. Казни нас самою лютою смертью, но в долины пошли воду, которая не иссыхала бы вечно.

Нахмурился великий аллах, и чело его стало мрачно, как зияющая горная пропасть, и дал он знак холодным ветрам и поднял бурю над горами такую страшную и студеную, какой не бывало вовеки. И солнце, стоявшее недвижимо, тронулось и быстро пошло к закату, и в долине, обреченной на гибель, после долгого зноя вдруг повеяло влагой и ночною прохладой.

— Слава великому аллаху!— воскликнули юноши в ожидании страшной казни.

И вдруг почувствовал Селим, что кровь его стынет и сердце леденеет, а сам он весь растет и поднимается к небу все выше и выше, и вместо рук у него уже тянется туман, а вместо ног клубятся облака; холод и лед ощущает он в сердце и, собирая последние силы, кричит на весь мир:

— Слава великому аллаху!

И расплывается в небесах седою косматою тучей.

И студеные ветры подхватывают тучу, рвут ее в мелкие

белые хлопья и снегом разносят по вершинам всего хребта, где никогда не бывало раньше ни стужи, ни снега. А Шахан и Алибек, слыша последний крик товарища, без страха и восторженно вторят ему: «Слава великому аллаху!»

И чувствует сейчас же Шахан, как сердце его вдруг заледенело. И видит он, что вырастает, подобно Селиму, и поднимается к небу. Уже туман стелется вместо рук, и облака клубятся по пояс, и лед сковывает дыхание. «Слава великому аллаху!» — кричит он в последний раз и хлопьями снега рассыпается по вершинам гор. И Алибек, приветствуя гибель товарища, славит в ответ имя великого аллаха.

Заледенел, заклубился туманом, наконец, и Алибек, и вскрикнул он с высоты небес, рассыпаясь снегом:

— Слава великому аллаху!

И все замолкло.

Только снежная вьюга бушевала в горах, заметая их и покрывая вершины вечными льдами. Крутилась и выла метель всю ночь; всю ночь ревел ураган, какого никто не слыхал доселе, и в ужасе думали люди, что наступил конец мира.

А когда наутро ясное солнце, уже не грозное и палящее, а радостное, взошло на небо и пригрело наметенные снега, с гор побежали с веселым шумом реки и ручьи — и жизнь вернулась в долины на вечные времена.

И теперь, кто всходит на высокие горы, где среди снега и льдов воют вьюги, тот слышит их долгую однозвучную песню:

«Помнишь ли ты, человек, Селима, Шахана и Алибека? А если помнишь, то почему же ты забываешь добро и правду и не любишь людей, как любили их трое юношей?»

И лежат снега на вершинах уже тысячи лет, посылая людям воду, чтобы им не умереть от жажды, и люди счастливы, но вспоминают трех юношей только те, которым высоко на горах поет о них вьюга вечную однозвучную песнь.

Халим замолчал...

Молчал и я. Только потрескивал костер да ветер шумел над головою, иногда выхватывая искру и унося ее вместе с дымом и гася на лету.

Между тем восток разгорался...

Выше и шире вырастали над горизонтом полосы света, ярче и ярче они желтели и розовели, и шествие их было величественно и дивно.

Заря пылала... И вот уже под заревом ее рдело полнеба, и прямые золотистые лучи короной стояли в воздухе.

— Солнце! Солнце!— невольно крикнул я, выбегая из ямы на голую вершину — навстречу маленькой ярко-красной полоске, показавшейся над горизонтом, как кусок раскаленного железа.

Не прошло минуты — и солнце выплыло большим красным шаром, разгораясь все ярче и заливая золотом небо и землю.

И вся снеговая цепь гор, видневшаяся как далекая туча, и ледяной Эльбрус, казавшийся серым, теперь стояли розовые и сияющие на фоне ясного небосклона.

Лошади наши щипали траву, Халим, не оборачиваясь, дожаривал шашлык, и, стоя один на высоте, я смотрел на дивные картины, развернувшиеся кругом меня, полные жизни, красоты и вечности.

Чистая, тихая радость наполняла мне душу, и в шуме ветра мне чудилась заунывная песнь, долетавшая до меня с далеких ледников Эльбруса — песнь о трех юношах, песнь о том, как погибают лучшие люди за народное счастье.

1901

ЖИВОЙ КАМЕНЬ

Зимою среди белоснежной пустыни, а в летнее время среди зелени и веселых полевых цветков возвышается над тихой речкой утес — Живой Камень.

Не всегда, однако, бывало так пустынно вокруг него.

В давно минувшие времена здесь были большие селения черемисского народа, и жил среди них могучий и славный богатырь по имени Чумбулат. Человек он был простой, трудолюбивый и тихий в обычное время, но, как только неприятель угрожал нападением на родную страну, богатырь поднимался на ее защиту. Верхом на буром коне с косматой белой гривой, вооруженный с головы до ног, Чумбулат выступал впереди своего народа, непобедимый и грозный, и всякий раз быстро сокрушал врагов и обращал их в бегство.

Долго жил богатырь на свете, оберегая свою родину и народ, но пришла и ему пора умирать. Собрались вокруг него черемисы, плакали и скорбели о нем, а он утешал их:

— Не бойтесь. Я никогда и мертвый не дам вас в обиду. Когда плохо придется, когда самим вам не справиться с неприятелем, подойдите тогда к моей могиле и скажите

громким голосом: «Вставай, Чумбулат! Враги у ворот!» Я встану тогда и обороню вас.

С этим и умер Чумбулат.

Торжественно похоронили черемисы своего богатыря в каменной крути в полном вооружении, какое надевал он на битву; похоронили вместе с бурым конем его, белохвостым, с косматой гривой. В каком виде выступал он, бывало, против врагов, в таком и похоронили его. Справили по нем богатые поминки и долго оплакивали тяжелую потерю:

— Не стало среди нас великого Чумбулата! Нет с нами нашего богатыря!

Шло время. Все было благополучно, и мало-помалу Чумбулата начали забывать. И забыли бы о нем, может быть, совсем, как вдруг появился сильный враг и начал окружать черемисов непролазным кольцом. Вспомнили они тогда о своем богатыре, побежали к скале, к могиле его, и стали громко звать на помощь:

— Вставай, Чумбулат! Вставай: враги у ворот!

И дрогнула каменная круть, раскололась надвое, и появился из темной расщелины Чумбулат на коне своем, в кольчуге и шлеме, со щитом на руке, с копьем у стремени, с мечом над головой. Бросился он на чужих, колол, рубил и топтал обезумевших от страха врагов и быстро обратил в бегство неприятельское войско. А когда опасность миновала, Чумбулат, ни на кого не взглянув, молча вернулся к своей скале; снова замкнулась она за ним и поглотила его вместе с конем.

Много времени прошло. Когда наступала беда, всякий раз Чумбулат выручал свой народ, и никакой враг не был страшен черемисам.

Подсмотрели однажды ребятишки, как старшие вызывали на помощь себе Чумбулата. Начали они играть в войну, подбежали к скале и давай звать богатыря:

— Вставай, Чумбулат! Вставай: враги у ворот!

Дрогнула скала. Выехал Чумбулат на коне в полном вооружении. А неприятеля нет. Ни направо, ни налево — нет никого. Повернулся тогда богатырь и молча поехал обратно к горе и исчез в ней.

Ребятишкам это понравилось. Сколько было и страху и хохоту и сколько потом всяких рассказов!

Стали опять играть в войну и опять вызвали Чумбулата.

Выехал снова на их зов богатырь. Не видя опять врага, он нахмурился и сердито повернул коня обратно.

Мало и этого показалось мальчишкам. Они в третий раз вызвали богатыря:

— Вставай, Чумбулат! Враги у ворот!

Затряслась земля. С страшным грохотом разверзлась гора, и выехал оттуда разгневанный Чумбулат с мечом над головой. И конь с пеной у рта взвился на дыбы — только бы ринуться в битву. А неприятеля и в помине нет. Только окрестные черемисы в ужасе сбегались на грохот.

Увидел их Чумбулат и крикнул им:

— Не цените вы моих трудов, черемисы! Я вас спасал от всякого врага, а вы надо мной потешаться начали, понапрасну меня тревожить! Помните: ухожу теперь от вас навсегда!

Опустил Чумбулат свой победный меч, повернул коня и скрылся в скале.

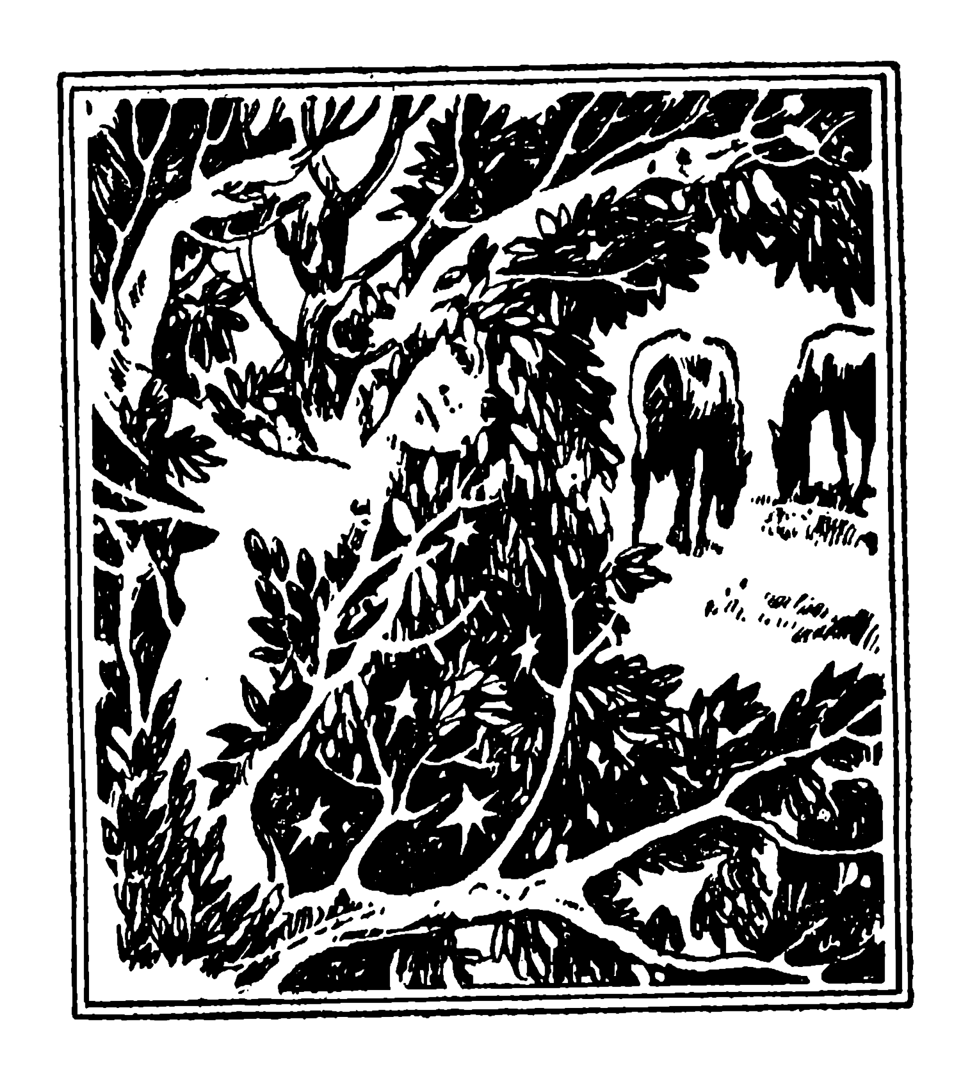
Не стало с тех пор у народа защитника. Начались войны, и некому было заступиться за черемисов.

Молчалив стал и тих серый утес над рекой; оброс он снизу мохом и травой, где шелестят иногда ящерицы, а на вершине его садится отдыхать дикий ворон.

Но не пропала надежда у черемисов. Камень таит в себе живую силу. Настанет время, забудет Чумбулат обиду и защитит народ свой от всякого врага.

Потому и зовется этот камень — Живым, что жива за ним великая сила, и в народе не умирает вера в счастливое будущее.

1919



САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Бродил однажды пастух Демьян по лужайке с длинным кнутом на плече. Делать ему было нечего, а день стоял жаркий, и решил Демьян искупаться в речке.

Разделся и только влез в воду, глядит — на дне под ногами что-то блестит. Место было мелкое; он окунулся и достал с песка маленькую светлую подковку, величиной с человеческое ухо. Вертит ее в руках и не понимает — на что она может годиться.

— Разве козла подковать,— смеется Демьян сам с собою,— а то куда годна такая малявка?

Взял он подковку обеими руками за оба конца и только хотел попробовать разогнуть или сломать, как на берегу появилась женщина, вся в белой серебряной одежде. Демьян даже смутился и ушел в воду по самую шею. Глядит из речки одна Демьянова голова и слушает, как женщина его поздравляет:

— Твое счастье, Демьянушка: нашел ты такой клад, какому равного нет во всем белом свете.

— А что мне с ним делать?— спрашивает Демьян из воды и глядит то на белую женщину, то на подковку.

— Иди отпирай скорей двери, входи в подземный дворец и бери оттуда все, что захочется, что понравится. Сколько хочешь бери. Но только одно помни: не оставь там самого лучшего.

— А что там самое лучшее?

— Прислони-ка подкову вот к этому камню,— указала рукой женщина. И опять повторила: — Бери всего сколько хочешь, покуда не будешь доволен. Но когда назад пойдешь, то не забудь унести с собой самое лучшее.

И исчезла белая женщина.

Ничего не понимает Демьян. Огляделся по сторонам: видит перед собой на берегу большой камень, у самой воды лежит. Шагнул к нему и прислонил подковку, как говорила женщина.

И вдруг разломился камень надвое, открылись за ним железные двери, широко распахнулись сами собой, и перед Демьяном — роскошный дворец. Как только протянет он куда свою подковку, как только прислонит ее к чему,— так все затворы перед ним растворяются, все замки отпираются, и идет Демьян, как хозяин, куда только вздумается.

Куда ни войдет, везде несметные богатства лежат. В одном месте громадная гора овса, да какого: тяжелого, золотистого! В другом месте рожь, в третьем пшеница; такого зерна белоярого Демьян никогда и во сне не видывал. А дальше — крупа, потом орехи, ягоды, яблоки, горох — всего не перечтешь.

«Ну, дело!— думает он.— Тут не то что себя самого прокормишь, а на целый город на сто лет хватит, да еще останется!»

Идет дальше и только дивится: огромные чаны стоят с молоком, с медом, с шипучей водой.

«Ну-ну!— радуется Демьян.— Раздостал я себе богатство!»

Беда только в том, что взошел он сюда прямо из речки, как был — нагишом. Ни карманов, ни рубашки, ни шапки — ничего нет; не во что положить.

Вокруг него великое множество всякого добра, а вот насыпать во что, или во что завернуть, или в чем унести — этого ничего нет. А в две горсти много не положишь.

«Надо бы сбегать домой, мешков натаскать да к берегу подвести лошадь с телегой!»

Идет дальше Демьян — полны комнаты серебра; дальше — полны комнаты золота; еще дальше — драгоценные

камни — зеленые, красные, синие, белые — все блестят, горят самоцветными лучами. Глаза разбегаются; неизвестно на что и глядеть, чего желать, что брать. И что здесь самое лучшее — не понимает Демьян, не может впопыхах разобраться.

«Надо скорей за мешками бежать»,— одно только и ясно ему. Да еще досадно, что не во что сейчас положить хоть немножко.

«И чего я, дурак, шапку давеча не надел! Хоть бы в нее!»

Чтоб не ошибиться и не забыть взять самое лучшее, Демьян нахватал в обе горсти драгоценных камней всех сортов и пошел скорей к выходу.

Идет, а из горстей камешки сыплются! Жаль, что руки малы: кабы каждая горсть да с горшок!

Идет он мимо золота — думает: а вдруг оно самое луч шее? Надо взять и его. А взять нечем и не во что: горсти полны, а карманов нет.

Пришлось сбросить лишние камешки и взять хоть немножко золотого песочку.

Пока менял Демьян впопыхах камни на золото, все мысли у него разбрелись. Сам не знает, что брать, что оставить. Оставить — всякую малость жалко, а унести нет никакой возможности: у голого человека ничего, кроме двух горстей, для этого нет. Побольше наложит — валится из рук. Опять приходится подбирать да укладывать. Измучился Демьян, наконец, и решительно пошел к выходу.

Вот вылез он на берег, на лужайку. Увидал свою одежду, шапку, кнут — и обрадовался.

«Вернусь сейчас во дворец, насыплю в рубашку добычу и кнутом завяжу — вот и готов первый мешок! А потом и за телегой сбегаю!»

Выложил он свои драгоценности из горстей в шапку и радуется, глядя на них, как они блестят и играют на солнце.

Поскорее оделся, повесил кнут на плечо и хотел было идти опять в подземный дворец за богатством, но никаких дверей перед ним уже нет, а лежит по-прежнему на берегу большой серый камень.

— Батюшки мои!— закричал Демьян, и даже голос его взвизгнул.— Где же моя маленькая подковка?

Он позабыл ее в подземном дворце, когда спешно менял камни на золото, ища самого лучшего.

Только теперь он понял, что самое лучшее-то он и оставил там, куда теперь без подковки никогда и ни за что не войдешь.

— Вот тебе и подковка!

Бросился он в отчаянии к шапке, к своим драгоценностям, с последней надеждой: а не лежит ли среди них «самое лучшее»?

Но в шапке была теперь только горсть речного песку да горсть мелких полевых камешков, какими полон весь берег.

Опустил Демьян и руки и голову:

— Вот тебе и самое лучшее!..

1919

КРУПЕНИЧКА

У воеводы Всеслава была единственная дочь по имени Крупеничка. Шли год за годом — и из русой девочки с голубыми глазами обратилась Крупеничка в редкостную красавицу. Стали подумывать родители, за кого отдать ее замуж. Выдавать на чужую сторону они и думать не хотели и выбирали такого зятя, чтобы жить всем вместе и никогда не расставаться с дочерью.

Слава о дивной красавице далеко разносилась вокруг, и Всеслав этим очень гордился. Но старая мамушка Варварушка боялась такой славы и всегда сердилась, когда ее расспрашивали о красоте Крупенички.

— Никакой красавицы у нас нет!— ворчала она.— Вон у соседей, у тех, правда, красавицы дочери. А у нас — девица как девица: таких везде много, как наша.

А сама налюбоваться и наглядеться не могла на свою Крупеничку. Знала, что красивей ее никого нет; и красивее нет, и добрей, и милей нет. Старые и молодые, бедные и богатые, свои и чужие — все любили Крупеничку за ее доброе сердце. В народе даже песенка про нее сложилась:

Крупеничка, красная девица,
Голубка ты наша, радость-сердце,

Живи, цвети, молодейся,
Будь всем добрым людям на радость.

Летела, летела слава о красоте Крупенички и долетела до татарского становища, до военачальника Талантая.

— Гой вы, храбрые воины, удалые наездники! Покажите-ка мне, что за красавица такая у воеводы Всеслава дочка его Крупеничка!— сказал Талантай.— Не годится ли она в жены нашему хану?

Сели тогда на коней три наездника, надели на себя халаты: один — зеленый, точно трава, другой — серый, точно дорога лесная, третий — коричневый, как стволы сосен, прищурили хитрые глаза, улыбнулись друг другу одними углами губ, задорно встряхнули бритыми головами в мохнатых шапках и поехали-поскакали с молодецкими криками. А через несколько дней вернулись и привезли с собой Талантаю для хана своего подарок: дивную красавицу — Крупеничку.

Шла она с мамушкой Варварушкой купаться в озере; а в лесу, как нарочно, ягодка за ягодкой спелая земляника так и заманивает глубже в чащу. А мамушка все рассказывает ей про одолень-траву, что растет белыми звездами среди озера: надобно собрать этой одолень-травы и в пояс зашить, и тогда с человеком никакой беды не случится: одолень-трава всякую беду отведет. И вскрикнуть обе они не успели, как поднялась вдруг перед ними столбом серая пыль с тропинки, с одной стороны сорвался с места сосновый пень лесной и бросился им под ноги, а с другой стороны прыгнул на них зеленый куст. Подхватили они Крупеничку — и увидала тут мамушка Варварушка, что это был за зеленый куст; вцепилась она в него что было силы, но хитро извернулся татарин и выскользнул из своей одежды, злодей. Варварушка так и повалилась на землю с зеленым халатом в руках. А что было дальше, она не знала, не ведала, точно затмился с горя ее рассудок. Сидит она целыми днями на берегу озера, глядит на простор воды да все приговаривает:

— Одолень-трава! Одолей ты мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса дремучие, дай ты мне, одолень-трава, увидеть мою милую Крупеничку!

Сидела она как-то над озером да выла и плакала, как вдруг подошел к ней прохожий старичок, низенький, тоненький, с белой бородкой, с сумочкой за плечами, и говорит Варварушке:

— Иду я в дальнюю сторону басурманскую. Не снести ль кому от тебя поклон?

Обрадовалась Варварушка, бросилась с плачем старичку в ноги и опять заголосила, как безумная:

— Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, дурно бы нам не делали. Верни, старичок, мне мою Крупеничку!

Выслушал старичок и ласково ответил:

— Коли так, будь же ты мне верной спутницей и помощницей! — сказал он мамушке и взмахнул рукавом над ее головою.

И тотчас Варварушка обратилась в дорожный посох. С ним и пошел старичок, опираясь, где трудно, раздвигая им в чащах кустарник, а в селениях отмахиваясь им от собак.

Шел-шел старичок и пришел в татарское становище, где жил Талантай и где снаряжали сейчас караван для отсылки хану драгоценных подарков. Отсылали золото и меха, самоцветные камни и снаряжали в путь-дорогу красавиц невольниц. Среди них была и Крупеничка.

Остановился старичок возле дороги, по которой пойдет караван, развернул свой узелок и начал раскладывать для продажи разные сласти — тут у него и мед, и пряники, и орехи. Огляделся он по сторонам — нет ли кого, поднял над головой и бросил оземь свой посох дорожный, потом взмахнул над ним рукавом — и вместо посоха поднялась с травы и стоит перед ним мамушка Варварушка.

— Ну, теперь мамушка, не зевай,— сказал старичок.— Гляди во все глаза на дорогу: на нее вскоре упадет малое зернышко. Как упадет, бери его скорей, зажимай в руку и береги, покуда домой не вернемся. Смотри не потеряй зернышка, коль мила тебе твоя Крупеничка.

Вот тронулся караван из становища; проходит он по дороге мимо старичка, а тот на лужайке сидит, разложил вокруг себя сласти и приветливо покрикивает:

— Кушайте, красавицы, соты медовые, пряники душистые, орехи каленые!

И мамушка Варварушка ему поддакивает:

— Кушайте, красавицы: веселее будете, румянее станете!

Увидели их татары, велели сейчас же сластями красавиц попотчевать, и старики понесли им свое угощение.

— Кушайте, кушайте на здоровье!

Обступили их девушки; одни весело посмеиваются, другие молча глядят, третьи печалятся, отворачиваются.

— Кушайте, девицы, кушайте, красавицы!

Еще издали увидала Крупеничка свою мамушку Варварушку. Сердце так в груди и запрыгало, а лицо побелело. Чувствует она, что неспроста явилась старуха и неспроста не признает ее, а идет к ней, словно чужая, не здоровается, не кланяется, идет прямо на нее, во все глаза глядит и только громким голосом твердит одно и то же:

— Кушайте, милые, кушайте!

Старичок тоже покрикивает, а сам во все стороны раздает кому орехов, кому меду, кому пряников,— и всем стало вдруг весело.

Подошел старичок поближе к Крупеничке, да как выбросит в воздух, в левую сторону от нее, у всех над головами, целую горсть гостинцев, да еще горсть, да еще горсть, а когда кинулись со смехом ловить да подбирать гостинцы, он взмахнул рукавом над Крупеничкой в правую сторону — и Крупенички не стало, а упало вместо нее на дорогу малое гречишное зернышко.

Мамушка бросилась за ним на землю, схватила зернышко в руку и зажала крепко-накрепко, а старичок махнул и над нею рукавом — и вместо Варварушки поднял с земли дорожный посох.

— Кушайте, кушайте, красавицы, на здоровье!

Отдал он поскорее все остатки, встряхнул пустой мешочек, поклонился всем в знак прощания и пошел потихоньку своим путем, опираясь на посох. Татары ему еще воловий пузырь с кумысом на дорогу дали.

Никто и не заметил сразу, что невольниц стало на одну меньше.

Так возвратился благополучно старичок на тот самый берег, где повстречался с мамушкой Варварушкой, где вдоль по озеру раскинулись зеленые широкие листья и белыми звездами по воде цвела одолень-трава. Кинул он оземь посох дорожный — и перед ним опять стоит мамушка Варварушка: правая рука в кулачок зажата и к сердцу приложена — не оторвешь.

Спросил ее старичок:

— Укажи мне: где здесь у вас поле, никогда не паханное, где земля, никогда не сеянная?

— А вот тут, около озера,— отвечает Варварушка,— поляна никогда не пахана, земля никогда не сеяна; цветет она чем сама засеется.

Взял тогда старичок из рук ее гречневое зернышко, бросил его на землю несеянную и сказал:

— Крупеничка, красная девица, живи, цвети, молодей-

ся добрым людям на радость!.. А ты, греча, выцветай, созревай, завивайся — будь ты всем людям на угоду!

Проговорил — и исчез старичок, как будто никогда его здесь и не было. Глядит мамушка Варварушка, протирает глаза, будто спросонья, и видит перед собой Крупеничку, красавицу свою ненаглядную, живую и здоровую.

А там, где упало малое зернышко, от шелухи его зазеленело невиданное доселе растение, и развело оно по всей стране цветистую душистую гречу, про которую и теперь, когда ее сеют, поют старинную песенку:

Крупеничка, красная девица,
Кормилка ты наша, радость-сердце,
Цвети, выцветай, молодейся,
Мудрее, курчавей завивайся,
Будь добрым всем людям на угоду.

Во время посева, 13 июня, в день Гречишницы, в старину всякого странника, бывало, угощали кашей досыта.

Странники ели да похваливали и желали, чтоб посев был счастливый, чтобы гречи уродилось на полях видимо-невидимо, потому что без хлеба и без каши — ни во что и труды наши!

1919

ЗОРЕНЬКА

I

Возвращался с охоты царь Косарь. Охота была удачная, и Косарь развеселился. Бросил поводья, едет да поглядывает по сторонам, поглядывает да посвистывает.

— Сильней меня никого вокруг нету. И умней и вольней меня никого нету. Хочу — свищу, хочу — казню, хочу — дела делаю!

Ехал он лесной дорожкой.

Впереди бежали собаки, шли псари и хранители, по сторонам ехали дружинники, позади охотники и обозники со всяким добром. И вдруг среди леса повстречался им пустынник-звездочет, худенький седой старичок, о котором шла молва, будто он видит будущее и знает обо всем, что должно случиться.

Этот пустынник и предрек царю Косарю, что есть на свете человек и умней его, Косаря, и сильней его, который сначала завладеет его единственной дочерью, а через год завладеет и всем царством его. Завладеть — завладеет, но себе не возьмет, а разделит его всем людям поровну. И человек этот скоро появится.

Не понравилось Косарю такое пророчество. Ничего не сказал он пустыннику, отъехал от него прочь, как будто и не слыхал ни слова. Едет дальше, а сам все думает: «Прийти-то, может быть, такой человек и придет... Но только унесет ли он от меня свою буйну голову?..»

И стал Косарь придумывать, как избавиться от людей, помышляющих завладеть его дочерью. Завладеть ею никто силою не может: достаточно могуч для этого сам царь Косарь. Завладеть ею можно только через замужество, а она как раз в таком возрасте, когда только и жди со всех сторон женихов. Да и красавицей уродилась дочка его любимая, Зоренька. Такой красоты ни сам Косарь никогда нигде не видал и от других никогда про такую не слыхивал — вот какая была Зоренька, дочка его, красавица!..

Только что вернулся Косарь домой и распоясаться еще не успел, как уже ему докладывают, что приехало трое молодых людей, один другого краше, один другого знатнее. Приехали они по делам, о которых говорить желают только наедине с самим Косарем.

«Вот и женихи тут как тут!» — подумал Косарь с неудовольствием.

Хотел было сгоряча прогнать их с глаз долой, но рассудил, что так выйдет неладно, да и посмотреть не мешает, точно ли они так умны, как говорил пустынник: умней самого Косаря!.. А отвадить их он сумеет и завтра и по-хорошему, на то он и царь Косарь, умная голова!

Принял Косарь молодых гостей с почестями, накормил, напоил и начал расспрашивать, зачем к нему пожаловали. Молодые гости прямо ему ответили, что приехали свататься за дочку его, Зореньку. Но так как их трое, то просят они его, царя Косаря, самого выбрать зятя себе по душе. А ежели он не захочет выбирать, то будут они тогда биться между собой — до тех пор будут биться, пока из всех троих только один в живых останется.

— Это мне любо! — ответил Косарь, а сам про них подумал: «Ну, эти не великого, знать, ума! Пусть себе пока подерутся, а там — видно будет!»

Облюбовали гости себе поляну в саду и назначили час поединка. Косарь немного спустя посылает узнать — как дела идут.

Вернулся посланец и доложил, что одного уж ухлопали: теперь только двое остались.

Подождал еще Косарь и опять посылает узнать: как дела?

— И второго сейчас уложили. Остается один, но и тот стал хромой, и все щеки у него в дырах, и рука перешиблена.

— Ну, так скажи ему, что царь Косарь очень сожалеет, но только хромой зять да еще весь в дырьях ему не годится.

Так и отделался Косарь на первый случай от троих женихов. Но ненадолго.

II

Вскоре явились новые — сразу пять человек. Даже жутко стало царю Косарю.

«А вдруг среди них и кроется тот самый, который умней меня и сильней меня? Что мне делать, как быть?»

Пригласил Косарь к себе женихов, накормил, угостил, да и говорит:

— Были у нас недавно молодые люди, очень хорошие и храбрые. Так те битву между собой устроили, чтобы свататься лишь тому, который последний в живых останется.

Так и думал Косарь, что гости сейчас запылают, схватятся за мечи и пойдет потасовка. Но женихи отвечали спокойно:

— Слышали мы про то. Слышали. Но ведь из боя можно выйти хромым, а хромые зятья не всякому нравятся.

Закусил Косарь себе ус, сидит думает, на женихов поглядывает и видит, что эти не так глупы, как прежние. И еще больше начал смущаться. Не миновать: есть среди них тот самый умник, которого надо бояться. Что же делать? Как их отвадить?

— Все вы хороши и благородны,— сказал им Косарь.— Всякий из вас молод и храбр, и красавцы вы все один к одному. Как же мне рассудить теперь, кто из вас лучше, кто достойнее? Без боя не могу я решить этого. Не могу, стало быть, и дочь мою, Зореньку, выдать ни за кого из вас замуж.

Но и здесь женихи не смутились. Отвечают они так Косарю:

— Если не решаешься ты, кого выбрать в зятья, то дай это сделать самой дочери своей, прекрасной Зореньке. Кого изберет она по сердцу себе, тому и быть женихом.

— Вот еще выдумали!— рассердился Косарь.— Никогда такого порядка нигде не было и у нас не будет!

— Ну, тогда жребий кинем. К кому судьба благосклонна, тому и быть женихом.

«Вот привязались!— подумал Косарь.— Ладно же! Покажу я вам ужо вашу судьбу. Останетесь довольны!»

И ответил им громко:

— Хорошо. Будь по-вашему. На судьбу, так на судьбу!

Молодые люди обрадовались: кто-нибудь из них все же станет женихом и мужем красавицы Зореньки! Поднялись они, громко заговорили. Лица их разгорелись, глаза заблестели, и радостям их не было бы конца, если б Косарь не придумал добавить маленькое условие.

— На все согласны!— вперед решили они, не выслушав даже, в чем дело.

А дело было вот в чем. Ведь царская дочь — не копна сена, не мешок крупы, не овца из отары, чтобы ставить ее на жребий. Эдак соседние цари уважение к Косарю потеряют, скажут: единственную дочь, и ту замуж не сумел выдать. Поэтому — судьба судьбой, а достоинство достоинством.

— Не дешево только вам это обойдется, друзья мои. Вон первые женихи своей жизни не пощадили: на поединок вышли. Поэтому я так теперь решаю: кто хочет жребий тянуть, тому одно из двух предстоит: либо Зореньку в невесты, либо голову с плеч долой. А то мне будет зазорно перед соседями!

Разгорячились молодые люди, не сообразили они всей опасности — и согласились.

На другой же день назначено было тянуть жребий.

На самом крутом берегу, высоко над рекой, на обрыве, выстроили помост, украсили его коврами, ширинками и цветами. Разбили возле помоста три шатра: посредине из золотой парчи для царя Косаря; по левую сторону его серебряный — для придворных свидетелей и по правую — радужный, для женихов. Дружинникам, гостям и зрителям отвели места на лугу, позади шатров, полукружием. А по ту сторону, где была самая кручь над рекой, стояла одинокая красная скамейка — для палача, чтобы сразу всякий видел, что собираются здесь не шутки шутить, а дело делать серьезное. Чтобы всякий знал, на что он идет:

— Либо жениться, либо с кручи вниз головой валиться!

III

В назначенный час затрубили в трубы и начали собираться на свои места все участники. На помосте утвердили стол, а на столе золотой сосуд и покрыли его пеленой. По-

дошел и сел на свою красную скамейку впереди помоста палач, бывший разбойник, здоровенный детина с засученными рукавами и расстегнутым воротом рубашки. Но прежде чем сесть, он попробовал ногой доску, широкую и длинную, которая лежала одна поверх помоста и покачивалась на толстом бревне, точно весы или качели. Попробовал палач доску и успокоился.

Опять затрубили трубы, и вышел глашатай. Поднялся торжественно на помост, поклонился и громко заговорил:

— По приказу царя Косаря опущены на дно сего сосуда два камешка, оба одинаковые; только один из них светлый, как божья роса, а другой алый, как кровь. Кто вытащит светлый камень, тому отдает царь Косарь в жены прекрасную свою Зореньку, а ежели вытянет алый камень, пусть не прогневается: того в тот же миг спустит палач с этой кручи прямо на дно реки. Если есть охотники посвататься, пусть подходят в очередь и попытают судьбу свою. Царь Косарь никого не неволит. А уж если кто подойдет да вынет из сосуда камешек, тому будет то, что сказано!

Затрубили опять трубы, и из радужного шатра вышел высокий молодой человек, одетый в праздничные одежды. С улыбкой подошел он к помосту и сказал глашатаю:

— Я желаю попытать счастье!

— Входи,— ответил глашатай.

Молодой человек поднялся на помост. С другого конца поднялся на помост палач. У зрителей сильнее забились сердца.

Юношу поставили на самый конец доски, и она перестала качаться. С одного бока подошел к нему палач с тяжелой железной цепью в руках, а с другого бока подошел глашатай с золотым сосудом. Палач надел жениху на шею цепь и обвил ею грудь ему крест-накрест и завязал узлом на спине. А глашатай поднес сосуд и чуть приподнял пелену, чтобы могла только пройти в чашу рука.

— Счастье либо смерть,— сказал он спокойно юноше.— Вынимай.

— Конечно, счастье!— улыбаясь, воскликнул юноша и, зажмурив глаза, опустил по локоть руку на дно сосуда, где и выбрал роковой камень.

Все затаили дыхание, когда рука его под пеленою начала возвращаться из чаши.

Когда он высвободил руку и развернул ладонь, лицо его сразу побледнело и глаза словно остановились.

На ладони лежал красный камень.

Ничего не успел он еще и выговорить, как глашатай махнул пеленой в сторону палача. Палач изо всей силы рванул доску с другого конца — и юноша, опутанный железными цепями, не успев даже вскрикнуть, полетел с обрыва вниз, в глубокую реку, и только широкий круг по воде на мгновение указал место, где он упал.

Солнце сияло; чирикали вокруг птицы. И вновь затрубили трубы.

Из радужного шатра вышел другой молодой человек и сказал глашатаю:

— Может быть, я буду счастливее.

Глашатай положил обратно в сосуд красный камешек и ответил:

— Может быть, будешь счастливее. А может быть, и не будешь. Вынимай. Увидим.

И со вторым юношей случилось то же, что с первым.

Когда опять затрубили призывом трубы, из радужного шатра вышли сразу все оставшиеся там трое и сказали Косарю, что жребий отнимает очень много времени, что сегодня им недосуг и что они приедут в следующий раз вынимать камешки.

Царь Косарь своей выдумкой был очень доволен и сам себе весь вечер все говорил:

— Ну и царь Косарь!.. Ну и умная голова!..

IV

Так и повелось это далее. Когда приезжал кто-нибудь свататься, ему объявляли условия — и он либо бежал без оглядки, покуда цел, либо тянул жребий и погибал в глубине реки. Вытащить светлый камень никому не удавалось.

— Что, звездочет? — радовался Косарь и мысленно торжествовал над пустынником. — Не на то небо ты, знать, глядел, когда мою судьбу видел. По печным горшкам, знать, предсказывал, а не по звездам!

Но прекрасная ясная Зоренька становилась все грустней. Жалко ей было удалых молодцев, которые гибли из-за нее безрассудно, да и самой было скучно жить в одиночестве, с бабками да с мамками, с шутихами да с приспешницами.

Загрустила Зоренька. Ни на какое веселье не отзывается. Мамка Лукерья все средства перепробовала; наконец, привела во двор двух гусляров; один был старый и слепой, другой, поводырь, хоть и молодой, но горбатый, точно на спине у него куль овса под одеждой. Заблудились певцы, потеряли дорогу, а поют хорошо и жалостливо, обещают петь и весело и сколько угодно,— вот и привела их Лукерья; усадила, напоила и позвала Зореньку послушать.

Дивные песни знали гусляры. Поют как будто печальное, даже слезы на глаза иногда набегают, а на душе от них хорошо и легко. Что за чудеса такие!.. А когда веселое запоют, так и начинают у всех ноги притопывать, руки шевелиться, плечи подергиваться...

Понравились Зореньке гусляры.

Велела она прийти им еще раз назавтра.

На прощанье, пока мамку Лукерью горбач забавлял и смешил россказнями, слепой старик пропел Зореньке такую песню, что она слушала и дивилась. Пел ей старик о храбром юноше, который нарядился нищим слепцом и пошел с гуслями в дом красавицы девушки, чтоб полюбоваться ее красотой, и, когда увидел, полюбил ее на всю жизнь. А поутру пришел к родителям свататься. И были они с той поры счастливы до самой смерти.

Не знала Зоренька, на что и подумать.

Певцы поклонились и поплелись на ночлег под навес на скотном дворе. Обещались завтра еще попеть и позабавить.

Они ушли, а Зоренька так свою думу и не додумала. Когда уж все спать полегли и кругом все затихло, отворила она окошко в сад, в тихую теплую душистую ночь, и долго стояла и слушала соловья, а сама все думала о чем-то несбыточном, вздыхала тайком от самой себя, и казалось ей, что она спит и что все это во сне, а наяву ничего не было — ни старика-слепца, ни песни его про счастливого юношу...

V

Поутру пришли опять гусляры. Никого в саду в это время не было. Мамка Лукерья уселась чулок вязать, а Зоренька велела слепцу петь вчерашнюю песенку.

Зазвенели гусли, запел старик.

Зоренька растрогалась, чуть не плачет. Вдруг видит, что слепой глядит на нее молодыми радостными глазами.

А потом сдернул с себя седую бороду, скинул шапку с белыми пришитыми волосами и шепчет ей:

— Красавица!.. Зоренька!.. Осчастливь: будь моей суженой, моей любимой!

Вспыхнула в ответ Зоренька; задрожало у нее сердце, и руки, и ноги... Глядит — и глазам не верит...

Подняла глаза и Лукерья: почему пение вдруг прекратилось? Взглянула — да как заревет благим матом:

— Батюшки-светушки!.. Разбойники, мошенники!

Но Зоренька скорей зажала ей рот рукой.

— Тише, тише! Что ты, мамушка! Или ты гибели желаешь молодым певцам?

Не знает Лукерья, что теперь делать. Закричать — всех погубить; молчать — себя погубить. Насилу отдышалась с перепугу.

А Зоренька все уговаривает:

— Не кричи, мамушка. Пожалей молодцов.

Первым спохватился горбатый. Опять забренчал он громко на гуслях и запел разудалую песню, будто ни с кем ничего и не случилось.

— Ступайте! Ступайте вы от греха!— зашептала Лукерья, а сама от волнения еле дышит.— Ступайте с глаз долой! Ну вас совсем!

И певцы ушли. Только не сразу. Обещали мамушке хороший подарок, когда приедут на днях свататься, а после свадьбы любовь и почет и всякое уважение.

— Да какая там свадьба!— сказала на это Лукерья.— Или не знаете вы условий царя Косаря?

— Знаю я условия царя Косаря!— воскликнул бывший слепец.— Я верю в свое счастье, и прекрасная Зоренька будет моей женой! А если не будет, так мне и жизни не надо!

Стала уговаривать и Зоренька не тянуть жребия: никто не вынимал ничего, кроме смерти.

— Пожалей себя, юноша! Не сватайся за меня, несчастную.

Потом заплакала и сказала:

— А я тебя никогда не забуду!

Но, как ни убеждала его отказаться от сватовства, юноша знать ничего не хотел.

— Будешь, Зоренька, будешь женой моей любимой! Никому теперь не уступлю тебя. И камень я вытяну непременно счастливый!

Измучилась Зоренька. Сердце ее терзалось от жалости.

Ведь погибнет ни за что молодец, а белого камня не вытянет. А почему?.. Да потому, что царь Косарь кладет в сосуд оба камня красные: какой ни возьми — все равно смерть.

Долго не решалась она сказать это юноше. Сказать такое дело про родного отца!.. Как ни мучилась, как ни боялась, а все-таки решилась и сказала.

— Оба красные?— омрачился юноша и на миг заколебался: как быть?

Потом вдруг воскликнул:

— Тем лучше!

Все с удивлением поглядели на него. А он подтвердил:

— Если оба камня красные, тогда без ошибки скажу: уж теперь, Зоренька, будешь ты наверно моею невестой!

Он был так рад, так сияло его молодое лицо, точно он услышал не ужасную новость, а самое приятное известие.

— До завтра, Зоренька!.. До завтра, милая мамушка Лукерья! Помните вашего верного и счастливого Переяслава!

И оба гусляра поспешно удалились.

VI

Трубят, гремят на крутом берегу призывные трубы.

Царь Косарь сидит перед золотым своим шатром и поглядывает на помост. А на помосте стоит глашатай с золотым сосудом и палач с тяжелыми цепями. Внизу под обрывом плещется широкая река, могила всех женихов царской дочери, носятся над быстриной белые чайки... Над головами ясное голубое небо, солнце сияет, жизнь и радость вокруг...

Из радужного шатра выходит Переяслав. Он молод и строен. Одет в скромную дорожную одежду; русые волосы кудрями рассыпались по плечам. Он очень красив и радостен. Белый душистый цветок приколот на груди; этот цветок прислала ему Зоренька — на счастье. Его верный товарищ, бывший горбун, тоже стройный и красивый юноша, идет следом за ним и останавливается у помоста, а Переяслав всходит на помост. Много знатных гостей съехалось сегодня к царю Косарю; есть даже посланники соседних царей и ханов. И в золотом шатре Косаря сегодня присутствуют женщины: Зоренька, бледная как смерть, и мамушка Лукерья; у нее сердце сегодня дрожит, как осиновый лист, и дух прерывается со страху.

Зоренька глаз не сводит с золотого сосуда и с палача.

Но вот пришел Переяслав, и она уж ничего и никого не видит. Трепещет вся от ужаса... И верит она Переяславу и знает в то же время, что в чаше нет светлого камня. Что Переяслав затеял? Как избежит он верной смерти — не понимает Зоренька, и душа ее болит от ожидания беды. А палач уже надевает на юношу тяжелые цепи, чтобы не выплыл.

— Либо счастье, либо смерть,— спокойно говорит глашатай, приподнимая парчу, и Переяслав опускает руку в сосуд.

Все замерло в ожидании.

Все глаза устремились на Переяслава. Он глядит в сторону Зореньки и улыбается светлой улыбкой.

Вот потянулась рука обратно. Дело сделано. Возврата нет. Зоренька перестала дышать, ноги ее подкашиваются.

Переяслав поднял высоко руку с зажатым в ней жребием. Среди молчания и тишины раздается его твердый голос:

— Я так уверен в своем счастье, что не хочу и глядеть на камень!

И он со всего размаху бросил камень в реку.

— Какой же у тебя был?— закричал в испуге глашатай.

— Конечно, белый!— воскликнул Переяслав.— Мое счастье всегда со мной. Вынь и посмотри, какой остался в сосуде. Там должен остаться красный.

Вынули из чаши камень. Никто, кажется, не дышал, пока его вынимали. Даже царь Косарь, и тот чуть не задохся.

— Гляди!— радостно воскликнул Переяслав.

Глашатай положил на ладонь вынутый камень и громко объявил всем:

— Остался — красный.

Гром рукоплесканий встретил этот ответ. Хлопали в ладоши знатные гости, хлопали посланники соседних царей и ханов, хлопали придворные свидетели, кричали и стучали радостно зрители и дружина. А царь Косарь сидел и глядел, точно не понимал ничего: глядел направо, глядел налево и видел только одно, что все радуются и что теперь уже ничего не поделаешь:

— Напредсказал, собака, звездочет!

Зоренька бросилась отцу на шею и, рыдая от счастья, целовала его и обливала слезами.

Палач развязал цепи и с грохотом бросил их на помост.

Переяслав под звуки труб и новых рукоплесканий сошел с помоста и направился прямо к Зореньке, взял ее за руку и громко спросил Косаря:

— Отвечай при всем народе: отдашь ли мне ясную Зореньку в жены?

Опять все затихло. Все глаза устремились на них троих.

Царь Косарь снял шапку, почесал затылок и молча положил Переяславу обе руки на плечи и трижды поцеловался с ним. И, когда целовался, успел шепнуть, чтобы никто другой не слышал:

— Ну и хитер же ты, зятюшка!

Переяслав ему в ответ тоже шепнул, когда целовался:

— Ну и ты, батюшка, тоже не промах!

На том и покончили.

Объявили помолвку, гостей пригласили и вскоре сыграли веселую свадьбу. Зореньке казалось, что счастливей ее нет никого на свете. И царь Косарь был доволен зятем, но все же не мог примириться с мыслью, что тот у него «переял славу» самого умного человека на свете.

— На то он и Переяслав!— сказал Косарю однажды звездочет, с которым они опять встретились после охоты.— Погоди, он у тебя еще и не то переймет! Всему свое время!

Царь Косарь ему ответил:

— Ну, это ты по печным горшкам так видишь, а не по звездам!

Однако домой он вернулся не в духе и весь вечер покряхтывал и почесывал затылок, а ночью плохо спал и все думал: «Ах, звездочет-лиходей! Ах, собачий ты сын, чего напредсказал ты на мою голову!»

1921

СОДЕРЖАНИЕ

Телешов Н. Д.

Т31 Рассказы. Повести. Легенды/Сост. и авт. вступ. ст. А. Л. Трегубов; Худож. В. И. Софронов.— М.: Сов. Россия, 1983.— 336 с., ил.

Творчество Николая Дмитриевича Телешова (1867—1957) известно широкому читателю прежде всего по замечательной книге литературных мемуаров — «Записки писателя». Между тем лучшие рассказы и повести Н. Телешова, такие, как «На тройках», «Сухая беда», «Елка Митрича», «Между двух берегов», «Начало конца» и др., также заслужили в свое время читательское признание и создали их автору высокую репутацию в писательских кругах. О произведениях Н. Телешова с одобрением отзывались Л. Толстой и А. Чехов, М. Горький, неизменно видевший в Телешове своего единомышленника, и скупой на похвалы И. Бунин. В настоящем сборнике к упомянутым произведениям добавлены избранные легенды и сказки, дополняющие представление о творчестве писателя — убежденного демократа и гуманиста, последовательного реалиста, символизирующего неразрывную связь и преемственность традиций передовой русской и советской литературы.

Т $\frac{4702010100-173}{М-105(03)83}$ 130—83 Р2

Николай Дмитриевич Телешов

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТИ
ЛЕГЕНДЫ

Редактор Т. М. Мугуев

Художественный редактор Г. В. Шотина

Технический редактор В. Д. Коннова

Корректоры М. С. Никитина, Э. З. Сергеева

ИБ № 2563

Сдано в набор 22.03.83. Подп. в печать 13.06.83. А01325. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 18,06. Уч.-изд. л. 18,61. Тираж 200 000 экз. Заказ № 144. Цена 1 р. 70 к. Изд. инд. ЛХ-256.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».

1 р. 70 к.